Новый Журнал

134

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский

Тридцать восьмой год издания

Кн. 134 НЬЮ ЙОРК 1979

РЕДАКЦИЯ:

Г. АНДРЕЕВ и РОМАН ГУЛЬ (главн. редактор)
Секретарь редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. MARCH 1979

Quarterly No. 134
2700 Broadway, New York, N. Y. 100025
Subscription Price $24 — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Б. Пильняк — Заштат 5
М. А. Волошин — Благословение 25
Л. Докторова — Поминовение 26
Л. Алексеева - Стихи 28
О. Маслей — Сон 29
А. Величковский — Пробуждение. Стихи 46
Г. Круговой — Гностический роман М. Булгакова 47
В. Перелешин — Стыд 81
И. Чиннов — Стихи 82, 83
В. Вейдле — Всевышнему 83
В. Седуро — О "Петербурге" Осипа Мандельштама 84
Т. Филановская — Стихи 91
Ю. Иваск — Разговоры с Адамовичем (1958 — 1971) 92
Ю. Иваск — Парижский дождь 102, 103
Т. Филановская — Флоренция 103
Р. Гуль — Я унес Россию 104

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

И. Раевский Толстой о науке 121
В. В. Розанов — Письма В. В. Розанова к С. А. Рачинскому 149
Письма И. А. Бунина к Б. К. И. В. А. Зайцевым 173
О. Толстая — Дождь и солнце 187

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

М. Бернштам — Понятие демографической революции и социализм 202
И. Ефимов — Гагарина знаем, Армстронга — нет 224
К. Павлов — Треугольник — "США — СССР — КНР" 232
Б. Прянишников — Неизримая Паутина 244
Б. Афанасьевский — Четвертая волна? 268

Printed in U.S.A., by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave., Clifton, N.J. 07011

ЗАШТАТ

Российское место оседлости, — именно — место оседлости и российское. При царях Иванах здесь была вспольная крепость, при императорах — помещался уезд, перед самым семнадцатым сданный в заштат. Революция планами своими заштат обошла, советское межевание поместило в городе рик. В начале века у города возникла-было некая необыкновенность и погибла с революцией: наладились-было в городе покупать дома с вишневыми садами отставные генералы и помещаться в этих домах на покойную старость. До станции от города —семьдесят один километр. Базар и собор на горе, собор, впрочем, заколочен. Вокруг базара двухэтажные каменные места жительства бывших потомственно-почетных, с каменными воротами и глухими садами. На восток, юг, запад и север от базара и от двухэтажных местожительств этой оседлости одноэтажные деревянные дома, за амбарами сады, колодцы на перекрестках, выгоны, поля, небо. Рик — в бывшей управе. Общежитие ответственных работников — в бывшей чайной с номерами. На прежнем базарном

Этот рассказ Бориса Пильняка мы получили с оказией из СССР. Нам сообщают, что это последняя вещь Бориса Андреевича, над которой он работал как раз перед его арестом и расстрелом в ежовщину в 1937 году. Упомянем, что Б.А. — родом из Можайска и отец Б.А. был ветеринарный врач: все это явно вплетено в сюжет "Заштата". Мы считаем Б.А. Пильняка одним из лучших пореволюционных прозаиков. Характерно, что несмотря на его "реабилитацию" в 1957 г. его главные вещи до сих пор в СССР не переиздаются. *РЕД*

Copyright by "The New Review", New York, 1979.

постоялом дворе в конюшнях и двухэтажном камне — ветеринарная амбулатория, в верхнем этаже — старший ветеринар Иван Авдеевич Гроза и там же помещалась аптека; младший ветеринар Клымков, Николай Сергеевич, жил на дворе во флигеле. Через улицу, как раз окна в окна, также на втором этаже жил санитарный врач Лавр Феодосович Невельский, занявший целый этаж, обставленный генеральским красным деревом. Врачей в городе — пять человек, ветеринаров — двое, учителей — человек тридцать. По сельсоветам, естественно, свои медицинские и ветеринарные амбулатории и свои учительские силы.

Ветеринарный врач Гроза и санитарный врач Невельский появились в городе после революции, и, встретившись, они не подали друг другу руки, не поклонились, не пожелали познакомиться. Тому были причины. Некогда, еще до пятого года Гроза и Невельский служили в Калязинском земстве. От пироговских съездов у санитарных советов в земстве осталась традиция, когда новые врачи принимались в земство — исключительно по выбору санитарных советов, причем первый год службы они стажировались в качестве временных врачей, дабы среда врачей могла всячески изучить того, кого она принимает в себя. Это не было законом земских уложений, это была традиция, принятая земской практикой. Председателем земской управы и предводителем дворянства в Калязинском земстве оказался князь Феодор Расторов, местный феодал и улан Ее Величества. Князь Расторов воеводствовал по-своему, и он пригласил двух врачей помимо санитарного совета и без стажа на постоянную службу. Врачи из санитарного совета взволновались и собрались у санитарного врача Лавра Феодосовича Невельского, чтобы обсудить, как им реагировать в защиту пироговских правил. Слово держал Лавр Феодосович, блестящий ораторским искусством и цитатами из земских классиков. Демократы предлагали демократические меры. Было решено собраться вновь и на собранье пригласить тех двух врачей, которых нанимал без санитарного совета князь. Было решено с этими двумя врачами переговорить товарищески и убедить их в том, чтоб они сами отказались от предложений князя и подчинились бы традициям. Было решено, — в том случае, если врачи откажутся от товарищеских предложений, — не подавать этим

двум врачам руки, бойкотируя их. Члены санитарного совета вновь собрались на квартире Лавра Феодосовича Невельского, и туда приходили два новых врача. Лавр Феодосович Невельский держал блестящую речь, он убеждал молодых не нарушать прекрасных пироговских правил и он предупреждал, что врачи из санитарного совета будут бороться за традиции путем неподачи руки. Молодые выслушали речь Невельского со вниманием и передали ее князю Расторову. Князь Феодор Расторов усмотрел в речах Невельского бунт, экстренно собрал санитарный совет и дал знать врачам, что на этом заседании он представит врачам двух новых коллег и, буде некоторые не подадут им руки, неподавшие руки будут уволены из земства. И врачи — подали руку... — кроме двоих, — кроме Лавра Феодосовича Невельского и Ивана Авдеевича Грозы. Лавр Феодосович Невельский, — узнав о проектах князя, — за день до санитарного совета подал в отставку, срочно выехал из Калязина, от неподачи руки уклонившись тем самым, и перешел работать в новый уезд. А Гроза, Иван Авдеевич, спрятал руку за спину, старомодно раскланялся с князем, торжественно сказал — "извините, князь, но с этими господами знаком быть я не желаю" — и был уволен из Калязинского земства в двадцать четыре часа. Невельский штрейкбрехерствовал хуже, чем те обыватели, которые подали руку. Недели через две, когда Лавр Феодосович Невельский приезжал в Калязин ликвидировать свою квартиру, он объехал с полулегальными прощальными визитами своих коллег, ему сделан был полулегальный прощальный обед, полный полулегальных речей и пророчеств. Но Грозе прощального обеда не устраивалось. Провожали Грозу фельдшер да амбулаторный сторож. Что касается Ивана Авдеевича, то пять раз переходил он таким образом из уезда в уезд, сотни тысяч верст исколесив российскими проселками по нерастелам, по ящурам, по сибирке, сапу и мыту. И уже под занавес империи, в год начала мировой войны, в зное и духоте феодальной реакции, в условиях второвского капитализма и фонмэкковской индустрии, эти российские проселки завели Ивана Авдеевича Грозу в город Можай. По участкам в Можайском уезде жили ветеринарные врачи, коллеги, реставрируя гоголевский быт. И вскоре после приезда выступил Гроза на санитарном совете с докладом о положении

ветеринарного дела в уезде и о мерах развития его. — Господа члены санитарного совета, — торжественно сказал Гроза. — Практика и опыт всей моей жизни и общественной работы указывают мне, что святым делом мы должны считать общее, общественное дело. Когда мне в общественной моей работе указывают на мои недостатки, я бываю только благодарен, ибо исправлением моих недостатков я улучшаю общественное дело. Поэтому я начну мой доклад с указания недостатков и даже позорных явлений, имеющихся в можайской ветеринарии. Например, один из наших участковых ветеринарных врачей выписывает на земские деньги газету "Русское слово", а стоимость газеты проставляет в отчетах, как якобы стоимость бумаги для обертки лекарств, обманывая земство. И этот же врач, равно, как и некоторые другие, — разъезжает, ни копейки не тратя, но в разъездных отчетах проставляет за каждую версту двенадцать копеек, якобы он разъезжает на наемных лошадях..."

Гроза, Иван Авдеевич, сказал длинный доклад. Врачи из санитарного совета, медики и ветеринары, ездили друг к другу в гости, пили друг у друга водку, ухаживали друг у друга за женами и своячницами, — доклад был встречен гробовым молчанием, принят был "к сведению". А летом семнадцатого года, при эсерах, когда эти самые врачи из санитарного совета стремительно заделались комиссарами временного правительства, — именно за это свое санитарное выступление вылетел Иван Авдеевич Гроза из Можайского земства с треском, как при вулканических извержениях, и осел в заштат, описанный выше, один, старый холостяк, без вещей, злой с виду, старый хрыч. В заштате приемы он начинал в восемь утра, кончал к часу, сам себе готовил обед, сам себе разводил в мензурке пятьдесят граммов ректификованного спирта, ел, пил, ложился спать до трех, в три ехал по уезду, возвращался к закату, осматривал стационары, опять разводил пятьдесят граммов, пил их в аптеке без закуски, харкая и крякая, в десять поджаривал яичницу и ложился на диван, под одеяло из романовской овчины, в сотый раз перечитывал майнридовские романы, пока не засыпал.

По осеням над заштатом дули ветры и лили дожди. Драная крыша над Грозой гремела преисподней ветров, а в дожди казалось, что по крыше шествует, обутое в ичиги, мамаево

полчище, которое и на самом деле бывало здесь в довспольные времена. В такие вечера, когда в заштате ни зги не видно, хорошо зажечь много света, хорошо вытопить дом, никуда не спешить и быть с друзьями. Именно так и было напротив, окна в окна, у Лавра Феодосовича Невельского. Лавр Феодосович Невельский приехал в заштат позднее Ивана Авдеевича Грозы. Расставшись некогда без прощания с Грозою в Калязине, Лавр Феодосович Невельский семнадцатый год встретил губернским санитарным врачом и от марта до ноября, сначала от энэсов, а затем от эсеров занимался государственным строительством, недели две был, называясь губернским комиссаром, на месте городского головы, а затем взял на себя здравоохранение губернии, захирел сейчас же после октября, дважды был обыскан продармейцами, опозорен сокрытием в подвале двадцати семи пудов крупчатки в восемнадцатом году и — перевелся в заштат, ехал со станции в заштат на семи возах хозяйственной утвари. В заштате он отвоевал себе лучший генеральский этаж, подкупил генеральского красного дерева. С ним приехала его жена, неимоверно дородная и величественная женщина в пенсне, по профессии фельдшерица и поистине знаток и начетчик всей мировой классической литературы, цитатами из коей ей говорить было удобнее, чем нецитатными словами. Лавр Феодосович Невельский встретил Ивана Авдеевича Грозу в исполкоме, узнал его и глаза Лавра Феодосовича были даже приветливы. Товарищ Трубачев, предрика, сказал:

— Иван Авдеевич, — новый санитар приехал, товарищ Невельский, познакомься.

И Иван Авдеевич Гроза, так же как некогда перед князем Расторовым, спрятал руки назад и, низко качая головой из стороны в сторону, раскланялся с товарищем Трубачевым, торжественно сказал:

— Извини, Павел Егорович, но с этим господином знакомым быть я не желаю.

Товарищ Трубачев смутился. Глаза Невельского стали стальными, очень сощурились. Вообще ж Лавр Феодосович Невельский повадку и внешность имел старостуденческую, народовольческую, ходил в крылатке и шляпе, носил длинные

волосы и, как жена, пенсне на черном шнурочке, был худощав и подвижен.

Товарищ Трубачев наедине сказал Невельскому:

— Ты, товарищ Невельский, на него не серчай... Ветеринар он хороший, а человек чумовой, водку, говорят, пьет в одиночку и ночи напролет читает романы...

Товарищ Трубачев наедине спросил Грозу:

— Ты, товарищ Гроза, — чего ж это ты, здорово живешь, встаешь на дыбки? или что знаешь? Ежели знаешь — скажи.

Иван Авдеевич Гроза ответил свирепо:

— Ничего я не знаю! И я не желаю говорить о Невельском!

В вечера, когда по осенним заштатным крышам шли в ичигах орды недельных дождей, у Лавра Феодосовича было очень тепло и светло. К нему и к жене его приходили врачи и педагоги, сидели в креслах и на диванах, говорили, даже спорили иной раз о текущих моментах. Лавр Феодосович выписывал "Красную новь" и "Новый мир", вместе с газетами они лежали на отдельном столике, новинки читались вслух, читала Полина Исидоровна, относившаяся к современным писателями исключительно иронически. По крыше и по улицам проходили полчища ночи. Полина Исидоровна занималась общественностью. Она организовала краеведческий музей, куда собраны были из генеральской рухляди чучела волка, медведя, лисицы, хорька, ястреба и тетерева, где по воле Полины Исидоровны мальчишечьими руками набраны были яйца галок, воробьев, чижей, синиц, кукушек и где развешены были Полиною Исидоровной всяческих сортов злаковые снопы. Первой весною Полина Исидоровна впервые ввела в заштат волейбол, увлекаясь им вместе с педагогами. Полина Исидоровна летом устраивала интеллигентско-коллективные поездки на лодках, пикники, рыбную ловлю и уху на природе. А в заштате, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью, и прочее. Лавр Феодосович заседал. Но каждый день к шести он был дома, обедал, и священность вечера и вечерного отдыха он строжайше хранил по пироговским заветам, нарушая их лишь прогулками затемно, за город, куда-нибудь к оврагу иль к холму летом, иль к разбитой мельнице весною и осенью, где, несмотря на старею-

щее его состояние, поджидал он ту или иную молодую учительницу и где рассуждал он о вечности, к чему жена его Полина Исидоровна относилась иронически.

Лавр Феодосович был популярен в заштате и уважаем. Он читал лекции, он председательствовал. По пироговским традициям частная практика запрещена, да и не это являлось специальностью санитарных врачей, но Лавр Феодосович считался лучшим в заштате врачом и, не занимаясь принципиально частною практикой, он принимал участие в консилиумах, за что в гонорары принимал благосклонно утят и курят. Сам о себе Лавр Феодосович рассказывал историю, пронесенную им, как живую современность, от калязинской молодости до заштатной мудрости, — о том-де, что на той неделе-де подслушал он из окошка разговор прохожих у его подъезда. Один спрашивал другого: — "здесь, что ль, живет доктор?" — "здесь!" — "и ничего, доктор хороший?" — "доктор очень хороший, только он специальный доктор — не по живым, а по мертвым, живых он не лечит!.."

А Гроза жил один, одиноко, злобно, в гости не ходил и к нему в гости приходил лишь его помощник, молодой ветеринар Климков Николай Сергеевич, — и то только выпить разведенного спирта. Гроза увеличивал тогда свою порцию от пятидесяти граммов до ста и поджаривал яичницу из восьми яиц. К породе разговорчивых людей Иван Авдеевич Гроза никак не принадлежал. По летам в заштате были очень короткие ночи. На ветеринаров в заштате возлагалось страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада, по летам Иван Авдеевич Гроза просыпался в половине третьего утра и ехал на страхование — до восьми, до амбулаторного приема, — с громом на рассвете выезжал с бывшего постоялого двора на улицу, верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе, с громадным портфелем, привязанным над торбой с овсом, — полукровка была отлична, старик был грозен. Летом часто поливали грозы. Что ж касается товарища Трубачева Павла Егоровича, то был он партийцем ниже средней руки, — его товарищи давно работали в крае, иль даже в Москве, — местный уроженец из-под горы, сын рыбака, потомок феодальных мещан и нищих, он учился рыболовным детством в местном городском

училище Положения 77-го года, шестнадцати лет унесен был красноармейской волной на юг, дрался отлично, храбро и преданно, а в двадцать первом, демобилизовавшись, ни учиться не попал, ни на новые какие-либо места не двинулся, а вернулся в свой заштат, женился на дьяконовой дочке-учительнице, остался жить под горой на огороде, народил детей и был бессменным предом рика, хороший человек, хороший товарищ, который за делами и домом новости узнавал на партсобраниях.

Лавр Феодосович Невельский, конечно, приглашал к себе Павла Егоровича и его жену-учительницу. Павел Егорович приходил с женой всего один раз. Полина Исидоровна разговорилась о Бокле и о системе воспитания детей Монтессори, процитировала Овидия и Щедрина, сообщила мельком, что урожденная она — Завалишина. Жене Павла Егоровича у Невельских понравилось, а Павел Егорович отмалчивался от жены, на второе приглашение заявил жене строго, — "не пойду, ну, их к черту, — интеллигенты!.. и тебя прошу — не ходи... тоже, Завалишина — словами завалила!.. галстуки носят!.." А Иван Авдеевич Гроза Павла Егоровича Трубачева и не звал ни разу — лишь требовал его дважды к себе на двор, в амбулаторный манеж, чтобы на месте поругаться в честь протекавшей крыши.

И наступил порог первого Великого Пятилетнего плана. В заштат на автомобиле из края приехала комиссия, — заведующий краевым земельным управлением, краевой статистик-экономист, стенографистка-секретарша. Заведующий краевым земельным управлением, недавно до того присланный из Москвы в край, чуть-чуть стареющий человек с шофером в общежитии ответственных работников — в бывшей чайной с номерами Павла Тютина. Статистик-экономист оказался старым знакомым Лавра Феодосовича Невельского и он, вместе со стенографисткой-секретаршей устроился у Невельских. Заседания комиссии и множества подкомиссий происходили в краеведческом музее, где расставлены были звериные чучела и висели гербарии местных растений. В заштате все перетряхивалось и Лавр Феодосович был всюду. Им извлекались сведения о местных почвах и ставились вопросы о том, нельзя ли здесь построить если не металлургический, то цементный или азотно-

калийный завод. Им подсчитывались даже ветры, ибо выдвигался вопрос об аэро-электрификации. Пересчитывались земли, урочища, погосты, пустоши, осмаки, клинья, подсчитывались все овраги, ибо настоятельнейше предлагалось включить в пятилетку уничтожение оврагов путем заплочинивания их на предмет орошения заштатных почв и создания питьевых водоемов, — этот проект, предложенный Лавром Феодосовичем, возник в сознании Полины Исидоровны. И было заседание, посвященное здравоохранению и животноводству заштата. На заседание собрались медики и ветеринары района. Основным докладчиком оказался Лавр Феодосович. Он сделал блестящий ораторским искусством и цифрами доклад, он высказал блестящие мысли по поводу блестящего будущего заштатного здравоохранения. Что касается ветеринарии, он говорил о ящурах, сапе, сибирке, мыте, о бедствиях приносимых ими, о способах борьбы с этими бедствиями и о способах их изгнания. Цифры и ораторское искусство указывали, что к концу пятилетия не только эпизоотии повального распространения, сап, сибирка, бешенство, ящур, мыт, но даже вагинит и туберкулез — исчезнут в крупном и мелком рогатом и в конском заштатном стаде. Заведующий краевым земельным управлением сидел рядом с Трубачевым, слушал внимательно и чуть-чуть устало. Заговорили записавшиеся в прениях и, надо сказать, говорили невразумительно, ибо оппонентов не было, как не было по существу и прений, ибо все, соглашаясь с докладчиком и восхищаясь его талантами, так строили все свои речи, о ветеринарии в частности, что на самом деле к концу пятилетки заштатные эпизоотии будут сданы в заштат. Вдоль стен стояли чучела зайца, лисицы, волка, медведя, по стенам висели кукушки, тетерев, филин. Лавр Феодосович Невельский передал в президиум резолюцию и тогда затребовал себе слова Иван Авдеевич Гроза. Вид его был свиреп, и был Иван Авдеевич чрезвычайно волосат.

— Господа, — сказал он степенно, смутился, обозлел, поправился, — то есть — товарищи! Я принципально не желаю говорить о проектах, выдвинутых гражданином Невельским по поводу медицины, но что касается вопросов ветеринарии, то я совсем не понимаю, что тут происходит. Я служу в земстве, — и

опять смутился, обозлел еще больше, поправился, — то есть — сначала в земстве, а потом при советской власти — двадцать семь лет в общей сложности, — опять смутился и окончательно обозлел. — То есть, товарищи, я хочу говорить совершенно честно. Я не знаю, кого мы собираемся обманывать. Я приведу пример. В Германии ветеринарное дело поставлено лучше, чем у нас, германское население культурнее нашего, у немцев соседями являются Франция, Швейцария, Австрия, самая некультурная их граница с Польшей, — и тем не менее в Германии до сих пор имеется эпизоотия. А у нас по степям рукой подать до Волги, а там Казахстан, Средняя Азия, которые в свою очередь граничат с Монголией, очагом всех эпизоотий. Я и должен сказать совершенно честно, я совершенно убежден, что в пять лет мы от эпизоотий не освободимся, для этого нам понадобится несколько десятилетий.

Слово взял статистик-экономист, приехавший из края вместе с заведующими крайзу. Речь его была вежливейшая и академичнейшая. Он вежливейше потребовал, чтобы Гроза извинился перед съездом, ибо Гроза заподозрил ораторов в нечестности. Затем, отталкиваясь от ветеринарной специфики, вежливейший статистик-экономист уличил Грозу в германофильстве и недоверии к силам революции, в правом оппортунизме и в желании сорвать пятилетку. Оговорки Грозы "господа" и "в земстве" были возвращены Грозе раскаленным железом вежливости и академичнейшейшего презрения.

Председатель, большевик и бывший матрос, молвил было в защиту Грозы:

— Однако, товарищ, человек ведь действительно указал на факты о границах и на состояние ветеринарного дела у нас и у немцев. Политическое значение речи разрешите уж мне оценить... Может пересмотрим резолюцию, предложенную президиумом.

Статистик-экономист вновь взял слово и настаивал на том, чтобы Гроза принес извинение съезду. Слово взял Лавр Феодосович Невельский, заговорил тоном, указывающим, что событий не произошло. Он начал речь свою тем, что резолюция написана им и он от нее не отказывается. Он единственный на

съезде называл председателя именем-отчеством, и он сказал чуть иронически и очень дружески:

— Уж вы извините нас, Иван Нефедович, хотя мы и заподозрены в нечестности, но давайте на этот раз прислушаемся к большинству и проголосуем.

Тогда вскочил с места Гроза, Иван Авдеевич. Вид его был грозен. Глаза у Грозы были свирепы. Он не спросил слова у председателя. Он заорал чрезвычайно несвязно.

— Имею заявить!.. Требую обсуждений!.. Принципиально не желая иметь дело в гражданином Невельским, имею заявить, что, работая, как земец, то есть, как врач, двадцать семь лет, я никогда, ни разу не делал ничего нечестного. То, что я сказал об эпизоотии, — правильно, но от обсуждения я принципиально уклоняюсь. А поэтому имею заявить, — извиниться я ни перед кем не намерен и съезд покидаю, ибо тут происходит явное передергивание фактов...

Гроза громко хлопнул дверью. В музейный зал вселился летний зной заштата и в зное вспыхнувших речей и негодования ожили чучела волка, зайца, лисицы, сороки, и даже снопы закачали колосьями. За шумом Невельский, Лавр Феодосович, предложил проголосовать резолюции и пожал лавры, — было постановлено о ветеринарии в частности, что к концу первой пятилетки исчезнут в заштате эпизоотии, сданные в заштат.

Съезд был закончен товарищеским ужином в доме ответственных работников, в бывшей чайной Тютина. Среди медиков и ветеринаров оказались песенники, пели "Дубинушку", марш Буденного, "Кирпичики" и даже "Гаудеамус". Председатель, завкрайзу, оказался веселым товарищем, простым человеком, и он сплясал русскую под аккомпанемент рояля, как плясывал ее некогда, на палубе дредноута, причем аккомпанировала Полина Исидоровна, организовавшая бал. Разошлись к рассвету. И на рассвете заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, много уже ночей не спавший, как следует, вышел вместе с Павлом Егоровичем Трубачевым к реке помыться, в тумане лугов, спросил у товарища Трубачева:

— А кто этот твой Гроза? — добавил, думая вслух, — черт их знает, интеллигенты!.. На самом деле, — заштат, степь, —

беги по этой степи бешеная собака, на тысячу верст никто не встретит, не говоря уже о чумной мыши или о суслике, а с другой стороны — большинство, ведь не дети ж, не в шашки играют, ведь понимают же, что дело идет о строительстве социализма, что с ними не шутят, — ведь учились не меньше, чем этот старик!.. как его — Гроза? — такая фамилия?

— Именно такая фамилия, — ответил Трубачев. — Работник отличный, а человек... Человек чумовой, водку пьет в одиночку и ночи напролет читает иностранные романы. Скандальный человек. Прямо незаметно, но надо полагать, что человек чужой, ведь сбежал же из Можайского земства к нам сюда!

— А Невельский? — спросил крайзу, — очень поспешный черт, вроде эсеров... Кто он у тебя?

— Работает, старается, — ответил Трубачев и начал думать вслух, — черт их знает, говоришь, интеллигенты!.. на самом деле, — галстуки ведь на них на всех одинаковые, пойди, разбери... Говоришь с ним, и не понимает он тебя, и ты его не понимаешь, классового контакта нет никакого и нет общих интересов. Меня с женой Невельский один раз позвал в гости, — так его жена меня ученостью завалила. Работает, старается. Я, признаться, избегаю с ними по душам говорить, — стараюсь, полегче конечно, понезаметней, приказывать и следить за выполнением, — сами того требуют... Я думаю, — все-таки большинство право, — ты же правильно говоришь, что не дети, ты ж им прямо сказал, что с ними не шутят, а великое дело делают, — ты ж с того и начал, что хочешь знать их мнение, как специалистов. Я и им повторил. Приходится верить... Галстуки на них, на чертях, на всех одинаковые!

— То-то — верить! — так же вслух начал думать крайзу. — Я приеду в край. Из края пойдет телеграмма в Москву. Ты понимаешь? — ведь Москва на материалах республик, краев, областей Союза, — ведь в расчетах Великого Пятилетнего плана в разделе "животноводство", в главе "ветеринария", в параграфе "борьба с эпизоотиями" напишут и примут в расчет, — мероприятия советской власти и ветеринарии эпизоотии у тебя будут изжиты к началу второй пятилетки! Это ведь про тебя напишут. Вещь ясная и короткая, рассуди сам.

— Своих надо, — невесело сказал Трубачев, — своих, пар-

тийных... Я этим приказываю, они стараются... и — не могу тебе как следует объяснить — верить им мне никак не желательно. А приходится верить. Я же не доктор! А приказ — я не могу тебе как следует объяснить — тоже не очень желательно. Интеллигент от приказа на дыбки встает... приходится верить, а то с одним чумовым Грозой останешься!

Партийцы помылись в реке около старой мельницы, и заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, сел на китайского своего мерседеса, как прозываются у шоферов вдребезги разбитые автомобили, и поехали в край. Степь легла довспольным простором.

Иван Авдеевич Гроза не был на балу в доме ответработников. Всю ночь он пролежал с открытыми глазами у себя во втором этаже под овчинным одеялом, слушая ночь. Ни разу он не ходил в аптеку разводить спирт. Руки его лежали неподвижно, как у мертвецов. Глаза его упирались в потолок. Его помощник и единственный его посетитель, Николай Сергеевич Климов, был на товарищеском ужине и возвращался с бала к себе в ветеринарный флигель на рассвете. Иван Авдеевич поджидал его шаги на улице, он окликнул в окно, сказал, — "зайдите!" — отпер дверь и опять лег на кровать, под овчину, руки вдоль тела, глаза в потолок. Николай Сергеевич вошел в темную комнату, где по углам шарили грязные тени рассвета, где пахло никчемной рухлядью и непроветренной ночью. Николай Сергеевич вошел невесело. Иван Авдеевич протянул Климкову папиросу. Тот взял поспешно, но закуривал очень медленно. Гроза молчал. Николай Сергеевич закурил и сказал не сразу:

— И зачем вы только это, Иван Авдеевич?

— Что зачем?.. — крикнул Гроза.

— Зачем вы на съезде вообще выступали?.. а уж если выступили, почему не отстаивали свою позицию, не боролись и ушли со скандалом, уважаемый врач, старый практик и...

Гроза перебил вопросом:

— Какую резолюцию приняли?

— Резолюцию Невельского, почти единогласно.

— Вы голосовали?

Николай Сергеевич глянул в окошко, очень невесело, затем рассматривал огонек папиросы, — заговорил:

— Вы ведь Невельского давно знаете? — надо было начинать с этого, надо было разоблачать врага. Раз вы пошли против него, надо было драться всеми способами до конца, а не уходить со скандалом... Да и не это главное...

— А что главное? — строго спросил Гроза, сел на постели, крикнул, заворчал: — Невельского я знаю четверть века, принципально считаю его предателем, не подаю ему руки и разговаривать с ним не желаю, тем паче дискутировать, — но лично я не предатель и не доносчик, и доносить на Невельского я не намерен. — Глаза старика стали печальными. — Вы голосовали — за? — но скажите мне сейчас здесь наедине начистоту, — разве я сказал неправду? — разве мы справимся с эпизоотиями в пять лет?!

— Конечно, правду!.. если не все, не все, то большинство это понимает...

— Так в чем же дело!? в чем дело! — радостно крикнул Гроза. — Ведь я говорил ради нашего дела! Я ветеринарному делу помогал и помогал стране! и вы — голосовали!..

Николай Сергеевич оторвал глаза от папиросы и глянул в несчастные и в радостные одновременно глаза старика, — заговорил невесело:

— Иван Авдеевич, не мне учить вас! — какое дело? — если бы люди даже сознательно говорили нечестные вещи, — ну, разве можно к ним обращаться за поддержкой в честности? — судите сами, разве можно так говорить, как вы?.. Да и не в этом главное. О Невельском я ничего не хочу говорить, думаю, что соловьем поет и сметаной подмазывает он из подхалимства и от любви играть главную скрипку. А вот о нас, о таких, как я, мне хочется вам сказать... Учились мы мало, мы беспартийные. Как-то хочется верить всеобщему подъему, силам революции, — с другой стороны, ведь никто не знает, что будет через пять лет, — быть может, на самом деле пятилетка сделает чудеса, быть может, никого не будет в живых, — кто знает? Вера в успех, — это одно. Малое знание, — это другое. Ну, а вдруг большевики возьмут да и построят вокруг всех наших границ каменные стены и на самом деле пережгут и перехоронят в цементе всех сапных лошадей. Кто тогда будет прав, вы или Невельский?.. И еще. Посмотрите на большевиков, — как им хочется, чтобы все

хорошо было. Возьмите наш съезд, — о Трубачеве не говорю, он если не прямо, то косвенно приказал, — валяй, ребята! — посмотрите на председателя, отличный человек, матрос, старый большевик, — обратили внимание, как у него рассечено лицо? — он говорил на ужине, полосанул белый казак, — ведь ему хочется, всей его политической и человеческой субстанции хочется, чтобы все было отлично, — ведь он поди счастлив, поди считает большим делом и завоеванием наше постановление, что через пять лет у нас не будет эпизоотий, — он жизнь отдал революции, — ну, как против него руку поднять?! и обидеть не хочется, и опять же страшно — власть!.. а власть хочет, чтобы эпизоотии исчезли. Некоторые боятся коммунистов, и поделом, потому что социально чуждый, и правды не говорят и назло и со страху, — страх свою роль играет!.. А есть и такие, которые ничего не понимают, кроме того, что власти надо говорить приятное, чтобы не портить отношений и тем спасать шкуру... шкура человеческая — страшная вещь!

Николай Сергеевич помолчал, он неловко кинул в угол к другим окуркам недокуренную и потухшую папиросу, — опять заговорил невесело и горько.

— Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. Шкура человеческая — страшная вещь!.. Ну, скажите мне, — говорил с вами товарищ Трубачев, Павел Егорович, хоть раз по душам? — а ведь работать хочется не только за шкуру, а и за честь, и за долг! Вы ведь тоже с Трубачевым по душе говорить не будете, — и не надо, не надо было выступать!.. Конечно, все выступавшие против вас, да и те, которые вообще выступали за резолюцию, знали по-разному и понемножку, что они лгут и прикрашивают, — а вы это сказали вслух, вы правду вслух сказали. Именно поэтому мы и стали на сторону Невельского, — это я о себе говорю, — потому что вслух вы сказали правду. Можно даже сказать, что товарищи оклеветали вас, сделав из вас и оппортуниста, и контрреволюционера, и чуждый элемент. Но в том-то и дело, что, если человек сделает гадость другому человеку, один день он будет мучиться, а затем — даже не своим сознанием, а всем своим организмом будет находить оправдание своей гадости, обязательно его найдет и обязательно обвинит в гадости того самого, кому она была сделана. Не надо было

выступать, Иван Авдеевич!.. делу вы не помогли, не отстояли себя, и скажу правду, если бы вы не окликнули меня в окошко, если бы не дали так по-хорошему папироски, и я стал бы вашим врагом. Вашим выступлением вы себе только врагов нажили...

— И пожалуйста!! Не прошу, не нуждаюсь! — не заорал, а заревел Иван Авдеевич Гроза так, что задребезжали стекла в рамах. — В циниках и в предателях друзей не держу! Чести своей никому не продавал! — предателем не был! — не прошу! Не прошу-с!!

Через улицу, окно в окно, открылось окошко в квартире Невельского. Николай Сергеевич руки сложил умоляюще, прошипел умоляющим шепотом:

— Иван Авдеевич, — Невельский подслушивает, умоляю, потише, умоляю, не надо, — я вам как друг говорил, по душам, — умоляю, — подслушивают!..

Старик лег на постель, прикрылся овчиной, руки положил вдоль овчины, посмотрел в потолок очень внимательно, взгляд стал очень далеким, старик слушал себя, и старик сказал тихо:

— Не понимаю, не понимаю... ведь я же говорил ради нашего ветеринарного дела, ему ведь я отдал всю мою жизнь, невеселую жизнь!.. а вам — вам за вашу правду, спасибо, я такой правды не знаю, прошу — на меня не сердитесь... Стар! не понимаю!..

Николай Сергеевич молвил очень невесело:

— Э-э-эх, Иван Авдеевич...

Через улицу, окно в окно, перед рассветом вспыхнул огонь. Лавр Феодосович с Полиной Исидоровной укладывались спать. Совсем на рассвете через улицу окно в окно из ветеринарной амбулатории понесся крик Грозы. Оба — и Лавр Феодосович и Полина Исидоровна, поспешно окно распахнули. Крик затих.

— Это совершенный идиот, этот Гроза, фамилийка тоже! — сказал Лавр Феодосович.

— И он так и заявил, что не верит в уничтожение эпизоотий и не желает больше разговаривать, и ушел с собрания? — вот идиот! — так и сказал? — в двадцатый раз спросила Полина Исидоровна, добавила совершенно тихо: — Но у тебя, Лавр, нет опасений? — ты не думаешь, что это чересчур и край потребует пересмотра?

Лавр Феодосович сделал страдающее лицо и страдающе сказал:

— Нет, конечно, — но если бы ты знала, как они мне надоели!..

— Кто — Гроза?

— Нет, большевики, конечно, — весь этот сивый бред, все это скудоумие! — если бы ты знала, как все это надоело мне, как меня тошнит от них!.. Что касается Грозы, — то завтра я подам протест по профсоюзной линии...

— О, да, конечно! — сказала Полина Исидоровна.

Окончательно в расчет у дома ответработников прохрипел "китайский мерседес", и вскоре за ним загремели дрожки Ивана Авдеевича Грозы, выезжавшего на страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада. Иван Авдеевич сидел верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе. Сзади него к торбе с овсом привязан был громадный портфель. Полукровка шла весела и нарядна. На съезде от бывшего собора под гору Ивана Авдеевича повстречал товарищ Трубачев. Трубачев окликнул Ивана Авдеевича:

— Слышь, Иван Авдеевич, чего ты бузу трешь? — ты скажи по сердцам про эти самые эпизоотии, интеллигенты, вы, черти, галстуки носите!.. — напутал Невельский? — ты скажи по сердцам!..

Гроза ответил очень покойно:

— Ну, сам посуди, ведь семьдесят процентов наших коров больны вагинитом, — в Голландии, в коровьей стране, и то и вагинит, и туберкулез рогатого скота в громадном проценте — возьми датскую статистику, если не веришь германской.

— Ты подожди наукой сыпать, — ты скажи кратко — останутся или не останутся, и скажи про Невельского, — молвил Трубачев. — На, закури, Иван Авдеевич!

— Останутся, — твердо сказал Гроза и твердо добавил: — А о Невельском и говорить — ниже моего достоинства. До свидания.

Иван Авдеевич перебрал вожжи.

— Ты, постой, погоди. Ты куда едешь-то? — ты, может, что знаешь про Невельского? — ты что же, ежели утверждаешь, что

останутся, ты, может, и помогать будешь, чтобы остались? — почему я тебе верить должен?..

— До свидания, — сказал Гроза, — глупости говоришь. Еду на страховку.

В лугах лежали туманы. Трубачев проводил Грозу туманными глазами под гору. А на горе осталось российское место оседлости, при царях Иванах бывшее вспольною крепостью и сданное затем в заштат. Базар и заколоченный собор на месте бывшей деревянной крепости. На юг, север, восток и запад — заштатные дома и местности. По осеням в дожди по заштатной этой местности, обутые в ичиги, мамаевы кочевья ночи и дождей,над заштатом дули ветры и метели. И как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью. Зимой заметали снега. Так шествовали годы. Революция планами своими заштат обходила, советское межевание помещало в городе рик. В начале пятилетки снимали в городе с церквей колокола, заштатцы говорили, — ничего не выйдет, народ за колокола взбунтуется, — но колокола сняли и забыли о них в новых событиях. В социальном ветре, который прошел над страной, всполошились деревни вокруг заштата, валом повалив в колхозы. Заштатники говорили, — ничего не выйдет, — но единоличник исчезал, и в новых деревнях о нем забыли. Весь заштат однажды не спал ночи, мальчишки целые сутки висели на заборах и липах, а молодежь с котомками уходила навстречу, — ожидали трактора со станции, невиданное зрелище. Тракторов въехало сразу двадцать три штуки, и проехали тракторы прямо в бесколокольный собор, в соборный гараж. Заштатники провожали тракторы до собора и влезли в гараж вместе с тракторами, три дня ходили пересматривать тракторы старухи, в поле таскались смотреть, как тракторами пашут, — и не заметили за тракторами, как от станции до заштата — семьдесят один километр — вместо екатерининского глиняного большака легло каменное шоссе, и по шоссе попер автобус. За колхозами и автобусом, за грохотом тракторов, заштатники не заметили, как под горой на месте разбитой мельницы зафыркала электростанция, и, как должное, затребовал заштатец в рике себе на дом провода. Не заметили, как многие заштатцы

смылись из заштата и подобру-поздорову, и иными путями, как новые поселились в заштате люди, не знавшие о довспольных временах. Так прошло четыре года. В музее краеведения Полина Исидоровна намеревалась встретить порог второго Пятилетия, был декабрь. Было забыто, но было известно, что эпизоотии в заштатных землях есть. Дом Грозы окна в окна стоял против дома Невельского. И совсем под новый год, — в Москве тогда только что отошел процесс промдеятелей и московские газеты назревали кондратьево-чаяновский процессы — совсем под новый год по новому шоссе пришли в заштат два новеньких автомобиля. С одного из них вылез — в овчине, в треухе, в валенках, — бывший матрос, чуть-чуть стареющий, с замерзшим лицом, на котором побелел от мороза шрам, нанесенный некогда саблей. В музее краеведения, перед которым тщательно к празднику были разметены снега, зажгли большое количество электрических ламп, — там заседала новая комиссия. Старый матрос медленно читал пожелтевшие стенографические листы. Рядом с ним над листами склонился, стоя, опершись на скрещенные руки, бритый, молодой, с ромбами на красных нашивках.

— Эх, ты, — галстуки!.. не дети же...

Трубачев стоял против стола, не садился всю ночь. И глубоко за полночь последним разбудили Ивана Авдеевича Грозу, сказали, чтоб сейчас же собирался в музей краеведения, проводили. В музейном зале от ламп под зеленым колпаком навстречу Ивану Авдеевичу пошел матрос, протянул руку, сказал:

— Не узнаешь меня, Иван Авдеевич!? — здравствуй, как поживаешь? — Мы вот тут стенограммы читаем, — это вот, помнишь, когда мы составляли первый пятилетний план, — ты тогда говорил, что эпизоотии останутся. Они и остались. Что можешь сказать в свое оправдание?

— Здравствуйте. Узнаю. Были и остались, как я и говорил.

— Ты нам посоветуй, что ты можешь сказать в свое оправдение. Мы вот сегодня Невельского арестовали...

— Арестовали? — переспросил Гроза и улыбнулся всеми своими сединами.

— Арестовали, — ответил моряк. — Вот именно поэтому, что ты в свое оправдание скажешь? — ведь если бы ты о Невельском четыре года тому назад рассказал, может, его и арестовы-

вать не пришлось бы, а, может его б тогда арестовали — для пользы дела. И знаешь тебя-то за укрывательство негодяев надо арестовать. Товарищ Трубачев ведь по сердцам с тобой говорил! И вот ты об этом подумай, старик, ведь ты ж вредителем оказываешься со своей интеллигентской моралью. Тебе верить можно?

— Можно.

— Тогда ты это докажи и не путай. Ты нам изложи твои точки зрения на местную ветеринарию и взгляды. Ты, что ж, Невельского отстаивать будешь?

В музее было очень тепло и светло. За музеем лежало российское место оседлости, заштат. В довспольные времена здесь ходили мамаи, была здесь вспольная крепость. Но, когда снимали колокола с собора, заштатцы говорили, — ничего не выйдет. Гроза взбунтуется, не говоря уже о Лавре Феодосовиче Невельском, — однако колокола сняли, забыли о них.

Борис Пильняк

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Благословение мое, как гром, любовь безжалостна и жжет огнем.
Я в милосердии неумолим, молитвы человеческие — дым.
Из избранных тебя избрал Я, Русь, и не помилую, не отступлюсь.
Бичами пламени, клещами мук не оскудеет щедрость этих рук.
Леса, увалы, степи, и вдали пустыни тундр — шестую часть земли
От Индии до Ледовитых вод Я дал тебе и твой умножил род,
Чтоб на распутьях сказочных дорог ты сторожила Запад и Восток.
И вот вся низменность земного дна тобой, как чаша, до краев полна.
Ты благословлена на подвиг твой Татарским игом, скаредной Москвой,
Постылой Петербургскою стряпней, Голштинской, Прусской,
Гессенской родней.
Распластанную, голой на земле, то вздернутой на дыбе, то в петле,
Тебя живьем свежуют палачи, — радетели, целители, врачи.
И каждый твой порыв, и каждый стон отмечен Мной, и понят, и зачтен.
Твои молитвы в сердце Я храню, попросишь мира — дам тебе резню.
Спокойствия? Девятый взмою вал. Разрушишь тюрьмы — вырою
подвал.
Раздашь богатства, станешь всех бедней, — ожидовеешь в жадности
своей.
На подвиг встанешь жертвенной любви, — очнешься пьяной, по плечи в
крови.
Замыслишь единенье всех людей, — заставлю есть зарезанных детей.
Ты взыскана судьбою до конца, безумием заквасил Я сердца,
И сделал осязаемым твой бред... Ты — лучшая! Пощады лучшим — нет.
В едином горне, за единый раз жгут пласт угля, чтоб выплавить алмаз.
А из тебя, сожженный Мной народ, Я ныне новый выплавляю род!

Коктебель, 1923. *М.А. Волошин*

Это стихотворение М. Волошина получено нами из Самиздата в числе неопубликованных. РЕД.

ПОМИНОВЕНИЕ

Блажен непорочный, в путь входящий в законе Господнем... Упокой, Господь, душу рабов твоих... Господи, спаси и помилуй рабов Божьих... За упокой Алексея и Федора, Никиты и Андрея, Иосифа и Владимира, Петра и Глеба, Лариона и Сергея, Евгения и Абрама, Ефрема и Оста... Эми... и К... Самуила и ...

Слова разносились над холмами, цеплялись за груды взрытой земли, становились тише, терялись и скоро затихли. Бормотание смолкло. Человек с котомкой лежал, уткнувшись лицом в землю.

Прошло несколько часов. Он не шевелился. Унылое утро перешло в бессветный день. Тяжелое небо наплывало на холмы, закрывая угрюмое темное море. Ветер разносил песок и сухую траву. Было тихо как под землей, неустойчиво и неотчетливо как под водой.

Человек пошевелился, сел, отряхнул землю, медленно развязал мешок, медленно, потому что был беспалым. Что-то посыпалось. Он осторожно собрал белые крошки, поднялся и обходя холмы, стал разбрасывать хлеб.

Иногда он возвращался к мешку, снова доставал хлеб и разбрасывал его по бугристым холмам. Донеслись слова: "Сегодня Троица. Вас поминаю, вас помню. Это белый хлеб, не спешите, ешьте вдоволь, а после поговорим".

Мешок опустел, последними были две бутылки водки, которой он полил холмы, и три свечки. Человек старался зажечь их, но ветер тотчас же задувал пламя. Наконец толстые самодельные свечки задымили.

Огни далекого города вспыхивали как кладбищенские свечи в день поминовения усопших, и эти неживые холмы превращались в кладбище, канавы в могилы, редкие камни в скамейки, а единственный посетитель в тысячи рыдающих друзей и родных. Вот только церкви недоставало, Богородицы или Николая Чудотворца, и больших кладбищенских деревьев.

В мешке еще что-то было; заботливо поддерживая корни человек достал цветы, завернутые в газету, анютины глазки и маргаритки, и несколько веток тополя. Вырыв ямки, он рассадил их по холмам, хрупкие тополиные ветки привязал к подпоркам. Какое-то время они продержатся на ветру, пока их не сломает непогода.

Лицо человека потеряло сосредоточенность. Все было закончено. Еще раз обойдя холмы, он поправил цветы и свечи, иногда наклоняясь и целуя землю и камни, потом опустился около мешка и начал тихо молиться.

Молитва звучала как мольба о прощении. Он просил мертвецов не гневаться на него за то, что он живет, иначе "...кто бы покормил вас и прибрал могилы, кто бы навестил вас? Один я знаю, где вас искать, где ваш дом теперь.

Вы помните, я хотел быть с вами, здесь все осталось, что у меня было, и никого у меня нет, и я просто жду, когда к вам вернусь. Бог велит мне жить и вас помнить. Сегодня десятый раз вас навещаю. Ночь с вами, а утром обратно тронусь. Суток двенадцать буду добираться до моего жилья. Бог даст, на следующий год свидимся. Так и живу, от встречи до встречи. Стар я и очень устал. Помните, мы думали, выпустят, вся жизнь нашей будет, каждый день будем жить, а как наши пятнадцать лет текли, мы не видели и не знали, что песок в лотке. Бесконечно мука тянулась. Цель была — выжить, вернуться, зачем, сейчас я спрашиваю себя, зачем?

Я жив, а как будто мертв, не лучше ли было вспыхнуть и сгореть и сжечь их, как ты, Павел, сделал! Не страх остановил, надежда, Иван! Ты муки за нас принял и не признался, а ты, Константин, с голоду стаял. Михаил, тебя еженощно поминаю, как ты спас меня, отрубил помороженные пальцы. Простите меня, наказ ваш не могу выполнить. Я все помню, все записано. Ваши слова святы, но нельзя их людям передать. Им страшно

содеянного. Надо ждать. Им не представить, что невинных били. Они не хотят знать о том, что было, меня вороном зовут. Только с вами и могу говорить. Только вам душу и открываю".

Человек зарыдал, громко, отчаянно: "Возьмите меня к себе! Тяжесть непосильная! Зачем я выжил?"

Настало утро, такое же пасмурное, как и накануне. Свечи догорели, цветы увяли, белые крошки развеял ветер и захоронил песком.

Человек исчез, и никто больше не тревожил мертвецов магаданских холмов.

Помилуй меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным... да не обладает мною беззаконие...

Лариса Докторова

*

В прозрачном небе вещий холодок,
Подсохшие деревья посветлели.
И вот плывут осенние недели —
Один шуршащий золотой поток.

Гоняет ветер пурпурный листок.
Упругие заброшены качели.
Забиты ставни. Птицы улетели
И дом нахохлен, стар и одинок.

А я тропинкой медленно бреду,
Мне так просторно дышится в саду,
Отцветшем, отзвеневшем, отлюбившем.

От всех земных забот отрешена,
В усталый мир нисходит тишина,
Смиряя боль о бывшем и небывшем.

Лидия Алексеева

СОН

ГЛАВА 1

Несколько секунд Форест не мог вспомнить, где он. Снилось что-то глупое, будто он все еще делал доклад в Сенатской комиссии и почтенные сенаторы превращались в русских иммигрантов. Он открыл глаза, стены качнулись и стали на место. Он лежал на старинной кровати под голубым пологом у себя на 67-й улице.

Слева, под ребрами засела неприятная тяжесть. Опять переел! Да еще эта противная особа в поезде говорила и говорила, стараясь что-то выпытать, пока ему не стало плохо. А она все наклонялась, мешала дышать, настаивала, чтоб он сейчас же на вокзале шел в приемный покой. Даже поддерживала под локоть...

А может и правда сходить? Просто, чтоб не думать. Корнфилд свой человек, не будет делать из мухи слона — какие-нибудь витамины, диета... Ничего не поделаешь, надо "сокращаться". Следуя своему правилу не откладывать неприятное, он пошел к доктору в тот же день. "Все прекрасно, — говорил он себе бодро, — и никогда я не чувствовал себя лучше".

Стараясь разогнать гнетущую атмосферу докторского кабинета, он рассказал с несвойственной ему шутливостью о даме в поезде.

— Все сердца покоряешь, — рассеянно отозвался доктор. — Ну, садись! Раз пришел, давай посмотрим! Ты когда у меня был? Лет десять?

Мы печатаем отрывок из романа Ольги Маслей "Сон". РЕД.

— Ерунда! Я совершенно здоров. Я, собственно, насчет Тинни — она что-то сдала последнее время.

— Садись, надо как следует! Я все-таки доктор.

Давление крови, раз, еще раз.

— Чего ты проверяешь? Конечно поднялось! Это Вашингтон всегда выбивает из колеи. Почему они так упрямы, эти наши политиканы? Ну, чего ты молчишь?

— Да, конечно. Ты не волнуйся, ничего особенного, но осторожность не мешает. Тебе давно пора отдохнуть. Плюнь ты на свою Колонию и поезжай вокруг света! Что может быть лучше — никуда не спешить, лежать на палубе с книгой. Если б я мог ...

— Говори прямо! Я должен знать, у меня дела, я не могу все бросить! Я требую ...

— Если хочешь серьезно, всем нам нужен покой, организм изнашивается. Говорят об усталости даже стали, а мы все-таки живые существа. И вот что: не езди ты один на автомобиле, тем более с пассажирами. Возьми шофера.

— К черту! Ведь я вижу. Говори сколько мне осталось?

— Я не Бог. Кто знает сколько нам всем осталось?

В Колонию он попал к вечеру. Ему хотелось одного — уйти к себе, лечь, закрыть глаза. И еще — чью-то легкую, прохладную руку на лоб.

Отдохнуть ему не пришлось, заведующий хозяйством поймал его у двери.

— Лес надо заказывать, в конторе вашу подпись требуют.

— Так вы же заказали?

— А что я могу сделать? Заказали по смете, а они все угнали, на половину не хватило. Разве с ними поспоришь? А еще эти черномазые, негры не негры, не поймешь кто! Им приказываешь, а они не слушают, собьются в кучу, лопочут по-своему. Уж вы их куда-нибудь отправьте, все равно толку не будет, зоологический сад какой-то! Где тут доходов ждать!

Роберт Форест набрал полную грудь воздуха и выдохнул медленно со стоном.

— Сколько раз я вам объяснял: я создал Колонию не для доходов. В настоящее время каждый человек должен что-то делать для спасения цивилизации. Весь мир охвачен ненавистью,

только мы, американцы, еще можем рассуждать спокойно. Доходы мне не нужны. Если нам удастся помочь новым иммигрантам войти в нашу жизнь, понять наши принципы, я буду считать дело сделанным!

Заведующий хозяйством пожал плечами.

Распорядившись, чтоб собрали новых иммигрантов, Форест пошел к себе переодеться. Он долго стоял под теплым дождем душа, будто смывая что-то неприятное — заведующий хозяйством? дама в поезде? Сенатская комиссия? О докторе он старался не думать — это их докторское дело всегда пугать людей, на этом они стоят.

Из полутемного зала Большого дома долетал приглушенный гул голосов. Он толкнул дверь, шум оборвался, бледные пятна лиц повернулись в его сторону. Он разом забыл усталость, доктора, Сенатскую комиссию. Здесь было дело его жизни, от него ждали помощи, на него смотрели с надеждой и доверием.

— Друзья мои! — начал он тем особым размягченным тоном, каким всегда говорил с вновь приехавшими растерянными, испуганными людьми. — Надеюсь вы немного отдохнули и почувствовали себя дома. Скоро будет триста лет как в нашу свободную страну приезжают люди со всего света, спасаясь от войн и преследований, от голода и несправедливости. И мы рады разделить с вами все, что имеем. Здесь нет места для ненависти и зависти, здесь все равны, каждый вносит свою лепту в создание мирного государства. Цель нашей организации доказать возможность понимания и мирного сотрудничества между людьми разных рас и религий. Никто не ждет от вас жертв, вполне естественно, что вы захотите добиться материального благополучия, быть уверенными в завтрашнем дне, спокойно воспитывать детей. Мы предоставляем вам место отдыха. Те, кто захотят устроиться самостоятельно, могут уехать в любое время. Те, кому у нас понравится, могут остаться и стать членами Колонии. Но вы должны забыть ненависть и нетерпимость. От вас зависит, чтоб наша страна не повторила ошибок старого мира, чтоб мы не были вовлечены в предрассудки и страсти, разрушающие Европу.

Иммигранты слушали напряженно. И русские и английские

слова звучали одинаково непонятно, было в них что-то искусственное, ненадежное, похожее на птичий щебет.

Отдельно в стороне сбились в кучу низкорослые, темнолицые люди. Заметив, как пугливо они жались друг к другу, Форест почувствовал прилив жалости.

— Когда вы подъезжали к Нью Йорку, вы заметили большую белую статую — статую свободы. Знаете вы, что на ней написано?

Give me your tired, your poor,
Your huddled masses
Yearning to breath free ...
I lift my lamp before the golden door!

Как всегда знакомые слова наполнили его счастьем и гордостью за свою страну, распахнувшую двери для всех несчастных.

— Я попробую сказать по-русски. — Он поднес к глазам бумажку с переводом написанным для облегчения английскими буквами. —

Придите все усталые, голодные и нищие,
Бесконечные толпы жаждущих свободы
. . . . . .
Для вас я поднимаю мой факел!

Напряженное, недоверчивое выражение лиц иммигрантов не изменилось. Сотрудники окружили его с поздравлениями, расспросами о поездке, рассказами о мелких событиях в Колонии.

— Завтра, завтра, — повторял он, пожимая руки, — сегодня не могу, устал. Может кто-нибудь скажет им по-русски, боюсь многие не поняли. И, конечно, по-испански!

На дорожке в саду стояли два человека.

— Ну, в чем дело? — спросил он утомленно.

— Мы вас тут поджидали, хотели совет дать, чтоб вы не очень этому хаму доверяли, он с немцами работал, сколько человек выдал.

— Про кого вы говорите?

— Вы знаете про кого.

— Бросьте, пожалуйста! Все это надо забыть. Если мы

будем отравлять себя подозрениями, мы только подготовим дорогу к новой войне...

— Как хотите ...

Он вышел на дорогу и повернул к Старому дому. За парком среди черных веток догорал закат. В открытом месте было еще светло. На сложенных для постройки досках сидели новые иммигранты. Женщины вздыхали, некоторые плакали.

— Вот и приехали, наобещали нам то да сё, а видно и тут покоя не будет. Уж на что, где раньше жили, все-таки христианский народ был, хоть и не наш! А здесь, подумать надо, поместили каких-то чернокожих тут же рядом. Ребятишки спать боятся — думают черти ...

Мужчины стояли кучками, курили и сплевывали.

— Чего он говорил? Вроде сердился, а разве поймешь?

Спрашивали столяра, жившего в Колонии давно.

— Ты по-ихнему можешь. Чего он обещал, жалованье или как? Харчи-то харчи, а надо одеться, обуться...

— Да я и сам не очень ... Говорил вроде, чтоб детей в христианской вере поддерживать, чтоб не мешались, которые иной державы. А про жалованье не заметил.

Его провожали неприязненными взглядами.

— Всё брешет. А сам, говорят, больше сотни получает.

ГЛАВА 2

Роберт Форест был идеалист, но идеалист особой американской складки. Туманные утопии старого мира его не занимали. Он знал, что ничто на свете не совершенно и наш долг улучшать существующий порядок.

Кончив университет в годы финансовых спекуляций президентства Кулиджа, он стал не спеша обдумывать, чем бы заняться полезным для страны и не связанным с акциями и бонами. Деда, твердо верившего в моральное значение экономического успеха, уже не было. Отец не торопил, отец принадлежал к поколению, открывшему новые ценности, чувствовал себя как дома в Париже, покупал картины, читал философские книги. Когда он умер от удара сравнительно молодым, оставив сыну огромное состояние, Роберт почувствовал серьезную ответ-

ственность. Потребности его были удовлетворены —дом в Нью Йорке, имение в Коннектикуте, клуб, портной и парикмахер, унаследованные от отца. Но это была его частная жизнь — оставить капитал без употребления, когда страна нуждалась во многом, было нечестно.

Его предки создали могучее государство, значение которого росло с каждым годом. Миллионы людей стремились в обетованную страну. Привыкшие к тяжелым жизненным условиям на родине, они не претендовали, попадая на нижнюю ступень социальной лестницы, жили отдельными группами, не смешиваясь с основным населением.

Общественнэе внимание было привлечено низким уровнем их жизни — квартирные условия невозможные, дети на улицах, преступность росла с каждым годом. Расследование причин принесло неожиданные результаты. Подростки-школьники отвечали на вопросы откровенно, без ложного стыда.

— Это потому, — говорили они, — что хорошие вещи, действительно хорошие, стоят денег!

Надо работать, чтоб их получить, возражали общественные работники.

— Ну, это длинная история!

Роберт Форест посещал трущобы, принимал участие в заседаниях, делал планы — клубы, библиотеки, театры. Все это было полезно, но этим занимались многие другие, он хотел широкой деятельности, связанной с ходом истории, с общей цивилизацией.

Мир шевелился. Африка очнулась от долгого сна, таинственная Азия уже не скрывала древних притязаний, дряхлая Европа галантно защищала культурное наследство от наступления варваров.

На сцену выступила новая страна. Одним махом она вышла из средневековья и разрешила социальные и экономические проблемы, над которыми тщетно бились цивилизованные государства. Форест знал о ней мало — тирания, примитивное хозяйство, азиатская роскошь одних и нищета других. Верный сын своей родины, он приветствовал падение царского режима и критиковал свое правительство, медлившее с признанием новой демократии.

Он видел огромные возможности в дружьбе с отсталой страной, полной естественных богатств, с неразвитой промышленностью, с дешевым трудом. Но не коммерческие расчеты его привлекали, он чувствовал идущий оттуда свежий ветер. Там были люди, не боявшиеся рушить старое, чтоб на его месте построить новый, справедливый мир. Их планы были широки и смелы, неудачи их не пугали. Форест готов был всячески им помогать, доказать, что Америка дружественная страна, готовая обмениваться ценностями.

Решив ехать в Россию, он подошел к делу серьезно и пригласил профессора славяноведения, обещавшего за год научить его свободно говорить по-русски. По шесть часов в сутки он терпеливо заставлял свой язык двигаться неестественным образом по картинке в учебнике. Он даже пытался читать русские книги, пока что в переводе. Но он вообще не был любителем чтения, а эти книги были особенно скучны — много действующих лиц, длинные разговоры, ничего определенного, созидательного.

Он выехал из Нью Йорка в середине ноября с хорошим запасом шерстяных вещей, мыла и зубной пасты. Ему объяснили, что разрушенная царским режимом жизнь еще не налажена, но улучшается с каждым годом.

Он и сам не знал точно, что ожидал увидеть. Ему мерещилась колоссальная работа, стройка небоскребов, грохот машин, молодые, полные энтузиазма лица. Его встретили молчание и сон. Интернациональные спальные вагоны проносились мимо заброшенных станций, люди в странной одежде протягивали руки к окнам вагонов. Проснувшись на рассвете в каком-то городке, он видел угрюмую толпу с мешками за плечами, окруженную стражей.

Переход из солнечной осени в белые мертвые поля подействовал на него удручающе. Первое время он видел только это, несвязанное с новой эрой, лицо России — небольшие дома, облупленную штукатурку, трещины, развалины, неудобные санки, запряженные лохматыми лошаденками, застывшие очереди бедно одетых людей. Бесформенная, темная одежда делала женщин тяжелыми и неповоротливыми, мужчины

смотрели с угрюмой безнадежностью, не слышно было смеха и громких восклицаний.

Его пригласили на заседание Наркомпроса. Путая английские и русские слова, он изложил свой план преобразования школ по американской системе. Слушали его с интересом, но немедленных результатов доклад не дал. Ему предложили пожить спокойно, посмотреть вокруг, познакомиться с советской системой — на пути к бесклассовому обществу необходимо уравнять все население, открыть привилегии тем, которые были угнетены, дать им возможность получить высшее образование.

— Но это как раз то, что мы стараемся сделать в Америке.

— Вы не понимаете нашей идеологии. Вы называете вашу страну демократической, когда на самом деле она капиталистическая. У вас построено на эксплуатации, на захвате власти богачами. Миллионы работают на них, ибо у них нет другого выхода.

— А разве у вас не работают?

— Да, но советские люди работают для государства, они знают, что государство принадлежит им, они хозяева. Мы верим, что вы хотите понять, но пока что вы не можете!

Понять их было трудно, но и обескуражить его было нелегко. Он стал придумывать новый план. Публичных библиотек в американском смысле там не существовало. Старое правительство не заботилось, новое еще не успело организовать. Форест твердо знал, что бесплатные библиотеки обязательны для каждого цивилизованного государства.

Он подошел к делу серьезно, запросил Библиотечный отдел Городского управления Нью Йорка об организации местных отделений, о числе томов, о числе обслуживаемого населения.

Самое простое было пригласить группу специалистов, которые могли бы начать дело, но его идея не встретила сочувствия.

Он сделал доклад о широкой сети бесплатных библиотек на его родине, о Карнеги, тратившем миллионы на постройку зданий, о величайшей в мире библиотеке Конгресса, созданной американской демократией, открытой для всех без запретов и ограничений. Он описал огромный зал, где за одним столом сидели богатые и бедные, черные и белые, старые и молодые.

Оказалось, что Советское правительство работало в том же направлении — частные библиотеки были национализированы для народа. Получив адрес Центрального книжного склада, он отправился туда на следующий же день.

Пятиэтажное здание было промерзло насквозь, внутри было холодней, чем на улице. Книги лежали грудами на грязном полу — старые журналы в бумажных обложках, перегнутые пополам, разорванные на части; роскошные издания в тисненых переплетах с коронами.

Роберт Форест обошел несколько этажей, не встречая никого, и наконец набрел на кабинет заведующего. Небольшой, плотный человек в толстой фуфайке и шубе гладко объяснил ему план работы книжного склада.

— Мы делаем все, что можем, но требования слишком велики, миллионы рабочих жаждут знаний, ищут культурной помощи.

— Я вижу у вас много книг. Не думаете ли вы, что их следует привести в порядок, выяснить наличность? Чего не хватает, можно достать за границей. Насколько я знаю, русские книги печатают в Европе, а теперь и у нас.

Заведующий удивленно поднял брови.

— Но рабочие не захотят читать эмигрантскую литературу, даже здесь, на складе, большая часть не годится. А вы знаете, сколько у меня служащих? Двое! И кроме того, холод ...

— Я хотел бы получить цифры: число библиотек частных, публичных, религиозных, университетских. Пользуются ли они собственным помещением или арендуют? И в каком размере можно ждать помощи от центрального и местного управления?

— На эти вопросы вам ответит мой помощник, он в курсе дела. Я работаю по совместительству. Идемте, я провожу!

В холодной кухне сидел тощий рыжий человек с книгой в посинелых руках. Девушка в шубе и валенках грела руки у выплевывавшего пламя примуса. Она повернула голову, взглянула равнодушно и, подняв крышку с кастрюли, стала что-то мешать ложкой.

Вот американский товарищ, строго сказал заведующий, — объясните ему все, что нужно. Мне некогда, у меня заседание.

— А как насчет добавочного пайка? спросил рыжий, осторожно закрывая книгу. — Полгода ждем.

Начальник, не отвечая, повернул к двери.

— Садитесь! — пригласил рыжий. — Сейчас обедать будем.

Все было странно, все было дико, будто во сне. Девушка поставила кастрюлю на стол и разложила по тарелкам месиво, которое не стала бы есть ни одна собака.

— Потушите примус, —сказал рыжий, — завтра не на чем будет чай согреть.

— Немножко! — прошептала она умоляюще. — Все-таки теплей!

— Простите! — сказал Форест, отодвигая тарелку. — Я не голоден, я недавно завтракал.

Рыжий молча подвинул его тарелку к себе.

— Так что же вы хотите знать? — спросил он, выскребая остатки месива. — В общем так: мы получаем запросы, столько-то человек, уровень образования, мы набираем комплекты, всё строго по программе. Ученый библиограф приезжает раз в неделю. Не дай Бог положить лишний процент беллетристики или философии... Что ж, ему тоже есть надо! Мы посылаем, а что дальше — неизвестно. Может и читают кой-когда, а больше на папироски. Бумаги-то нет! Заезжают иногда важные персоны, отбирают для своих библиотечек, по переплетам больше, особенно если с коронами. А я и рад, коронами не интересуюсь, а вот такие, — он осторожно положил руку на голубую обложку, — мой хлеб! Потому и сижу здесь на голодном пайке. Восемнадцатый век, а смотрите, как сохранилась. Иногда удается кое-что сбыть — букинисты интересуются. То, что приказано сжечь!

Он взглянул на девушку и оба расхохотались.

ГЛАВА 3

В Комиссариате Просвещения на вопросы Фореста отвечали уклончиво. Напрасно добавился он свидания с главами правительства. Все были заняты, его просили подождать, не спешить.

— Сейчас трудное время, — говорили ему со снисходительной улыбкой, будто он был ребенок неспособный понять серьез-

ную работу взрослых. — Хотите пойти в балет? Сегодня "Лебединое озеро".

Он устал от экскурсий по городу, от пустых окон магазинов, от церквей, превращенных в музеи. Картинные галереи его не интересовали — то же самое можно было увидеть в Нью Йорке. Театр утомлял пышностью декораций и ненужным пафосом.

— Это наша гордость, — повторял гид, —нигде в мире нет ничего подобного.

В морозной пыли Книжного склада он отдыхал. Никто не обращал на него внимания, заведующий молча проходил мимо, рыжий читал, девушка лазила по полкам. Лестница пошатывалась, Форест вскакивал и протягивал руку, но она без его помощи прыгала вниз и перетаскивала лестницу дальше.

— Разрешите я помогу?

— Нет, она очень тяжелая.

Иногда его приглашали в кухню. Из деликатности он пил с рыжим отвратительный морковный чай и слушал рассуждения о неизвестных ему поэтах. Его интересовало другое — выборы, профессиональные союзы, национализация земли и промышленности. Рыжий с досадой отмахивался.

— Когда вы откроете глаза? — возмущалась девушка. — Никакого социализма нет, все ложь, слова. Дураки верят, жулики обманывают!

— Я думаю вы ошибаетесь. Многие серьезные люди ...

— Серьезные дураки!

— Это очень печально, что вы, молодая девушка, так ... так как сказать по-русски disillusioned? Жизнь может быть прекрасна, всё зависит от нас. Бог создал мир, но мы должны Ему помогать.

Она закидывала голову назад и смотрела на него сверкающими глазами, ему казалось, с ненавистью. Его огорчала ее слепота, ее непонимание. Он старался ее убедить, что недостатки есть везде и всегда, что нельзя из-за мелочей закрывать глаза на великую идею справедливого устройства мира. Но в разговор вмешивался рыжий, упорно старавшийся объяснить ему разницу между двумя группами поэтов.

Когда Книжный склад закрывался, они выходили все вместе. На углу рыжий прощался, девушка переходила улицу, уверенно ступая огромными валенками между сугробами. Он поспевал за ней с трудом. Говорить, глядя на ее спину, на пряди волос, выбившиеся из-под ушастой финской шапки, было невозможно. Около Почтамта тротуар был расчищен, он прибавлял шагу и старался на скользких местах поддерживать ее под локоть.

— Вы боитесь упасть? — спрашивала она насмешливо.

— Вы странная девушка, Луба. Простите, что я так называю.

Я не Луба, а Люба. Не старайтесь, все равно не можете!

У дверей своего дома она протягивала руку в толстой варежке, и он оставался один в темном, непонятном, чужом городе.

Навстречу шли серые толпы молчаливых людей, похожих друг на друга выражением терпеливой покорности и равнодушия.

Гостиница действовала на него удручающе — искусственные пальмы в подъезде, неуютный номер с тяжелой, темной мебелью, ванная комната с зеркалами во всю стену, но без ванны, водопровод, который или не действовал или выплевывал ржавые потоки. Вода для питья — теплая, для бритья — холодная. Уборщица, коренастая женщина, торопливая и неловкая, роняла книги, натыкалась на мебель и размахивала тряпкой, разгоняя пыль.

Форест долго обдумывал, как начать разговор.

— Вы из деревни? — спросил он наконец.

Она взглянула испуганно, будто ожидая нападения.

— Я хочу знать, как там теперь? Земля принадлежит крестьянам?

Она подхватила щетку и, не отвечая, вышла из комнаты. На другой день она заговорила сама, быстро перескакивая с одного на другое — о хлебе, о ценах, о спекулянтах.

— Там теперь коммуна?

— Кому на, а кому и нет! — ответила она загадочно.

Больше она не приходила. Вместо нее появилась большая, краснолицая женщина, которая на вопросы не отвечала. Ему уже казалось, что он сделал ошибку, он никому здесь не нужен и

лучше найти другую, более дружественную страну, где оценят его желание помочь. Но судьба пришла ему на помощь. У дверей Любиного дома они столкнулись с молодым человеком в военном полушубке.

— Люба? — окликнул он вопросительно.

— Сережа, мой брат, — пробормотала она недовольно. — А это американский капиталист, который не знает, как избавиться от своих миллионов.

— Чернышев, —представился молодой человек, протягивая руку.— Может зайдете к нам?

Форест согласился с радостью. Это был первый частный дом, который он увидел в России. Только хорошее воспитание помогло ему скрыть изумление. Большая комната была перегорожена шкафами, в правой половине стояли диван и стол, в левой были втиснуты две кровати. Он остановился в замешательстве, готовый извиниться и уйти, но хозяева без смущения перенесли одеяло и подушку за перегородку.

— Очень рада познакомиться, — сказала седая дама с добрым, незащищенным лицом. — Вы первый американец, которого я встречаю. Интересно, как вам понравилась Москва? Жаль, что вы попали в такое время. Садитесь сюда, сейчас будем обедать!

— Очень вам благодарен, но я... меня кормят там, в отеле.

— Ну и что ж? Пообедаете еще раз.

Он и сам не знал, как случилось, что он стал бывать у них часто, гораздо чаще, чем могла позволить простая воспитанность.

— Идете? — равнодушно спрашивала Люба, придерживая дверь.

С неловкой улыбкой он поднимался за ней по стертым каменным ступенькам на четвертый этаж.

Его не приглашали обедать в назначенный день, но, накрывая на стол, мать всегда ставила четвертую тарелку. Заметив, как скудно они питались, он долго отказывался.

— Вам не нравится? — спрашивала она с огорчением. — Я понимаю, но так трудно что-нибудь достать.

Он стал покупать консервы в концессионном магазине и приносил их в карманах пальто. Они не отказывались, не рас-

сыпались в благодарностях и долго разглядывали незнакомые этикетки.

Его смущала их откровенная прямота, коробили бесцеремонные вопросы. То и дело между ними вспыхивал спор, ему казалось, они ссорятся, и он старался не слушать.

Люба смеялась над его наивностью, над его русским языком.

— Это вы, русские, наивны. Вы спорите о том, что нельзя доказать. Какой смысл говорить, есть Бог или нет, это предмет веры, надо просто принять.

— Вот именно! Вы прячете голову под крыло, как страусы, только чтоб не беспокоиться, не думать. Вы сами наивны, вы верите всему, что вам говорят.

— Я имею веру, что люди не дурны.

— Имею веру — ха-ха-ха!

— Я б хотела, чтоб твой английский был так же хорош, — останавливала ее мать.

— Вы говорите по-английски? — воскликнул он удивленно. Почему же ...

— Она боится, что вы будете смеяться.

Форест не мог понять, почему они, честные, образованные люди, не видят огромного значения того, что происходит в их стране.

— Не только для вас, для всего мира! Будто распахнули окно...

Они слушали молча — мать грустно, сын внимательно, и только Люба взрывалась и перебивала.

— Вы ничего не понимаете! Вы ничего не видите! Сами себя обманываете!

— Но нельзя отрицать, что советское правительство сделало много хорошего...

— Для кого? Для кого?

— Для всего народа, для рабочих, для крестьян. Люди жили без света, без отопления, без школ, без докторов.

Что-о? Кто вам это сказал?

Один человек, он давал мне уроки русского языка.

Но это ложь! Как вы можете верить всяким жуликам? У

нас в районе было три доктора, и бесплатных! Школа земская и приходские...

— Мой профессор не жулик, он очень интеллигентный господин.

Роберт Форест был спокойный, рассудительный человек, он понимал, что тем, жизнь которых разрушена, трудно быть справедливыми.

— Во всяком случае я встречал здесь прекрасных людей, они стараются сделать все что могут. Это нелегко перестроить огромную страну.

— Где вы их видели, этих прекрасных людей? На заседаниях Наркомпроса? А вы были в деревне? Вы знаете, кто там управляет? Председатель райкома убийца, выпущенный из тюрьмы. Заведующий народным образованием целой области безграмотный идиот. Нарочно, нарочно таких сажают!

— Я не имею основания не верить. Когда вижу обман, тогда больше не верю.

Мать пыталась переменить разговор.

— Расскажите лучше про Америку! О людях, чем они живут, не материально, вы понимаете, духовно — что они читают, о чем думают, какие у них интересы? Одна из моих любимых книг "Хижина дяди Тома".

Форест морщился.

Рабства давно нет. И книгу эту никто давно не читает.

— Может в другой форме?

— А я был уверен, что у вас рабство существовало до революции. Так по крайней мере я читал.

— Это прямо возмутительно, вся эта ложь! Пишут то, чего не знают, а может нарочно! И люди верят!

— Люба, не кричи! Могут услышать. Это опасно, Роберт Федорович, у нас в квартире всякий сброд, в одной комнате настоящий сексот.

— Я думаю самое важное, что сделала советская власть, это уничтожение социального неравенства.

— Но у нас никакого неравенства не было, — удивилась мать.

— То есть как? Дворянство владело землей, школы были для привилегированных классов ...

— Были и такие, но очень немного, —спокойно согласился Любин брат. —А разве у вас нет? И школы, и университеты, куда не всех принимают. Землю мог купить, кто угодно, помещики постепенно теряли свои имения.

— Но сын аристократа уже при рождении автоматически получал привилегии. У нас каждый мальчишка знает, что может стать президентом. Большая часть наших миллионеров начинали с низов. Наш американский идеал дать каждому человеку возможность развить свои способности, добиться наилучших результатов.

— Создавая новое неравенство? Вместо социального — экономическое. Способности не равны. Разве что людей будут делать на фабриках, отмеривая одинаковое количество ума, энергии, воли...

— Человек получает то, что он заслуживает своей работой, а не своим социальным положением.

— Но в далеком прошлом социальные классы образовались на основе личных качеств — храбрости, силы. Принадлежность к высшему классу дает не только преимущества, но накладывает и известные обязанности, понятия о чести, о долге.

— Может когда-то, теперь это выродилось.

— Не совсем и не везде. А вместо социального неравенства появилось неравенство экономическое.

— С этим можно бороться. У нас многие понимают, что высокая оплата труда увеличивает досуг, делает человека лучше. Правильное распределение богатства — верный путь. Недавно умер один человек, который оставил все состояние (за исключением скромного содержания жене и дочери) на общественные организации.

— В таком случае, чего вы ищете в нашей стране?
У нас это единицы, в массе люди не хотят перераспределения. У вас экономическое и социальное равенство введено правительством, оно обязательно, поэтому мы и смотрим на вас с надеждой.

— Прекрасные идеи существовали и раньше, но приводили к неожиданным результатам.

Да, но Бог создал людей равными и свободными.

— Поскольку на земле были только Адам и Ева. Чем

больше люди плодились, тем сложней делались проблемы. Города с многомиллионным населением требуют новых законов общежития.

Форест возвращался домой, не замечая куда идет. Вокруг редких фонарей кружились снежинки, все было бело, город казался необитаемым, только скрип его шагов нарушал тишину. Ему хотелось смеяться, хотелось петь. Он нашел настоящих людей, они не прятались, не притворялись, они говорили правду, то, что думали. Пусть иногда они были немного резки, слишком откровенны, их теплота, их искренность всё покрывали.

Какая разница! Там, дома, было совсем по-другому. Он любил родителей, и они его любили, но как-то издали, будто через перегородку. А эти, как семья; мать — будто он ее сын; Сережа, как брат, а Люба... Странно, первый раз она совсем не понравилась. Должно быть валенки и шуба. Странная шуба со сборками. А теперь он даже не замечает. Только глаза и голос. Странный голос. Когда-то в Центральном парке человек на лугу играл. Как это называется? Свирель?

Все внешнее не важно. Пусть другие усмехаются и критикуют. Скоро все поймут, что надо смотреть глубже. Недоразумения кончатся, две великих страны пойдут вместе и поведут за собой весь мир. И он, Роберт Форест, будет первым, кто понял, что внешнее не важно, что надо смотреть в глубину.

Ужасно, что им так трудно живется. Они не жалуются, будто не замечают. Но что сделать? Денег они не возьмут... Хорошо бы перетащить их в Америку. Сережа с его образованием устроится в любом университете.

Форест не мог дождаться следующего дня, чтоб предложить свой план, но, к его огорчению, предложение радости не вызвало. Мать грустно покачала головой.

— Несколько лет назад, — сказал Сережа, — еще было можно. Теперь никого не выпускают.

Ольга Маслей

ПРОБУЖДЕНИЕ

Сквозь щели ставень ранний свет пробился,
Все остальное плавало во мгле.
Так я из тьмы впервые пробудился
В заветной точке мира — на земле.
В заветный час — младенческое ложе
Луч солнечный, сквозь щель, позолотил,
Родным теплом моей касаясь кожи,
Он плоть мою с душой соединил.
С тех пор я начинаю смутно помнить —
Свою тогда молоденькую мать,
Тенистый сад и очертанья дома,
И летних дней степную благодать.

*

Уже рожденья где-то ждет трава,
Чтоб вырасти на будущих могилах.
В безмолвии уже живут слова
Исполненные чудотворной силой.
Не знаю, как подняться мне с колен,
Всем ростом стать своим перед веками.
Россией будет ли благословен —
Путь пройденный в глухие годы нами?

А. Величковский

ГНОСТИЧЕСКИЙ РОМАН М. БУЛГАКОВА

В 1965 г. в 11-й книге альманаха "Мосты" появилась статья К. Паустовского "Булгаков и театр", написанная еще в сталинское время, но недопущенная к печати. Подводя итог литературным достижениям писателя, Паустовский писал: "Помимо пьес, Булгаков оставил несколько законченных прозаических вещей. Самая значительная из них, где талант Булгакова проявился во всей силе, — это роман "Мастер и Маргарита". Сообщение Паустовского осталось незамеченным.

Но вот в 1967 г. журнал "Москва" опубликовал этот роман, тщательно и с большим пониманием дела процензурированный чтецами из Главлита. Но даже при чтении процензурированной версии было ясно, что русская литература обогатилась произведением, которое войдет в русскую классику.

Следует сразу же отметить, что "Мастер и Маргарита" необычный по сложности своей образно-художественной структуры роман. Это обуславливает разноречивые оценки содержания романа в работах исследователей. Уже не раз говорилось, что "Мастер и Маргарита" построен по принципу романа в романе. Это верно. Также верно, что "Мастера и Маргариту" можно отнести к весьма обширному и жанрово разнородному типу "менипповой сатиры", т. е. к философскому направлению в художественной литературе. Тем не менее, все эти особенности составляют не причину, а следствие изначальной сложности идейно-художественного замысла романа.

"Мастер и Маргарита" в своей глубинной основе роман "тайного знания" — гностический роман. В романе Булгакова судьба художника, мастера слова, в условиях тоталитарно-материалистического государства интегрировалась в космическую и метафизическую перспективу борьбы принципов добра и зла. Это и определяет философскую основу романа, религиозную по своему существу.

Трудность задачи, стоявшей перед писателем, неизбежно обуславливала сложную систему средств художественного выражения, в которой прием иронии преобладает. Тяготение к ироническому высказыванию вообще характерно для Булгакова, продолжавшего в пореволюционной литературе гоголевскую традицию. Приемы иронии оказывались исключительно эффективным средством тайнописи, т. е. зашифрованной передачи социально-критического и религиозно-философского аспекта в романе.

Сущность иронии состоит в противоположности подразумеваемого внутреннего содержания внешнему смыслу словесного высказывания. В этой природе иронии проявляется и ее существенная двойственность, которая ставит ее в особое положение в системе как познавательных, так и изобразительных средств искусства. Мы знаем, что в повседневном обиходе сознательное противоречие между действительностью и высказыванием есть ложь. Противоречие между действительностью и высказыванием в ироническом утверждении есть словесная маскировка — игра, зашифрованно указывающая на подлинное положение вещей. Цель лжи — обман. Цель иронии — истина.

Это значит, что прием иронии дает возможность соединения познавательного аспекта с аспектом художественным. Ирония раскрывает амбивалентность, двойственность действительности в форме эстетически действенного высказывания автора. Дело, однако, в том, что единство заключающихся в словесном утверждении и исключающих друг друга значений содержит в себе возможность перехода иронии в парадокс, т. е. восприятие онтологической противоречивости бытия вообще и человеческой жизни в частности. Человек начинает ощущать изначальную антиномичность бытия, а из этого возникает потребность

экзистенциального преодоления этой антиномичности. Ироническая сатира московских глав переплетается с философским парадоксом иершалаимских глав и парадоксальностью личной человеческой судьбы Мастера и Маргариты. Так через приемы иронии и парадокса искусство оказывается в состоянии ставить и разрешать в системе идейно-эстетических структур глубочайшие проблемы человеческого бытия: добра и зла, жизни и смерти, личности и общества.

В романе Булгакова эти проблемы отливаются в темы Бога, человека и сатаны, которые и определяют взаимоотношение смысловых и художественных структур "Мастера и Маргариты" как гностического романа. Собственно, тема сатаны и его отношения к главным персонажам романа и оказалась в центре внимания исследователей и толкователей романа.

Идентификация и мифологически-литературная генеалогия демонов в "Мастере и Маргарите" не представляет затруднений. Загадка зла в романе состоит не только в том, что оно метафизически реально, а и в том, что оно парадоксально. Парадоксальность зла в идейно-художественном космосе романа дана уже в самом эпиграфе из "Фауста" Гете: "Я часть той силы, что вечно хочет зла, и вечно творит благо".

Здесь уместно высказать одно важное соображение: Булгаков не создал главные темы своего романа из ничего. Юношеские годы Булгакова протекали в период напряженных исканий русского религиозно-философского ренессанса и символизма в русской мысли и литературе первого предреволюционного полуторадесятилетия, которым предшествовало явление таких гигантов, как Достоевский и Толстой. Дискуссии и полемика тех лет не могли пройти мимо семьи Булгаковых, глава которой был священником и профессором богословия. Показательно, что одной из книг Булгакова, использованной писателем в его работе над "Мастером и Маргаритой", была вышедшая в 1922 г. работа священника, философа, математика Павла Флоренского "Мнимости в геометрии".

В этой книге Флоренский доказывал, что категориям многомерных пространств, которые нашему рассудку представляются мнимыми, на самом деле соответствуют реально сущие планы

иномерного духовного бытия. Флоренский полагал, что между трехмерным земным и многомерными планами бытия не положены непроходимые пределы. Он умозаключал, что при достижении скоростей больше скорости света материальное тело должно, утеряв свои посюсторонние особенности, войти в качественно новые условия существования. Мы не располагаем такими скоростями. "Но у нас нет доказательств, — говорит Флоренский, — невозможности каких-либо иных средств". Такой возможностью оказывается творческая интуиция художника. Художник в образах может "разрывать время" и изображать действительность, недоступную средствам и методам современной науки. Так "Божественная комедия" неожиданно оказывается не позади, а впереди науки".

Можно представить себе, какое впечатление произвели на Булгакова эти умозаключения Флоренского. Они подтверждали убеждение Булгакова в объективной реальности того, что рассудок называет "сверхъестественным" и чему он отказывает в праве на существование на том основании, что "этого не может быть". Больше того, взгляды Флоренского на искусство совпали с убеждением самого Булгакова о способности подлинного мастера-художника в акте одухотворенного свободного творчества "угадать" и историческую и трансцендентную реальность такой, какая она есть в ее сверхрациональном единстве и в то же время в ее эмпирической множественности, т. е. художественно постигнуть онтологическую парадоксальность бытия.

Уже в силу одного этого Булгаков не мог остановиться лишь на одной книге Флоренского, а должен был познакомиться с главными трудами философа. Есть все основания полагать, что Булгаков был знаком с ними и использовал их в работе над "Мастером и Маргаритой". Так взгляд Мастера (и Булгакова) на интуитивно-познавательную силу подлинного искусства философски обоснован Флоренским в его работе "Смысл идеализма". Его фундаментальный труд "Столп и утверждение истины" содержит философский анализ тем, которые тревожили Булгакова в романе: антиномичности бытия, света и тьмы, добра и зла, покоя, места человека в противоборстве этих сил. И что особенно показательно: "Столп и утверждение истины" тоже

содержит классификацию символики красок и цветов, через которую расшифровываются смысловые структуры "Мастера и Маргариты", проясняются сложные взаимоотношения между главными участниками булгаковской мистерии.

Космос романа расчленен иерархически на три повествовательных плана: иершалаимские главы, историю любви Мастера и Маргариты и московские главы. Этому соответствует стилистическое расчленение на три ясно различимых манеры повествования: объективно бесстрастный описательный стиль, создающий впечатление приподнятости и как бы подчеркивающий объективно-сверхвременную значимость иершалаимских событий и личной драмы Пилата; затем сдержанный с легким и умеренным налетом лиризма тон, повествующий о судьбе художника в современной писателю России и о большой и глубокой любви между мужчиной и женщиной; наконец, повседневно-разговорный, насмешливо иронический, пересыпанный просторечием, выдержанный в сказово-гоголевской традиции язык московских глав, язык сатиры, насмешки над пустотой и пошлостью жизни больших и малых существователей в Москве 30-х гг.

Создается впечатление, что Булгаков возродил в русской литературе XX века ломоносовскую теорию "трех штилей", которая под его пером зазвучала не архаически, а живо и современно. Но Булгаков не останавливается на этом: он вводит в свой роман еще более древний прием античной поэзии — повторов, когда последняя строка предыдущей строфы становилась первой строкой следующей строфы и связывает этим приемом иершалаимские и московские главы. Только в обоих случаях речь идет не о формальном экспериментировании, а о художественном раскрытии сверхвременных, "вечных" значений романа. Булгаков как бы "разрывает время". Прошлое живет и действует в настоящем, соопределяет его и внешне, формально, и внутренно, по содержанию. Иершалаимские главы входят как осмысливающий и направляющий фактор и в главы о Мастере и Маргарите и в сатирические московские главы. Иерархичность и расчлененность композиционного замысла не устраняется, но она оказывается не застывшей и статичной, а текущей и динамичной как сама жизнь. Иерархичность художественных

структур, "многомирность", сочетается с их смысловой и сюжетной взаимопроницаемостью. Художественный космос Булгакова раскрывается в своей парадоксальности. Говоря в понятиях философии Флоренского, он — антиномичен. Прошлое сливается с настоящим. Временно последовательное течение бытия народов, государств и индивидуумов как бы интегрируется в вечном "Теперь". Антиномия распространяется и на внеземной мир. В человеческий космос романа (или хаос!) входят и принимают участие в его жизни сверхчеловеческие силы добра и зла, света и тьмы. Во временной драме земных судеб участников романа, проглядывают сверхвременные динамика и укорененность бытия.

*

В каком же отношении находятся друг к другу действующие лица иершалаимской мистерии? В перечне выразительных средств, которыми Булгаков пользуется для передачи сущности явлений и событий, недоступных логически-рассудочному сознанию, отметим (1) символику чисел, (2) символику цвета и цветов, (3) символику запаха, (4) символику мифологических образов, (5) символику географических мест и (6) физиологические реакции, сигнализирующие о присутствии сверхъестественных сил.

В данном разборе иершалаимских глав речь будет идти только о трех числах: 3, 5, 27. Следует также иметь в виду, что в мистике чисел число обладает не количественной, а качественной функцией: оно указывает на сверхрациональную сущность явления. В этом смысле, говоря на языке психологии, число — архетипно. А на языке философского гнозиса — антиномично, т. е. в плане художественных образов — парадоксально: значение одного и того же числа может двоиться и оказываться приложимым для обозначения враждебных и взаимоисключающих принципов. Сказанное относится и к символике цвета и цветов.

Что касается образов, с помощью которых Булгаков открывает невидимое присутствие духов тьмы, есть несколько средств его распознания в романе. Присутствие метафизического зла вызывает: (1) острую колющую боль в виске, (2)

острую или сосущую боль в сердце и чувство безотчетного страха, (3) чувство неудержимой злобы.

Отсюда ясно, что происходит, когда утром 14-го нисана прокуратор Иудеи Понтий Пилат вышел в преторию, чтобы разобрать дело арестованного иершалаимскими властями бродячего проповедника Иешуа Га-Ноцри. С самого начала все предвещает недоброе, и причина этому — ненавидимый Пилатом запах розового масла. Этот запах необычного происхождения: он истекает от всех без исключения предметов, окружающих прокуратора. Позже Булгаков раскроет тайну этого запаха. Розовое масло — принадлежность адского мира, и его запах вызовет головокружение Маргариты, королевы бала сатаны. Пока же читатель только знает, что этот запах причиняет Пилату невыразимо мучительную головную боль.

Итак, сатана невидимо присутствует при разборе дела, пытаясь скрыто влиять на мотивацию и поведение прокуратора. Мучимому страшной головной болью Пилату "вдруг в какой-то тошной муке" приходит мысль, что не проще ли сразу дать приказ повесить этого бродягу, а самому принять яд и положить навсегда конец страданиям. Но ведь это и есть тайный замысел Воланда: казнив Иешуа, Пилат устраняет ненавистного сатане проповедника истины. Кончая самоубийством, Пилат навеки губит свою душу и отдает ее во власть сатаны. Поистине дьявольский расчет. Этим, однако, не ограничивается деятельность Воланда. Он поражает Левия Матвея "какой-то неожиданной и ужасной хворью" и тем самым препятствует ему поспешить в Иершалаим для защиты Иешуа перед судом. Он же изгоняет из сознания Пилата благую мысль об освобождении Иешуа, явив прокуратору на месте головы арестанта наводящую на него страх голову императора Тиберия.

Казнь Иешуа на кресте и есть конечное осуществление целей сатаны. Булгаков намеренно заменяет евангельскую Голгофу названием Лысая Гора. Лысая Гора — место под Киевом, где ведьмы и нечистая сила собирались на бесовский шабаш для поклонения сатане и утверждения его торжества в мире.

После казни Пилату мерещится темная тень, сидящая в кресле: дух тьмы наблюдает пробуждение совести в Пилате и в то же время искушает его на новое кровопролитие — убийство

предателя Иуды. Итак объективный анализ текста показывает, что Воланд никогда не был ни сообщником Иешуа, ни нейтральным наблюдателем. Все свои усилия он приложил к тому, чтобы Иешуа был убит.

Но кто же такой Иешуа в романе? Человек он или Бог? Или Бог и человек вместе? С самого начала образ Иешуа антиномически двоится в парадоксе. Сам Иешуа нигде не говорит о своем сверхчеловеческом происхождении. Он вообще не знает своих родителей (но именно здесь начинает мерцать гностическая тайна!). Понаслышке он предполагает, что его отец был сириец, т.е. что он даже не чистокровный иудей. Он — бродяга без роду и племени.

Не будем, однако, торопиться с выводами. Для бродяги, пешком пробирающегося вместе с Левием Матвеем в Иершалаим, он очень необычен. Он говорит на трех языках. Классически образованный Пилат признает его мысли достойными философа, несмотря на их парадоксальность. Безумного (с точки зрения здравого смысла), но все-таки философа.

Кроме того, Иешуа Га-Ноцри обладает сверхчеловеческими способностями. Он может читать мысли и исцелять (вне естественного объяснения остается разгадка мыслей Пилата о самоубийстве). Исцеленный от головной боли Пилат в ужасе восклицает: "Сознайся, ты великий врач?" Но Иешуа отрицает и это, и сам "с наслаждением потирает измятую и опухшую багровую кисть руки". Себя этот странный человек в голубом хитоне (голубой цвет — цвет божественной премудрости. Голубой гиманион — традиционная часть одежды Иисуса Христа на иконах) исцелить и спасти не может и, несмотря на свои сверхчеловеческие способности, просит Пилата отпустить его. Ирония и парадокс пронизывают всю главу о суде над Иешуа.

Впрочем, сам Булгаков приподнимает завесу над тайной Иешуа. В нарушение общепринятой традиции он указывает возраст Иешуа не 33 года, а 27 лет. Зачем же Булгакову понадобилось это отклонение от освященного авторитетом евангелиста Луки возраста Иисуса? Дело в том, что и в древней Иудее и в Риме 27 считалось священным числом. Как утроенная "девятка" оно связывается с христианским символом троичного божества.

Сама же "девятка" в древнееврейской числовой мистике есть священное число Истины. Наконец, в древнем Риме число 27 обладает нуминозной силой и связано с идеей человеческого жертвоприношения. Итак на эзотерическом языке священных чисел Иешуа Га-Ноцри, проповедующий вредные и странные для здравого смысла мысли, и есть провозвестник божественной троичной Истины, которая утверждает себя в мире через принесение его самого в жертву на кресте!

Еще два раза в иершалаимских главах Булгаков выражает идею троичности Бога и причастия к нему Иешуа. В ходе разбирательства дела Пилат, уже приготовивший в уме юридическую формулировку освобождения Иешуа, вдруг замечает влетевшую в колоннаду ласточку и загоревшийся возле Иешуа столб пыли. Расшифровка образов не представляет затруднений. Огненный столб — библейский образ ветхозаветного Яхве, Бога-Отца, — Иешуа Га-Ноцри — образ Иисуса из Назарета — Бога-Сына. Ласточка — вестник весны, т. е. воскресения природы к новой жизни (в романе также образ благой мысли) — замещает собой образ голубя и оказывается тем самым символом Святого Духа.

И, наконец, после казни Иешуа, когда Пилат остается наедине со своей совестью, он видит перед собой две сорванные бурей белые розы, утонувшие в красной луже из разбитого им в гневе кувшина. Здесь мы имеем не только символику триединого Бога, данную в сочетании красного и белого цветов, но и евхаристическую символику вина и крови в сочетании с идеей невинного страдания в образе двух белых роз. Символика божественной троичности восполняется символикой богочеловечности. Так расшифровывается тайна Иешуа: Он — Бог и Человек.

Оставаясь на поверхностном слое повествования, это трудно заметить, и сам Иешуа ведет себя так, как будто он ничего не знает о своей божественности. Но ведь так и должно быть: Иешуа Га-Ноцри романа — не Иисус из Назарета евангелий. Литературный Иешуа, как это точно и тонко отметил И. Виноградов, чтоб быть реалистически убедительным персонажем в романе, не должен знать о своем божественном происхождении. Но не это только. В гностической "Песне о жемчужине" из апо-

крифических "Деяний апостола Фомы" пришедший на землю Спаситель забывает, что он сын небесных родителей. Есть все основания полагать, как мы увидим ниже, что Булгаков был знаком с этим апокрифом и использовал некоторые его мотивы и образы в своем романе.

Именно в высшей человечности Иешуа проявляется его божественность. Левий не понимает своим человеческим рассудком, почему Бог не хочет сократить страданий Иешуа, "не сделавшего никому в жизни ни малейшего зла". Ветхозаветный Бог представляется Левию Матвею, как и гностику II века Маркиону, злым богом, и он проклинает его. Левий Матвей не понимает, что на кресте на Лысой Горе посреди очевидного торжества сатанинского зла происходит последнее испытание Иешуа перед его окончательной победой над злом. В страданиях под лучами неумолимого солнца Иешуа не забывает мучений висящего рядом с ним и ненавидящего его Дисмаса. Не думая о себе, Иешуа просит палача дать Дисмасу воды. Так умирает на кресте Иешуа —человек неиссякаемого милосердия и веры в доброту человеческой природы.

Главный чисто человеческий конфликт в иершалаимских главах происходит в душе Пилата. Конфликт вызван необходимостью личного и ответственного выбора не между формально юридической виной и правотой, а между нравственно объективным добром и злом. Уже само обстоятельство, что этот выбор происходит в момент центрального для человеческой истории столкновения между Иешуа, сыном Бога, и сатаной придает личному конфликту Пилата универсальное, всечеловеческое значение. Символическое углубление конфликта выражается также тем, что Понтий Пилат — пятый прокуратор Иудеи.

Известно, что главным источником фактической информации в подготовительной фазе работы Булгакова над своими произведениями ему служил "Энциклопедический словарь" Брокгауза и Эфрона. Тем не менее между словарем и текстом "Мастера и Маргариты" имеется разночтение. В словаре Пилат назван шестым прокуратором Иудеи. В романе — пятым. На первый взгляд в этом разночтении нет ничего заслуживающего внимания. Вызвано оно не столь существенным разногласием историков, с кого начинать отсчет римских правителей Иудеи —

с Сабиния (4 г.н.э.) или с Копония (6 г.н.э.). В первом случае Пилат будет шестым прокуратором. Во втором —пятым.

Почему же Булгаков предпочел число "пять"? Очевидно, что соображения исторической точности вряд ли могли иметь для него решающее значение: обе даты более или менее равноценны. Одним из соображений мог быть эстетический эффект фразы — *П*ятый *П*рокуратор Иу*д*еи Вса*д*ник *П*онтий *П*илат — с ее великолепной аллитерацией, мужественным ритмом и ясностью классической симметрии, как бы пластически воплощающих в звуках тяжелый и мерный шаг легионов, власть Рима. Но одновременно формально-эстетические достоинства фразы заключали в себе возможность наиболее эффективного воплощения скрытого смысла, заключавшегося в числе "пять".

Число "пять" символизирует человека в его особом положении в бытии как микрокосма. Священное бракосочетание (hieros gamos) выражается в процессе индивидуации личности через "пятерку", представляющую единство небесного начала ("три") с земным началом Magna Mater ("два"). В этом значение "пять" архетипно, и, как все числовые символы подобного типа, оно антиномично и заключает в себе возможности художественного выражения парадокса. Оно поляризуется в двух аспектах: человеческой одухотворенности и человеческой грубой силы. Так в плане реализации высшего смысла человеческого бытия в иершалаимских главах противостоят друг другу две "пятерки": рас-ПЯТЫЙ Иешуа Га-Ноцри, провозвестник Небесного Иершалаима, и ПЯТЫЙ прокуратор Понтий Пилат, представитель "Вечного Рима" (Roma aeterna), высшего воплощения универсального земного государства в античном мире.

Необходимо подчеркнуть, хотя об этом уже много и верно писали, что трусость прокуратора, его самый большой порок и грех, не обычный естественный страх человека перед физической смертью. Пилат —лично мужественный человек, умевший в минуты военной необходимости ставить на карту свою жизнь. Проблема Пилата глубже. Хотя Пилат, как всякий человек, видит вначале только внешнюю сторону своего ужасного поступка (нежелание погубить карьеру, освободив государственного преступника), он в глубине своей души знает, что причины его трусливого решения казнить Иешуа гораздо сложнее. Ведь готов

же он после казни, повинуясь голосу неумолимой совести, погубить именно эту карьеру, лишь бы сделать бывшее небывшим.

В основе трусости Пилата таилась такая знакомая людям XX века, пережившим опыт великих диктаторов первой половины этого века, готовность преклониться перед идолом обожествленного государства. Может показаться спорным, но именно эта психологическая черта сближает Пилата с его врагом Каифой. Каифа не религиозный фанатик, как об этом иногда пишут. Он, так же как и Пилат, зачарован сверхчеловеческой идеей государства. Тол[illegible]для Каифы это идея теократического государства. В основе мышления и Пилата и Каифы действует сходный психологический процесс идеализации посюстороннего и конечного. В идее и практике римской империи обожествлялся верховный носитель государственной власти — Divus Caesar, Pater Romanorum — божественный кесарь, отец римлян. В теократической государственности Каифы священным провозглашается народ в его этнической посюсторонности.

Голова Тиберия в видении Пилата "носовым голосом" надменно тянула слова: "Закон об оскорблении величества". В романе только два персонажа обладают гнусавым голосом: палач-кентурион Крысобой и Азазелло, демон-убийца. Так расшифровывается духовное значение этой сцены: за фасадом абсолютного государства с его властной претензией на всего человека, его жизнь и совесть, стоит дьявол.

Пилат не освобождается от злого наваждения государства даже тогда, когда, раскаявшись, он в какой-то мере становится "одним из тайных друзей" Иешуа. Пилат прав, упрекая Левия Матвея, что в своей нетерпимости к Пилату он — несовершенный ученик Иешуа. Пилат, однако, не сознает, что используя власть государства, чтобы отомстить предателю Иуде, он сам не исправляет совершенного преступления, но, наоборот, увеличивает количество зла, царящего в мире. Иуда — двойной предатель: из-за страсти к деньгам он предает Иешуа; из-за страсти к женщине он предает традиционную веру. Тем не менее, искупление собственного преступления достигается не через наказание соучастника в преступлении, каким является Иуда, а через очистительные страдания совести, если даже процесс искупления продолжится в бессмертии, которое так пугает Пилата. Как

показала М. Чудакова, тема искупления — одна из центральных тем в творчестве Булгакова.

В каждом человеке глубоко коренится убеждение в допустимости и даже необходимости мести, воздаяния злом за зло. Это черта, которая в известной мере сближает Пилата с Левием Матвеем. Левий Матвей — верный ученик Иешуа. Его появлению перед Пилатом во дворце Ирода предшествует внесение трех светильников, указывающих на близость Матвея сфере бытия троичного Бога. Но обоих связывает признак "волчьести", когда они думают об убийстве Иуды. Они — "люди как люди". Сфера активного зла проникает в их сердца. Чтобы выйти из нее, они оба нуждаются в помощи Иешуа, который принадлежит и человеческой и божественной сферам бытия и который на кресте до конца преодолел ненависть и искушение воздаяния злом за зло. Тема милосердия оказывается второй главной темой романа.

Условием искупления и ответного милосердия Бога в космосе Булгакова является сознательное покаяние преступника. Точка зрения Булгакова раскрывается наиболее ясно тогда, когда, используя исторические или литературные источники, Булгаков сознательно отклоняется от них. В романе не Дисмас, сораспятый с Иешуа разбойник апокрифического евангелия от Никодима, а сам Пилат оказывается кающимся разбойником. Это Пилат просит снящегося ему Иешуа "не забыть и помянуть" его, и Иешуа исполняет мольбу Пилата в конце романа, уводя его по лунной дороге в Небесный Иершалаим.

Разумеется, проблема зла не исчерпывается личными судьбами индивидуальных персонажей. Проблема мирового зла есть проблема мировой истории, и мы снова возвращаемся к теме обожествленного государства. Пробираясь по улицам Иершалаима, и Иуда и Афраний, начальник тайной службы прокуратора и убийца Иуды, видят над храмом "два гигантских пятисвечия", "невиданные в мире" и "спорящие со светом луны". Они действительно "невиданные", потому что исторически они никогда не возжигались над иерусалимским храмом. Библия сообщает о десяти светильниках, которые, по пяти с каждой стороны, стояли внутри соломонова храма перед входом в святилище. Они были увезены в числе военной добычи после разру-

шения Иерусалима Навуходоносором. В восстановленном позже храме пятисвечий не было, а было семисвечие над алтарем, которое было вывезено вместе с сокровищами храма после разрушения Иерусалима Титом в 70-м г. н.э.

Опять мы имеем дело с характерным приемом Булгакова, видоизменявшего исторические или литературные факты для остраненной зашифровки тайного значения образа. Что же означают эти два не существовавших, но нужных писателю пятисвечия? Мне представляется здесь очень вероятная параллель между горящими над храмом пятисвечиями и горящими над башнями Кремля пятиконечными рубиновыми звездами, которые ведь тоже "спорят с небом". Вместе с тем образ выходит за пределы конкретных исторических параллелей и углубляется апокалиптическими мотивами. 10 разветвлений громадных пятисвечий ассоциируются с 10-ю рогами зверя Апокалипсиса, который вступает в битву с Богом и Агнцем. Апокалиптическое измерение входит в роман и связывает иершалаимские и московские главы "Мастера и Маргариты", раздвигая действие романа до пределов космической мистерии.

*

Одной из особенностей московских глав "Мастера и Маргариты" является то, что в них как бы переставлены знаки. Если в иершалаимских главах силы добра в лице Иешуа были на первом плане, а силы метафизического зла были невидимы и нуждались в расшифровке, то в московских главах, наоборот, воплощается метафизическое зло, а в расшифровке нуждается невидимое метафизическое добро. Это понятно, потому что советская Москва, которую посещает со своей демонической триадой Воланд в годовщину распятия Иешуа, представляет собой общество, из сознания которого усилиями богоборческого государства вытравлена не только вера в Бога, но и само представление о возможности сверхъестественного. Поэтому Воланд может спокойно-издевательски убеждать Берлиоза в существовании Иисуса, зная, что ему все равно не поверят. Воланду уже как будто не нужно опасаться Иешуа. Это ли не победа сил зла? Символика чисел делает атмосферу Апокалипсиса в московских главах явно ощутимой.

Прежде всего дом № 302-бис. Это шестиэтажный дом, расположенный "покоем". Число "шесть" имеет в мистике чисел положительное значение. В данном случае оно означает шесть дней творения, после которых в седьмой день Бог почил "от дел своих". В этой связи расшифровка числа 302 не составляет труда. "Три" и "два" представляют соответственно мужское и женское начало человеческой природы и дают в сумме уже известное нам число "пять". Но в том-то и беда, что искомого единства нет, т.к. в человеческую природу вторглось небытие, "нуль", т.е. зло, и внесло в нее раскол и раздор. Это вошедшее в человечество зло и есть "бис", т.е. по-украински бес или черт. Даже в случае, где "пятерка" входит в состав числа, как, например, кв. № 50, то и здесь человеческие личные и семейные отношения жильцов поражены "небытием": "пять" и "нуль". Они отравлены пороками жадности и разврата. Фамилия бывшей хозяйки квартиры, вдовы ювелира де Фужере, означает по французски папоротник, т.е. растение дьявола. В свете этих символов понятно, почему Воланд со своими спутниками мог вселиться в дом № 302-бис и занять квартиру № 50. Именно потому, что в "расположенном покоем" доме нет "покоя": он не является тем, за что он себя выдает — жилищным товариществом, содружеством личностей. На самом деле это случайное сборище индивидуумов: их отношения характеризуются адом коммунальных кухонь, ненавистью, доносительством, воровством, взяточничеством, устройством своего благополучия за счет несчастья других.

Поэтому "шестерка" двоится в своем значении: в той мере, в которой она не вошла в "покой", т.е. в "семерку", символ совершенства творения, "шесть" оказывается знаком антихриста. Трижды повторенный в романе 6-й подъезд, ведущий посетителей в кв. № 50, и дает 666, т.е. число апокалиптического зверя и антихриста. Дом № 302-бис расшифровывается как образ "диалектически материалистической" Москвы 20-х и 30-х гг., подобно тому как мрачный дом Рогожина был собирательным образом денежного "вульгарно-материалистического" Петербурга в "Идиоте" Достоевского. Оба образа апокалиптичны. Жадность, разврат, пошлость и холодное безразличие к человеку определяют жизнь подавляющего большинства населяющих московские главы персонажей. Чертыхание, т.е. заклинание и призыв

сатаны, составляет один из существенных речевых оборотов в этой части романа.

Нравственная дифференциация между людьми проходит не через различие их общественного положения, где социальные привилегии ассоциируются с пороком, а социальная приниженность и бедность с добродетелями, но через сердца людей. Иван Бездомный в своем преследовании консультанта-иностранца, только что погубившего Берлиоза, убежден, что "профессор *непременно* должен оказаться в доме № 13 и *обязательно* в кв. № 47". Иван не ошибся. Воланд действительно там, но он присутствует невидимо: число "тринадцать" — "Чертова дюжина", — а "четыре" и "семь" в сумме составляют "одиннадцать" — число греха, невоздержанности, нравственной испорченности. В "адском освещении" моется в покрытой "страшными черными пятнами" ванне женщина — не стесняющаяся пятилетней девочки нарушительница супружеской верности и религиозных брачных обетов. Ее муж — рабочий, и живут они в переулке московской бедноты.

Право на пользование закрытым рестораном составляет критерий "обыкновенного желания жить по человечески" у Мавросия, члена МАССОЛИТ'а (Московская Ассоциация Советских Литераторов). Жизнь массолитовских "братьев во литературе" наполнена дрязгами, интригами, борьбой за внутрикастовые привилегии — "творческие путевки" на курорты, квартиры и дачи. Над всем доминирует ложь и "идеологическая выдержанность", главные условия приобретения и сохранения социальных привилегий в социалистической Москве. Неудивительно, что самые гротескно-демонические человеческие персонажи в романе принадлежат миру "инженеров человеческих душ". Плотоядно-сенсуальный вечер в Грибоедове с кощунственным джазовым "Аллилуйя" и явлением в полночь демонического Арчибальда Арчибальдовича — земной эквивалент великого бала у сатаны в заключительной части романа.

Простые советские люди в "Варьете" охвачены массовым психозом поклонения деньгам (мужчины) и одержимостью нарядами (женщины). Бездарный администратор и председатель Акустической комиссии Семплеяров ничем не отличается от подобного же дореволюционного "его превосходительства". Кра-

савица Наташа, девушка из народа и домработница Маргариты, — пошла, жадна и бесчувственна. Но Николай Иванович, высокопоставленный бюрократ, с которым она, став ведьмой, "расшалилась в спальне", — свиноподобный и трусливый сенсуалист, пародия на Федора Павловича Карамазова.

Старомодного профессора-медика Кузьмина и светило советской психиатрии Стравинского объединяет материалистический взгляд на природу человека. В комнате дочери Кузьмина патефон играет тот же кощунственный фокстрот "Аллилуйя", а равнодушный к истине Стравинский напоминает Ивану Пилата.

Так в романе Булгакова социально-политическая сатира средствами гоголевского гротеска и фантастики превращается в убийственную идеологическую сатиру. Новое советское государство не в состоянии осуществить свою главную цель — создание нового человека более высокого типа. "Люди как люди... любят деньги, но ведь это всегда было", — констатирует Воланд.

Общая атмосфера сатирических московских глав мрачна. Если за гоголевским смехом скрывались незримые слезы первого русского писателя-апокалиптика XIX в., то за комизмом булгаковских московских глав скрывается ужас человека, переживающего реальность апокалипсиса XX в. И все же ужас Булгакова не безысходен. Ведь сказал же Иешуа Пилату, что "плохих людей не бывает". Действительно, как только в сердцах персонажей романа активизируются силы личного добра, как бы слабы они не были, и люди, вместо чертыхания бесовщины, призывают имя Бога, силы высшего добра неизменно приходят на помощь, и сатанинское зло принуждено отступать. Невидимая сила Иешуа становится зримой реальностью.

В доме № 302-бис, рядом с гнездом сатаны в кв. № 50, живет незатронутая пороком жадности женщина с зеленой сумкой (здесь — цвет надежды). Это она испытывает буфетчика Варьете Андрея Фокича, предлагая ему поделиться с ней воландовскими червонцами. Жадность, однако, оказывается у буфетчика сильнее ужаса перед предсказавшим ему смерть сатаной. Всуе призывая имя Христа, он просит женщину "оставить его", и она проходит мимо, оставляя его во власти "лешего", т.е. нечистого духа. В то же время не менее жадный председатель жилтоварищества Никанор Иванович, вор, взяточник и хам, внутренное покаявшийся в

своей скверне и призвавший на помощь Бога, приобретает надежду на спасение. Неслучайно, что Никанор Иванович живет в квартире № 35. В мистическом сложении 3 + 5 = 8. "Восьмерка" символизирует восьмой день творения, т.е. возрождения в новую жизнь во Христе.

На сцене "Варьете" недоступный воле людей Воланд "поворачивает голову" на голос зрительницы, именем Бога призвавшего его не мучить Бенгальского. Дружный призыв зрителей принуждает его возвратить конферансье оторванную Котом-Бегемотом голову.

Наконец, сухой и жесткий финдиректор Варьете Римский, который в минуту смертельной опасности "*к счастью* для себя превозмог себя и не упал" и успел из последних сил "шепнуть, но *не крикнуть* — "Помогите" — немедленно получает помощь. Крик петуха изгоняет из его кабинета вампира Геллу и обращенного в вампира Варенуху. Вмешательство сверхъестественных сил добра здесь совершенно очевидно, т.к. произнесенный шопотом (это подчеркивает Булгаков) призыв о помощи все равно не мог бы быть услышан и слово "к счастью" оказалось бы в повествовании функционально бессмысленным и стилистически неряшливым. Смысл этой сцены станет понятным, если мы вспомним, что перед началом сеанса черной магии Римский был единственным, кто бесстрашно занял по отношению к Воланду непримиримо враждебную позицию. За это Воланд и мстит Римскому, желая его уничтожить. В безнадежной по человеческому разумению ситуации на помощь Римскому приходит Иешуа: в христианской символике петух, возвещающий приход нового дня, есть символ Иисуса Христа, провозвестника восьмого дня творения.

Таким образом, сатанинское зло в романе не всесильно. От воли самих людей зависит степень его победы или поражения, и они могут рассчитывать на могущественную помощь божественного добра. По существу, Булгаков продолжает в "Мастере и Маргарите" тему Достоевского о нравственной свободе человека. Но решает Булгаков эту тему по-своему. Он рассматривает ее в свете небывалого еще в истории человечества опыта богоборческого тоталитарного государства, когда человек обессиливает в борьбе за истину и капитулирует перед злом, или, нао-

борот, впадает в искушение пактирования со злом во имя истины и спасения личного смысла своего существования. Тем самым мы подходим к экзистенциальной проблеме Мастера и Маргариты.

*

История мастера и Маргариты не просто история двух романтических любовников в Москве середины 30-х гг. Булгаков возвышает образы своих героев до уровня общечеловеческой значимости. Мастеру во время действия романа 38 лет. Маргарите — 30. Как и другие числа в романе, и эти числа символичны и амбивалентны.

38 лет ожидал исцеления больной, которого в иерусалимской купальне "Дом милосердия" исцелил в субботу Христос. В субботу дарует Иешуа мастеру вечный приют покоя, исцеляя его больную душу. Но мистическое сложение 3 + 8 = 11. Это значит, что больная душа мастера повреждена грехом. Исцеление души мастера связано в романе с необходимостью искупления им своего греха. В чем грех мастера?

Так же двоится число 30. 30 серебряников получил Иуда за предательство Иисуса. Маргарита заключает пакт с сатаной. С другой стороны, это число связано с готовностью Маргариты погубить свою душу для спасения любимого мастера. Чтобы войти в приют покоя вместе с мастером, она должна быть прощена. С Маргаритой связана тема прощения. Обе темы — искупления и прощения — неотделимы от темы милосердия Иешуа. В чем грех Маргариты?

Существует весьма распространенное мнение, что, в конечном счете, благополучным исходом своих мытарств мастер обязан, через посредство Маргариты, сатане Воланду. Действительно, в эмпирическом плане повествования мастера преследуют вполне земные критики, его арестовывают земные органы земного государства. Зато Воланд извлекает мастера из психиатрической клиники, соединяет его с Маргаритой, возвращает ему восстановленную рукопись романа, изгоняет Алоизия Могарыча, устраивает влюбленных на старой квартире, дарит на счастье золотую с бриллиантами подковку и, наконец, определяет им вполне приличное место потустороннего покоя. По

всем внешним признакам Воланд настроен к мастеру исключительно благожелательно. Ответственность за страдания мастера целиком возложена на государство, вернее на его слуг в области идеологии и исполнительной власти.

Но действительно ли в травле мастера виновно одно государство? Ответ на этот вопрос зависит от нашего правильного ответа на вопрос редактора, которому мастер принес рукопись своего романа о Пилате: "Кто надоумил его сочинить роман на такую странную тему?"

Иногда высказывается предположение, что историю Иешуа и Пилата внушил мастеру Воланд. Но если даже Булгаков в начале работы над романом и взвешивал такую возможность, то в окончательной редакции он признал подобное решение неудовлетворительным.

Обратимся к тексту романа. Бесспорно, что рассказ о Понтии Пилате Берлиозу и Ивану Бездомному в саду на Патриарших прудах и сон Ивана в клинике Стравинского рассказаны и навеяны Воландом. Зато последние главы об убийстве Иуды и мучениях совести Пилата Маргарита читает в восстановленной рукописи мастера. Стилистически все иершалаимские главы равноценны и ни в коей мере не связаны с манерой Воланда выражаться. И, наоборот, мастер в своей манере говорить использует некоторые речевые обороты своего романа. Ничто поэтому не препятствует сделать вывод, что иершалаимские главы выражают индивидуальный стиль мастера. Воланд просто преподносит текст романа мастера, который ему известен. При этом он делает это с целями, вполне соответствующими его природе. В первом случае он издевается над атеистом Берлиозом. Во втором — он искушающе мучит Ивана Христом, не рассказывая роман до конца и тем парализуя волю Ивана к вере.

Не пришло озарение мастера и из области света, т.к. из разговора между Воландом и Левием Матвеем мы узнаем, что Иешуа прочитал роман в Небесном Иершалаиме после его написания на земле. Все подтверждает вывод, что мастер написал этот роман сам при ободряющем содействии Маргариты. Будучи подлинным художником, мастер сумел "разорвать время" и "угадать" давно прошедшие события такими, какими

они были в действительности. Но именно правдивое изображение судьбы Иешуа и вызывает яростную реакцию сатаны.

Воланд несомненно ненавидит роман о Пилате. Возвратив мастеру рукопись, он, "молча, без улыбки уставился на мастера". Кот замечает, что "главная линия этого опуса ясна ему насквозь". В русском речевом употреблении слово "опус" имеет несколько пренебрежительный иронический смысл. Азазелло хотел бы "утопить" кота, доставившего рукопись.

Не менее очевидно участие сатанинских сил и в травле мастера московскими критиками. Кампанию нападок на мастера, пытавшегося "протянуть в печать апологию Иисуса Христа", начинает, давая сигнал всем другим, член редколлегии и критик Ариман. Ариман — имя верховного принципа зла, князя тьмы, в религии древних персов. Одна из главных статей подписана инициалами "Н.Э.". В практике 30-х гг. мнение политбюро партии в прессе нередко выражалось в статьях, подписанных инициалами. Но по существу "Н.Э." есть русская отрицательная частичка "не" с кавказским акцентом и приобретает в таком произношении легкий носовой оттенок. Смысловая ассоциация со Сталиным становится очевидной. В то же время функция отрицания, как признается Мефистофель в "Фаусте", и есть космическая функция дьявола, духа небытия (Н.Э. = non esse = небытие). Дьявол стоит за абсолютным государством большевизма, возглавляемого вождем и "отцом народов" Сталиным, как он стоял за универсальной империей Рима, возглавлявшейся императором и "отцом римлян" Тиберием. Так через художественные образы расшифровываются глубинные смысловые структуры булгаковского романа.

Но ведь и безотчетный и непреоборимый страх мастера, соединяющийся с болью в сердце, есть уже известный нам признак присутствия сатаны, желающего погубить свою жертву. Таким образом, не может быть и речи о благожелательности Воланда к мастеру. Но теперь, разрешив вопрос участия Воланда в преследовании мастера, мы можем понять, каким образом рукопись романа оказалась в распоряжении адских сил. Ведь это он сам понудил мастера сжечь рукопись и тем самым похитил ее.

Воланд возвращает похищенную рукопись отнюдь не в порыве великодушия. Это часть его игры за души Маргариты и

мастера. Говоря, что "рукописи не горят", он просто признает ни к чему его не обязывающий факт неуничтожимости духовной энергии, воплощением которой является произведение искусства. Но он также знает, что никто этого романа в Москве не напечатает, и что этого не хочет сам его автор — мастер. Окончательная капитуляция мастера перед злом совершается после возвращения рукописи, когда мастер заявил, что роман стал ему "ненавистен". В схватке со злом мастер потерял, как Пилат, мужество и волю к борьбе за истину и за себя. Он "возненавидел свой роман" и тем самым отрекся от Иешуа. Отречение от Иешуа и есть самый большой грех мастера. Именно этого добивался Воланд, и в игре за душу мастера он может считать себя победителем. Мастер не гибнет только потому, что от него не отрекся Иешуа, и его в эти последние часы их земной жизни не оставила Маргарита.

Когда Маргарита встречает мастера в первый раз, она несет в своих руках букет желтых мимоз. Желтый цвет — цвет испытания страданием и завистью. Мимозы означают "недотрогу" в Маргарите, ее опустошающее душу одиночество, которое вызывает у нее мысль о самоубийстве. Мастер не любит желтых цветов. Он боится страданий и не выдерживает именно этого испытания. Он любит розы — цветы любви. Ирония образа заключается в том, что мастер не может отказаться от страданий, если он хочет любить. Подлинная любовь неотделима от готовности к самопожертвованию. На языке цветов розы не только символ любви, но и страдания. Страдание и оказывается той силой, которая закаляет и одухотворяет их любовь.

В отличие от мастера Маргарита выдерживает оба испытания. Булгаков возрождает тургеневскую тему слабовольного мужчины и жертвенной, сильной женщины. Поэтому Маргарита ассимилировала в своем характере черты гетевского Фауста, искателя и борца. Чтобы выйти из заколдованного круга безысходности и пустоты, найти утерянного по воле политической системы любимого человека, Маргарита заключает пакт с сатаной, не сознавая, что за фасадом уничтожившего ее счастье порядка вещей скрывается тот же Воланд.

Он и является наиболее заинтересованной стороной в этом пакте. Он ищет не просто королеву кощунственного бала в день

годовщины распятия Иешуа. Ему непременно нужна эта конкретная Маргарита. В самом ее имени зашифрована загадка ее личности.

Мистический смысл заключается в самом имени Маргариты, т.е. по-гречески "жемчужины". В гностической литературе так называлась драгоценная человеческая душа или, в своей глубинной основе, "душа мира" — София, — которую приходил освободить из плена сатанинского дракона и возвратить в область божественного света гностический Спаситель. Сатанинского дракона в христианской житийной литературе посрамляла Св. Маргарита антиохийская. Даже грешная детоубийца Маргарита в "Фаусте" Гете не только ускользала из-под власти Мефистофеля, но и способствовала спасению самого Фауста. Наконец, Маргарита Наваррская (у Булгакова — предок нашей Маргариты) — королева и поэтесса, покровительница искусств, сочетавшая в себе интерес и к религиозной мистике и к утонченной эротике. Таким образом, имя "Маргарита" соединяет в себе значения цельной, возвышенной и благородной души, попадающей в нравственно двусмысленные ситуации, где линии раздела между добром и злом представляются неясными, где опасность гибели так же открыта, как и возможность спасения, и когда голос совести и инстинкт добра оказываются единственными путеводителями и единственным избавителем — Бог. Маргарита в романе и есть эта драгоценная "жемчужная душа", в сердце которой идет борьба между спасителем-Богом и губителем-дьяволом.

Не сумев соблазнить Маргариту ни искушениями материального комфорта (Маргарита принадлежит привилегированному миру советской элиты), ни развратом (отношения между мастером и ею определяются не абсолютизированной сенсуальностью, а глубокой потребностью внутреннего взаимовосполнения и личного общения, которых нет между Маргаритой и ее мужем), Воланд рассчитывает погубить ее тем качеством ее души, которое по замыслу Бога должно обеспечить человеку победу над сатаной и адом — жертвенной и беззаветной любовью. Воланд навевает Маргарите сон, показывая ей "неживое, адское место", ассоциирующееся с образом свидригайлова ада у Достоевского, куда манит ее "больной и встревоженный"

мастер. Чтобы быть вместе с любимым и облегчить его страдания, Маргарита принимает искушение Воланда.

Но именно через этот дьявольский замысел, которым сатана хочет "обыграть" (Воланд ведь превосходный шахматист) Бога, разоблачается подлинная природа метафизического зла. Соперник Бога — сатана — оказывается извращенным имитатором Творца, противопоставляющим положительному бытийному творению Бога свой небытийный "антимир". В его основу неспособный к подлинно творческому акту сатана полагает иммитированные и кощунственно спародированные структуры положительного бытия.

Великий бал у сатаны оказывается кощунственной пародией на воскресение, обещанное Богом. Бал Воланда — оживление плоти в мучение. Неаполитанская отравительница Тофана влачит за собой свой испанский сапожок. Малюта Скуратов — русский Иуда — убийца св. Филиппа московского, "окаймлен действительно огненной бородой". Облачившиеся в тела адские тени ищут не полноты личной жизни, а безличного забытья в пьяном обжорстве и оргазме под звуки кощунственного "Алилуйя". Бал кульминирует в "черной мессе", дьявольской пародии на евхаристию. Если в евхаристии виноградное вино, благородный продукт вегетативной природы, одухотворяясь, превращается в кровь Христа, то в черной мессе Воланда человеческая кровь дегуманизируется и растворяется в вегетативности виноградных гроздьев. Пьющий для своей "транссубстанциации" человеческую кровь Воланд оказывается жутким космическим вампиром. Но в этом последнем акте сатаны разоблачается второй существенный аспект метафизического зла — его паразитизм.

Кровь — эликсир жизни, который отрицающий жизнь сатана сам не может создать. Зло может материализоваться в бытии лишь в той мере, в какой сами люди открывают злу свои сердца и тем самым способствуют пролитию крови на земле. Кровопийца сатана паразитирует на бытии и знает это сам. Вот почему, отправляя в небытие Берлиоза и барона Майгеля и в то же время поднимая кровавую чашу за бытие, Воланд не только издевается над атеистом-редактором, но и признает конечную обреченность своей борьбы против Бога. Пение петухов и звуки

марша, которые слышит Маргарита, прорываются из мира восьмого дня творения — мира Иешуа — и разрушают антимир дьявольского наваждения. Воланд отлично знает, что в его бале "никакой прелести нет и размаха тоже". Бал сатаны — гиперболизированный до космического гигантизма танцевальный вечер в доме МАССОЛИТ'а, возведенная в "пятое измерение" земная пошлость. Через сложное взаимодействие заключающих в себе парадокс образов Булгаков художественно доказывает, что страшный в своей способности к уничтожению Воланд как творческий фактор онтологически бессилен.

Силы божественного добра беспрепятственно проникают в непосредственное окружение Воланда, лишь только движимая голосом сострадания Маргарита хочет облегчить страдания детоубийцы Фриды. Что "ведомство" милосердия есть "ведомство" Иешуа ясно из того, что прощенная Фрида падает ниц перед Маргаритой, разбросав руки крестом. Крест Иешуа оказывается сильнее Воланда.

И все-таки Воланд приобретает, хотя и временно, власть над душой Маргариты. Это происходит потому, что, обладая инстинктом добра, силой сострадания к людям и жертвенной любовью к мастеру, Маргарита разуверилась в действии и действительности добра и призвала на помощь сатанинское зло. Даже прощение Фриды, в котором так ясно проявились мощь Иешуа и ограниченность власти Воланда, не затрагивает глубоко ее сознания. Когда после извлечения мастера из клиники Воланд возвращает и рукопись романа, Маргарита восхищенно восклицает "Всесилен! Всесилен!", признавая тем самым за сатаной атрибут божественного всемогущества. Перед расставанием она "молитвенно" протягивает к Воланду руки, "не смея приблизиться к нему". Вот почему на слова Маргариты — "Прошайте!" — Воланд отвечает — "До свидания".

В этом признании Воланда владыкой и заключается тяжкий грех Маргариты, за которую она несет личную нравственную ответственность. Воланд приобрел две драгоценные человеческие души, для которых он уже приготовил "адское место", явленное во сне Маргариты. "Счастье", дарованное Воландом, обманное. Оставив кв. № 50, Маргарита сразу же теряет подаренную ей Воландом подковку, примету счастья. В эту страшную для нее по

грядущим последствиям минуту, подобно Римскому, Маргарита "в отчаянии" обратилась в "ведомство" Иешуа: "Боже, я потеряла подковку..." Иешуа приходит на помощь и понуждает демонов исполнить его волю.

*

Из вышесказанного становится ясно, почему мастер и Маргарита не заслужили света Небесного Иершалаима. Оба нуждаются в очищающем искуплении, условии конечного прощения. В то же время милосердною волею Иешуа они избавлены от адских мук в царстве теней и тьмы. Они получают вечный приют покоя (нечто между чистилищем и первым кругом дантовского ада), который по настоянию Иешуа принужден им выделить Воланд, но в котором они выходят из-под его власти: расставаясь, они на этот раз говорят друг другу "прощайте". Таким образом, хотевший зла сатана как будто сотворил благо. Но это не так. Никакого диалектического превращения зла в свою противоположность, т.е. в добро, не произошло. Иешуа перечеркивает злую волю Воланда, подчиняя ее своей благой воле. Воланд не творит блага: он просто оставляет мастера и Маргариту "в покое". В общем следует признать, что трактовка Булгаковым гетевского эпиграфа к роману не отличается существенно от трактовки места зла в бытии в "Прологе в небе" в "Фаусте". Сатана недобр и в трагедии Гете и в романе Булгакова. В обоих произведениях присутствие зла в мире не дает людям застыть в состоянии статики и понуждает их к нравственно значимому действию: тем самым зло исполняет относительно конструктивную функцию. В обоих случаях зло не может нарушить провиденциальной воли Бога: "Все будет правильно, — признает Воланд, — на этом построен мир".

Освобождение мастера и Маргариты из власти Воланда тоже понятно. Ведь в той мере, в какой мастер при поддержке Маргариты написал правдивый роман о событиях в Иершалаиме, испытал моральное и физическое преследование богоборческой власти, и он и она являются исповедниками Иешуа. Правда, что оба отпали, но вместе с тем никто из них не назвал истину ложью, а ложь истиной. Маргарита пожертвовала собой для спасения любимого человека. В обоих остался живым

инстинкт добра. Кроме того, Булгаков приводит еще одно "смягчающее обстоятельство": "Когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, — говорит мастер, — они ищут спасения у потусторонней силы". Правда, в данном случае это сила зла. Но те, кто пережил ни с чем несравнимый в истории физический и духовный гнет ленинско-сталинского государства, помнят настроение миллионов советских людей в период 1941-1945 гг., вылившееся в формулу: "Хоть с чертом, но против большевиков".

Загадочным представляется, что Иешуа не приказывает Воланду, а "просит" его через Левия Матвея. Когда же Матвей просит о Маргарите, голос его становится "молящим". Достойно ли такое поведение властителя Небесного Иершалаима? Не снижается ли этим в романе императивность добра? Несомненно, что Булгаков пришел к такому художественному разрешению философской проблемы отношения между добром и злом после долгих раздумий. В ранней редакции романа появлялся "фиолетовый всадник", который призывал к себе Воланда и отдавал ему распоряжение о судьбе мастера и Маргариты. На удивленный вопрос Маргариты Воланд отвечал, что над ним есть "кто может ему приказывать". Да и в окончательной версии романа силы божественного добра мощно вторгаются в события и заставляют силы зла отступать. Почему же Булгаков отказался от первоначальной версии и заставил Левия Матвея просить Воланда?

Мне кажется, что есть два убедительных толкования этого эпизода. Дело в том, что Воланд имеет право притязать на души мастера и Маргариты: он "законно" выграл их "по правилам игры". Эту "юридическую правоту" Воланда Иешуа признает. Поэтому он и "просит" Воланда освободить обоих не на основании безличной буквы закона, а силой живого и животворящего милосердия. В принципе, это есть разрешение проблемы в плане противопоставления "закона и благодати", характерное для русского культурного сознания и широко представленное в русской литературе XIX и XX в.в. Это толкование представляется мне наиболее вероятным.

Можно, однако, допускать связь идей Булгакова с философским гнозисом Бердяева, согласно которому Бог всесилен

над бытием, но не имеет власти над "ничто" и над "несотворенной свободой". И в этом случае победа остается на стороне божественного добра, но достигается она через нисхождение Христа в "бездну" "ничто", Христос просвещает и преображает ее изнутри не насилием, а силой жертвы, смирения и любви. В обоих толкованиях внешне могучее метафизическое зло не способно противостоять Иешуа, его смиренной но всепобеждающей воле.

В связи с этим возникает проблема отношения булгаковского Иешуа и его учения к евангельскому Иисусу и новозаветной традиции. В общем высказывания Иешуа по существу не противоречат духу евангельского Иисуса, хотя убеждение Иешуа, что "злых людей нет на свете" может быть истолковано в толстовском смысле. Диалоги между ним и Пилатом и между Пилатом и Каифой являются большей частью драматизацией новозаветных текстов, диктуемой условностями романного жанра. Тем не менее рассказ о событиях в Иершалаиме значительно отклоняется и от канонической и от апокрифической традиций. Главные отклонения меньше всего связаны с темой прощения Пилата. Уже канонические евангелия трактуют Пилата несравненно снисходительнее, чем первосвященника Кайафу и его сообщников. Еще более характерна тенденция к обелению Пилата в ранних апокрифах. В евангелии от Никодима Пилат получает прощение Иисуса и, после его казни по приказу императора Тиверия, присоединяется к сонму святых. Таковым его и прославляет коптская церковь. Также использовал Булгаков и средневековые легенды о Пилате. В них отношение к Пилату гораздо суровее, и он не получает в них прощения. Но из этих легенд Булгаков заимствовал лишь многочисленные биографические данные, неизвестные историческим источникам.

Гораздо серьезнее отклонения Булгакова от новозаветной традиции, где Булгаков говорит о родителях Иешуа, о его погребении, о его последователях, об убийстве Иуды. При этом его богословская концепция отличается и от официальной догматики церкви и от софиологической доктрины Флоренского.

Сатанинская триада демонов, за которой стоит их верховный владыка Воланд, дополняется проекцией демонизированной

человечности женщины-вампира Геллы. Эта "четверица" противостоит единому троичному Богу, в котором Иешуа соединяет и божественную и человеческую природу. В православной и католической религиозности божественная троичность дополняется обоженной человечностью Марии, Матери Иисуса-Богочеловека. В религиозной философии Флоренского Пресвятая Дева Мария и Богоматерь отождествляются с Софией, Душой мира и Церковью.

В религиозной символике Булгакова спасительный образ Марии Богоматери отсутствует (это отличает "Мастера и Маргариту" от "Белой Гвардии"). Тем не менее женские образы, связанные с гностическими софианскими мотивами и немецкой протестантской мистикой XVI-XVII вв. (возможно, через Бердяева) в романе есть. Прежде всего, это сама Маргарита — драгоценная жемчужина, — за которую идет борьба между Воландом и Иешуа. Как было сказано выше, в гностической мистике жемчужиной именовалась павшая Душа мира — София, — которую освобождал Спаситель гностиков. Некоторыми чертами Маргарита напоминает также "незнакомку" Блока, образ которой тоже осложнен софианскими, восходящими к Вл. Соловьеву, представлениями. Он соединял в себе и светлый аспект "Прекрасной Дамы" и аспект падшести — "блудницы". Как следует из анализа текста, образ Маргариты содержит в себе оба эти аспекта. После же переселения в область вечного покоя Маргарита исполняет функции посредницы между мастером и его учеником Иваном Бездомным, бессознательно ищущим Иешуа. Где-то образ Маргариты соприкасается с "вечно-женственным" у Гете.

Есть, однако, еще один гораздо более загадочный женский образ, вскользь упоминаемый Воландом: это его "бабушка, поганая старушка", знаток целебных трав, — может быть инстинктивно рождающее, иррациональное и в то же время потенциально хаотическое начало бытия. Не является ли она тождественной таинственным пракосмическим "матерям" в "Фаусте", о которых Гете ничего не хотел рассказать Эккерману? Не оказывается ли этот образ "материнского лона" бытия "Бездной", божественным "Ничто" Бердяева, в котором недифференцированно сосуществуют и хаотически разрушитель-

ные и потенциально творческие импульсы и которое является объектом предмирной, формирующей бытие, воли Бога? Не связана ли с каким-то нарушением единства первозданного духовного тварного мира деятельность Воланда, какой-то своей стороной причастного к предмирному и предвременному субстрату бытия, который в свою очередь коренится в этой таинственной бабушке? Нам снова приходится вернуться к вопросу о взаимоотношении между добром и злом в бытии.

Нравственные категории добра и зла в "Мастере и Маргарите" совпадают с онтологическими категориями света и тьмы. Чем больше полнота бытия, тем ярче свет и сильнее добро в нем. Чем меньше бытия, тем более интенсивны тьма и зло. Поэтому, когда Воланд, возражая Левию Матвею, настаивает, что жизнь невозможна без смещения добра и зла, и приводит пример материальных объектов на земле, с необходимостью отбрасывающих тень, ему нельзя отказать в диалектическом остроумии, но все-таки он — софист. Его довод вводит в заблуждение, потому что неверна аналогия. Свет и тень земных объектов выражают их физическую, материальную природу и нравственно индифферентны. Действия людей, однако, не могут быть нравственно индифферентны: они всегда оценочно окрашены. Только к действиям одухотворенных, т.е. нравственно ответственных существ, применимы категории добра и зла. Они оказываются духовными категориями, как и категории света и тьмы. Они выражают духовную природу человека.

В этом смысле полнота света — полнота положительно одухотворенной жизни — Небесный Иершалаим. Отсутствие света — область иллюзорного бытия, царство Воланда — предельное оскудение жизни, "бездонный колодец всякой тьмы и теней". Между ними — трехмерное измерение земного мира. В терминологии Флоренского — это "полубытие". В образности романа Булгакова — "подвальчик" посюсторонности. Из этого подвальчика возможно и восхождение вверх, в Небесный Иершалаим Иешуа, и падение в "бездонный колодезь" Воланда. Выбор направления зависит от самих людей.

Поэтому действия Воланда и направлены к стиранию объективных границ между сферами добра и зла в сознании человека. Когда добро и зло индивидуально или социально

субъективируются, они начинают восприниматься, как относительные категории. В процессе релятивизации воля к добру слабеет, а воля к злу (под личиной субъективного добра) приобретает новые, оправдываемые рассудком импульсы. В этом смысл соблазнительного философского софизма о свете и тени. В этом смысл коварного совета Воланда Степе Лиходееву: "следовать старому мудрому правилу — лечить подобное подобным", т.е. изгонять зло злом, в результате чего человек начинает воспринимать зло как добро.

Именно этого стирания границ в конечном счете не допускает Бог, абсолютная власть которого проникает в глубины адского псевдобытия и разрушает замыслы ангелов тьмы. На вопрос Маргариты во время "адской скачки" о перемене облика Коровьева Воланд загадочно отвечает: "Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл". Но ведь "каламбур" означает "игру слов", т.е. смешение разнородных содержаний в высказывании. Демоническая попытка онтологического смешения "света" и "тьмы" повлекла за собой неизбежное возмездие. Это значит, что границы между добром и злом оказываются онтологически объективны и непреходимы.

Но что означают загадочные слова Воланда об "оплате и закрытии счета" именно "в такую ночь"? Вспомним, что это суббота после дня распятия Иешуа, т.е., согласно канонической и апокрифической традиции, день нисхождения Иисуса в тьму преисподней, когда Иисус разбил врата ада и вывел из него души праведных праотцов. Это день победы Иисуса над адом. За ним следует день его победы над смертью, день воскресения. В годовщину этой субботы Иешуа по лунной дороге спускается в ад ("проклятые скалистые стены упали") и освобождает и искупившего свою вину Пилата и... "закрывает счет" демонического "рыцаря" (?).

Означает ли это, что космическая победа божественного добра, как конечное софийное восстановление святости бытия заключает в себе, пользуясь словами Бердяева, "просветление и

спасение злых"? Если это так, то гнозис Булгакова повторяет идею раннехристианского гнозиса Оригена с его учением о "спасении всех". Учение это было осуждено Церковью, но возродилось в русской религиозной философии XIX и XX вв. у Вл. Соловьева, Н. Лосского, Н. Бердяева. Это еще раз указывает на родство идей Булгакова с традицией русского религиозно-философского ренесанса XX века.

Если это даже так, то это вопрос сроков, которые закрыты человеческому разуму. Воланд и его демоны не смеют остаться на земле в день светлого пасхального воскресения и с грохотом бросаются в провал преисподней. Сам Булгаков не уточняет своего образа и не снимает антиномии. В этом отношении его позиция близка позиции Флоренского: "Тезис — *невозможна невозможность всеобщего спасения* — и антитезис — *возможна невозможность всеобщего спасения* — явно антиномичны. Но доколе признается Любовь Божия, — дотоле неизбежен тезис, а доколе признается свобода твари, сама составляющая необходимое следствие любви Божией, — дотоле неизбежен антитезис".

Читатель остается с чувством нравственного удовлетворения, что злые замыслы Воланда были разрушены милосердием Иешуа, и мастер и Маргарита получили вечный приют покоя. Космическая борьба между добром и злом продолжается и сроки ее исхода неизвестны человеку. А пока человек живет в земном "подвальчике" и будущее сокрыто от него, его настоящее исполнено иронии, как иронией проникнуто повествование эпилога романа. В этом настоящем человек по-прежнему обязан, если он не потерял воли быть человеком, совершать лично ответственный выбор между добром и злом. Этот выбор нелегок, и путь к нему полон искушений и препятствий. Но именно через этот выбор настоящее парадоксально соприкасается с вечностью. Не случайно эпилог романа возвращается к судьбе героя, с которым читатель познакомился в начале его — к судьбе Ивана Бездомного.

*

Иван Бездомный в значительной степени собирательный образ той части современной Булгакову новой интеллигенции,

которая, потеряв связь с духовной культурой прошлого, оказалась "бездомной". Она невежественна в смысле объективных культурных ценностей, но в глубине души ей претит ложь окружающей жизни, и ее беспокоит неясная потребность правды и добра. Встреча Ивана с Воландом в саду вызывает у Ивана инстинктивное отталкивание от демона зла (Берлиоз, наоборот, чувствует к нему интерес) и готовность бороться с ним. Иван инстинктивно ощущает и то, что с этим злом нужно бороться не только физическими, но прежде всего духовными средствами. Прыжок Ивана в Москва-реку (Булгаков подчеркивает, что Иван прыгает в воду "ласточкой") и есть его духовное крещение. Обряд крещения связан с ритуальной формулой отречения от дьявола.

Однако против стремления Ивана к духовному возрождению поднимаются и воинственно материалистическое государство и сам сатана Воланд. Общими усилиями они ломают еще неокрепшую сознательную волю к вере и сопротивление Ивана злу. Государству и материалистически мыслящему обществу духовный опыт Ивана представляется психическим заболеванием, и средствами подчиненной власти психиатрической науки оно выкорчевывает из сознания Ивана веру в сверхъестественное. Воланд соблазняет Ивана тем же, чем он соблазнил Адама — интеллектуальными перспективами познания добра и зла.

Воланд не терпит инстинктивной преданности Ивана добру, его готовности бескомпромиссно бороться против зла, его пробуждающегося интереса к Иисусу (живой, хотя и неверный образ Иисуса в написанной Иваном поэме). В клинике через диалогический поток сознания Ивана Воланд убеждает его в разумности и выгодности отказа от борьбы с "консультантом". Он соблазняет Ивана возможностью узнать, "что было далее с Пилатом и этим арестованным Га-Ноцри" Но дело в том, что идеи добра и зла, перенесенные из области жизнеосуществления в область абстрактного познания, становятся гносеологически *равноценными* объектами рассудочного исследования и тем самым, как на это настойчиво указывал Лев Шестов, *относительными* категориями рационалистической этики. Иван становится жертвой соблазна Воланда.

В результате Воланд и государство одерживают победу над Иваном, и оба обманывают его. Воланд сообщает Ивану лишь ту часть романа мастера, которая рассказывает о казни и смерти Иешуа. Тем самым Воланд внушает Ивану капитулянтскую идею непобедимости и конечного торжества злого государства над идеями Иешуа. Государство не дает Ивану выскользнуть из рядов привилегированной, но послушной его целям элиты.

В клинике Иван дал обещание мастеру не писать лживых, а потому "чудовищных" стихов. Ученик правдивого мастера, он сдержал свое обещание. Но став профессором истории и философии в *московском* высшем учебном заведении, Иван невольно отходит от заветов своего учителя. В условиях его страны философия и история, в которых человечество издревле искало путеводителей жизни, стали лженаукой. Ведь это и есть философия и историческая наука Берлиоза, лживость и порочность которых разоблачается Булгаковым на протяжении всего романа. Иронией Булгаков начинает роман. Ирония господствует и в его эпилоге. Правдоискатель Иван в начале романа продолжает дело Пилата в конце его: он оказывается, хотя и невольным, но все же послушным воле абсолютного государства распинателем истины.

И все-таки не исключено, что в антиномичном и парадоксальном космосе Булгакова Воланд опять потерпит поражение. Каждый год в ночь весеннего полнолуния (до 1-го никейского собора многие древние христианские общины отмечали 14-го нисана не только день распятия Иисуса, но и праздновали его воскресение) профессора Ивана Николаевича Понырева неудержимо влечет в сад на Патриарших прудах и к особняку Маргариты. Каждый раз его посещает все тот же сон: он видит прощение Пилата распятым им и снова живущим Иешуа. Как мы можем судить по тексту, сон этот приходит из области мастера и Маргариты.

По-прежнему Ивана, как и Пилата романа, властно, хотя и бессознательно, влечет к Христу. И может быть и ему, как римскому прокуратору, в конце концов откроются ворота Небесного Иершалаима. В гностическом романе Булгакова Ивана поддерживают в его судорожном "взыскании града" мастер и его верная Маргарита, сами ожидающие встречи с Иешуа. Не в этом

ли заключается своеобразное пророчество надежды, зашифрованное в булгаковском романе "тайного знания" и обращенное к советской интеллигенции? Если это так, то это очень трезвое и сдержанное пророчество: конечное прощение предполагает необходимость искупления. Личное милосердие, бесстрашие и внутренняя правдивость делают акт конечного искупления возможным.

Г. Круговой

СТЫД

Поляки гордые — и в рабстве не рабы,
И каждый в гоноре по-пястовски неистов,
Хотя противиться жестокости судьбы
Не смел ни Радзивилл, ни писарь или пристав.

Всеядность русская — гробница польских слав:
В ней распрлячены Пржевальский и Малевич,
И Врубель сумрачный, и едкий Владислав
Фелицианович — москвич, но Ходасевич.

А мой шляхетский род? Стоят в одном ряду
Пажи и ротмистры, врачи и камергеры:
В их списках послужных измену я найду.
И обруселости нелестные примеры.

Да я и сам, увы, от Польши вдалеке,
Ей в нежности клянусь — на русском языке!

Валерий Перелешин

*

Серели, желтели развалины
(Колонны и — старец седой).
Три облака были расставлены
Над сине-зеленой водой.

Казались янтарными сливами
Тяжелые бусы твои
И бусинками некрасивыми
Казались глаза змеи.

Сияние было мелодией,
А тоненький хамелеон
Застыл прекрасной уродиной,
Знакомый с древних времен.

Был близок берег Далмации,
Был парус и кипарис.
Одной обнаженной грации
Дарил улыбку Парис.

А может быть — берег Аркадии
И звоны дриад (и цикад).
Овальные две виноградины
Слегка отражали закат.

*

Ты Мики Мауса не признавал. Ты говорил:
— Таких существ на свете нету. —
Мой семилетний друг, скептический зоил,
Пострранствуй по другому свету!

Твой простодушный ум, твой простодушный смех...
Ты не подозревал, что в той, загробной жизни
Ты встретишь существа еще страннее тех,
Которые придумал Дизни.

Ты не подозревал, что сам Иеронимус Босх
Не мог вообразить невероятных тварей,
Какими населил не Вельзевул, а Бог
Свой светлозвездный бестиарий,

Что даже на Земле есть мириад существ
Необычайней, чем мышонок Мики.
Но что Земля? Что ад? Теперь — ты житель мест,
Где светят ангельские лики.

Игорь Чиннов

ВСЕВЫШНЕМУ

Не видел я Тебя. Тебя нельзя увидеть.
Но я живу в Тебе, и Ты во мне живешь.
Я — Твой. Я сызмала учился ненавидеть
Все, что нас тянет вниз, в грязь, суету и ложь.

Нечист я, и брезглив; глуп, и высокомерен,
Себялюбив, но лишь Твое в себе любя.
В низинности моей Твоим высотам верен,
В любви, в красе, в добре — в игре — ища Тебя.

Исчезну весь в Тебе. Пора. Но если мнимым
Все было, чем я жил, как лгут лжецы, и... и
Тебя — нет. Нет. Тебя.
Тогда тем набожней с Тобой Неисследимым
Безропотно сольюсь в двойном небытии.

22 дек. 1978. *В. Вейдле*

О "ПЕТЕРБУРГЕ" ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Известное стихотворение Осипа Мандельштама "Ленинград", написанное поэтом в Ленинграде в декабре 1930 г. под впечатлением вновь увиденного города после многих лет разлуки и жизни на юге России, и теперь еще иногда выдается за обращение к Петербургу из далекой воронежской ссылки. "Петербург! Я еще не хочу умирать: у тебя телефонов моих номера. Петербург! У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса", — писал он из воронежской ссылки", — сообщала одна русская газета. Из биографии Осипа Мандельштама известно, что после года ссылки в Чердыни он с весны 1934 г. по май 1937 г. был в Воронеже. Стихотворение же "Ленинград", из которого цитируются вышеуказанные строки, вместе с двумя другими стихотворениями — "Полночь в Москве" и "К немецкой речи" — было опубликовано в московской "Литературной газете" 23 ноября 1932 г. Редакторы заграничного издания "Собрания сочинений Осипа Мандельштама" на странице 440-й 1-го тома полагают, что оно было опубликовано "по какому-то *головотяпству*". А между тем, те, кто изнутри, как участники, наблюдал литературную жизнь СССР в период непосредственно за ликвидацией РАПП'а, никак не удивятся публикации этого цикла стихов Осипа Мандельштама на страницах "Литературной газеты". Ведь это случилось вскоре после разгона группы Леопольда Авербаха, претендовавшей на руководящую роль под маркой гегемонии пролетарской литературы и действовавшей дубиной для укрощения всей

советской литературы, подчинения ее своим групповым интересам.

После апрельского постановления ЦК партии в 1932 г. о ликвидации РАПП'а вся писательская братия вздохнула легче и часто искренне приветствовала это решение. Тогда еще не сразу видны были подлинные цели Сталина загнать всех писателей в один большой литературный колхоз для того, чтобы легче было контролировать и мобилизовывать писательские силы для служения текущим задачам социалистического строительства. Редко кому могло прийти в голову, что после авербаховского террора на литературном фронте придут времена невиданного сталинского террора, а новосоздаваемый Союз писателей СССР явится еще более удобной формой для окончательного порабощения советской литературы самим "вождем и учителем народов мира".

После многих лет литературного разбоя и напостовской диктатуры, от которых страдали все писатели, время деятельности так называемого Оргкомитета Союза Советских писателей, до Первого съезда писателей, учредившего Союз писателей только в 1934 г., казалось началом новой, более либеральной политики партии в области литературы. Думалось, что поставлены цели собирания в одну великую семью всех писателей, включая и так называемых "попутчиков", до того третируемых РАПП'ом как буржуазных и кулацких. И когда в кулуарах Дома писателей молодой поэт, позже ликвидированный, Зяма Пивоваров высказался, что роспуск РАПП'а повлечет за собою поначалу больше свобод писателям для того, чтобы позже еще больше прибрать их к рукам и подчинить контролю партии, большинство из нас только пожимали плечами от недоумения: как, мол, человек не понимает, что партия пошла навстречу теснимым писателям и возврат к прежним формам литературного разбоя после такого опыта уже якобы невозможен.

Так многие из нас верили в благие намерения апрельского акта 1932 г. И для такой веры были тогда и основания. С осени 1932 г. оживилась работа по привлечению так называемых "правых" писателей, которые часто не только не считались попутчиками, но даже третировались как "буржуазные" и иногда отождествлялись на страницах журнала "На литературном

посту" и других рапповских изданий с "литературной контрреволюцией", как, например, Алексей Толстой до 1932 г. В 1933 г. наряду с другими писателями, был привлечен к литературным чтениям и Андрей Белый. На его вечере в зале Московского Политехнического музея весь вечер звучала музыка ритмической прозы из уст самого автора. Побежденная блеском эффектных словозвуков из романов "Петербург", "Москва", "Котик Летаев", "Серебряный голубь", аудитория разразилась бурными овациями, а выступившая экспромтом Вера Инбер от имени всей советской литературы и многомиллионного читателя обратилась со словами благодарности к "великому мастеру художественного слова", продемонстрировавшему чудеснейшую работу своего "творческого станка", как в угоду времени поэтесса определила творческий метод седовласого метра русского символизма. С этого времени Андрей Белый перестал уже казаться анахронизмом в советской литературе. Подобно многим другим старым бардам, он и не подозревал, что своим выступлением он подливал масла в заведенную машину новой политики создания видимости единства советской литературы.

Новой политике служили и организованные "Литературной газетой" так называемые литературные субботники в помещении редакции газеты в Москве. На один из ноябрьских субботников в 1932 г. был приглашен только что появившийся в Москве после многих лет жизни на юге России поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Об этом заранее было оповещено в "Литературной газете". Я и до того был постоянным завсегдатаем тех вечеров, куда меня привлекали не только литературные интересы, но и подогревающие их обильно и бесплатно подносимые пирожные и чай с лимоном, для полуголодного студента игравшие весьма поощрительную роль. Стихи Осипа Мандельштама я любил с ранних лет и готов был лишить себя нескольких обедов, чтобы сэкономить на покупку у букинистов у Китай-городской стены затрёпанного экземпляра "Камня" или "Тристии" О. Мандельштама, хотя бы и по баснословной цене.

Задолго до назначенного часа я уже сидел в первом ряду, ожидая начала выступления знаменитого в моем понимании поэта. Обычно, хотя вход был свободен, но кроме литераторов,

никто тогда туда не приходил: пожалуй, простому советскому народу в те трудные годы было не до того.

Перед самым началом вдруг все места оказались в мгновение заполненными. И вскоре я увидел медленно шествующего к столу небольшого, но довольно полного, я бы сказал, солидного, в черном костюме, блестящей белизной манишке с черным галстуком, тронутыми слегка сединой висками, обрамленным темными волосами, уже покинувшими переднюю часть головы. Его чинно сопровождал редактор "Литературной газеты" С. С. Динамов. За ними следовал ряд сотрудников "Литературной газеты" и Оргкомитета Союза писателей. Председательствующий, представляя поэта, сказал несколько лестных слов о таланте и культуре Мандельштама, отметил неприемлемость идеологического направления многих прежних писаний этого автора. Советская литература не отбрасывает, однако, а, наоборот, привлекает в лоно воспитательной деятельности партии всех достойных тружеников пера, — заявил он в качестве оправдывающего положения для предоставления слова поэту. Наши глаза были прикованы к скромно сидящему рядом с председателем человеку, чьё имя было синонимом подлинной русской культуры, к которой мы все тянулись как к обетованному раю. Во всей осанке и манере чувствовалось благородство и некая особая одухотворенность. Но вот дано слово и самому виновнику этого сборища. Поэт просто заговорил о своих путешествиях по Крыму и Кавказу, с особой любовью рассказывал об Армении, ее древней культуре, самобытности народа и прелестях здоровой народной жизни. И почти ничего о социалистическом переустройстве и достижениях социализма. По лицам организаторов вечера было видно, что они насторожились. Но тут поэт перешел к чтению своих поэтических произведений последних лет. И в память каждого слушателя сразу врезались прекрасные строки:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез,

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Таково было восприятие современного Ленинграда, которому поэт, увы, далеко не льстил, и которое было, однако, понятно каждому побывавшему в декабре в этом городе. Обычные слова, в них ничего не было от красот поэтической речи, и, однако, каждый себя ловил, что и он мог бы также сказать, но не сказал, а сказать довелось поэту. Но каким трагизмом повеяло на слушателя, когда поэт перешел к выстраданным словам о Петербурге ушедшем, безвозвратно канувшем в вырытую революцией пропасть, но вечно живущем в сердцах и душах носителей петербургской культуры. Прошло только десять лет со дня, когда поэт обещал "снова сойтись" в Петербурге и узреть "похороненное солнце". И теперь перед лицом зловещего Ленинграда поэт не в силах удержать затаенного крика души, подавляемого немотой и сознанием бессилия перед чинимым злом. Стихотворение завершается строками небывалой эмоциональной силы — стоном души, обращающейся к своим ушедшим дорогим людям:

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня ещё есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Конечно, сейчас нам ясен огромный символический смысл этого выдающегося стихотворения, поэтического выражения величайшей русской трагедии.

Художественная сила воздействия на слушателя была так велика, что даже вершители судеб того вечера не решились препятствовать дальнейшему чтению поэта и только безмолвно внимали рукоплесканиям аудитории. А поэт читал и читал все новые творения последних лет. Тут было стихотворение "Полночь в Москве", и "К немецкой речи", и ряд других

шедевров. Всем стало ясно, что поэт взошел на новую вершину своего творческого расцвета, и, казалось, избрал подходящее время для своей "творческой заявки". Конечно, было пределом смелости со стороны беззащитного поэта заявить в стихотворении "Полночь в Москве":

Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!

В стихотворении "К немецкой речи" Осип Эмильевич осмелился призывать "поучиться серьезности и чести на Западе у чуждого семейства", и в качестве гарантирующей творческую свободу силы называет Бога-Нахтигаля. К нему он обращается, когда поднимает голос против попыток привлечь поэтическую музу поэта на службу противочеловеческим целям:

Бог-Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

Но такова уж сила спущенной сверху инструкции, обязывавшей функционеров от литературы делать все возможное, чтобы привлечь к запланированной единой писательской организации всех возможных попутчиков, что им пришлось закрыть временно глаза на подлинный смысл писаний даже такого для них трудно понимаемого поэта, как Осип Мандельштам. В Белоруссии, например, в то же самое время началось вовлечение двух старейших народных поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа в сферу советского влияния и на тех двух "стариках" делалась политика сближения партийных и беспартийных "большевиков". Началось с того, что на приеме у Сталина секретарь Коммунистической партии Белоруссии был смущен вопросом самого хозяина:

— А как там поживают "старики"?

Он никак не мог догадаться, что речь шла о третируемых, обвиняемых во всех грехах белорусского "национал-демократизма", по тому времени "контрреволюционного буржуазного уклона", белорусских народных поэтах — Янке Купале и Якубе Коласе. А первый из них был даже одно время арестован ГПУ и

только после произведенного "харакири", попытки покончить с собой, был выпущен под надзор тайной полиции. Партийная же печать продолжала связывать его имя с "национал-демократической контрреволюцией", а ГПУ по-прежнему собирало материалы для привлечения обоих "народных поэтов" к планируемому большому делу националистов. Смущенный вопросом секретарь ЦК КПБ мысленно перебирал десятки имен, но имена двух старейших поэтов Белоруссии никак не приходили ему на ум.

— Да... — медленно и заведомо растянуто продолжал Сталин, видимо наслаждаясь своей проницательностью перед лицом полной растерянности своего подчиненного. —. Хорошие старики у вас в Белоруссии живут. Полезные партии. Их бы привлечь к советскому делу!

Глаза гостя выдавали испуг перед всесильным и настоятельно просили скорее раскрыть секрет тех "стариков". Но хозяин не спешил называть их, продлевая мучения партийной совести своего функционера. Наконец, после долгого вопросительного, пронизывающего взгляда, хозяин прекратил танталовы муки вытянувшегося перед ним чиновника и многозначительно произнес те два имени. Провинциальный секретарь партии был ими сражен до онемения. Зато с каким размахом началось осуществление этих последних указаний о политике партии по отношению к остаткам старой интеллигенции. В Белоруссии во мгновение ока были забыты все обвинения в уклонах двух маститых представителей белорусской литературы и началась реабилитация и массовая канонизация творчества "народных поэтов" Белоруссии, Янки Купалы и Якуба Коласа. Террор же в отношении других не только не уменьшился, но вскоре приобрел новый размах, приведший в тридцатых годах к массовому уничтожению белорусской интеллигенции и огромному обеднению начавшей было расцветать молодой белорусской литературы и национальной самобытной культуры.

В осуществление новой политики в области литературы в Москве решили временно поставить на карту последних могикан старых литературных школ, показавшихся подходящими для этого фигур Андрея Белого и Осипа Мандельштама. В целях привлечения их к литературному процессу устраиваются

литературные вечера, посвященные их творчеству, а в "Литературной газете" появляется подборка трех стихотворений Осипа Мандельштама, в том числе и "Ленинград". Вряд ли редактору "Литературной газеты" и его помощникам тогда было видно все то, что мы теперь можем прочесть в тех стихах после стольких лет, обогативших наше понимание трагедии русской интеллигенции. Может быть, редактору Динамову они казались просто стихотворной ересью, но Мандельштам был нужен в тот момент как крупный поэтический метр в угоду новой политике партии в литературе. Мандельштам, правда, не оправдал надежд ее вершителей, и его постигла страшная судьба. Но это уже другая тема.

Владимир Седуро

*

Я встретила Данте на Понте Веккио.
Узнала глаза с покрасневшими веками.
И хоть современен от плеч до ног,
Но выдает лавровый венок.
Я встретила Данте на Понте Веккио
В командировке в двадцатом веке он.
Взглянуть еще раз на белый свет,
Где нет и рая, и ада нет!

Татьяна Филановская

РАЗГОВОРЫ С АДАМОВИЧЕМ
(1958 — 1971)

В декабре 1938 г. исполнилось мое давнее желание увидеть русский Париж, но, к сожалению, я пробыл там только дней десять. Я был на воскресном чае у Мережковских и провел вечер у Ремизовых. Поразило: они как будто разыгрывали роли, уже знакомые по воспоминаниям Андрея Белого, по многочисленным записям А. М. Ремизова, по *Живым лицам* Зинаиды Гиппиус, по рассказам очевидцев. Они двигались передо мной, говорили, как литературные герои несколько раз прочитанных романов. Тогда же я ездил к Н.А. Бердяеву в Кламар, был на собрании у И.И. Бунакова-Фондаминского, на вечере молодых поэтов.

Более всего мне хотелось увидеть Г.П. Федотова, М.И. Цветаеву и Г.В. Адамовича. Я уже знал: Цветаева и Адамович литературно враждовали, что было для них вполне естественно. Если бы они неожиданно сблизились — Цветаева перестала бы быть Цветаевой, а Адамович Адамовичем. Но именно в них — таких разных, несовместимых, я видел тех желанных собеседников, которых всегда ищу и иногда нахожу. При этом таланты, известность имеют для меня второстепенное значение.

Я уже несколько лет переписывался с Цветаевой и тем самым встреча с ней была уже подготовлена, и она щедро одарила меня беседой (как и Г.П. Федотов).

У меня сохранилось письмо Адамовича (1935 г.) — ответ на мою справку о рано погибшем от несчастного случая поэте Николае Гронском, которым я тогда очень увлекался. В тот мой первый приезд в Париж я видел Адамовича в кафе Селект на

Монпарнассе, у Фондаминского, на вечере поэтов. Нас познакомили. Я сразу понял, что не представляю для него никакого интереса и это исключало беседу с глазу на глаз. В начале 50-х годов я редактировал антологию эмигрантской поэзии *На Западе* и вступил в деловую переписку с Георгием Викторовичем. Но уже с первых писем все дела отступили на задний план. А разговоры с ним начались во второй мой приезд в Париж, в 1958 г., и с перерывами, продолжались 13 лет.

Мы переходили одно из широких авеню, идущих от Этуали, и при красных огнях — так нравилось Г.В. Скользя между машинами, он сказал мне: — А вы ведь de la maison! Это означало — свой или наш человек в его Петербурге, перенесенном в Париж. Года за три до этого я получил докторскую степень Харвардского университета. Приятно было, лестно, но принадлежность к дому Адамовича была несравненно более приятной, лестной. Я уже знал, Г.В. включал в свой дом далеко не всех петербуржцев — исключал б. редактора *Аполлона* С.К. Маковского, который, в свою очередь, имел свой парижско-петербургский дом. Что же, чем больше таких домов, тем лучше. Всех их не перечислить: мережковский, ремизовский, бердяевский, новоградский (Г.П. Федотова и м. Марии), свято-сергиевский (Духовной академии), монпарнасский, бунинский...

У меня хранятся 195 писем Г.В. М.б., позднее кое-что выберу для печати, но теперь хочу поделиться некоторыми записями разговоров с ним. В начале я записывал на коленях (обычно в кафе), а позднее откровенно, на столике, что Г.В. смешило. С ним всегда было весело, даже когда беседа была серьезной.

Еще в ранней юности, в Эстонии, где я тогда жил, я понял правду адамовичевской парижской ноты, но по существу она была мне чужда, хотя я иногда и "звучал" в её тоне. С Цветаевой было куда больше общего, хотя я понимал, что она в большей степени жила в своем московском прошлом, чем Адамович — в петербургском. Я избегал споров с Г.В. Меня занимала не нота, а сам Адамович. Если мы и спорили, то преимущественно в письмах, например, о Толстом и Достоевском. Г.В. всегда доминировал, и если тема ему не нравилась, он обрывал: — Нравится мне ваш голубенький галстук. Где покупали и почем?!

Г.А. в разговорах, как и в письмах, любил многое заострять, чего не сделал бы в статье. Но без этих перебарщиваний нет живого разговора. Почти все мои комментарии к записям опускаю и свожу самого себя к одним вопросам.

Ю.И.

Лето 1960 г., Ницца.

А.: — Никто теперь не верит в ад, тем более в чертей.

Я: — Профессор Чижевский их даже видит.

А.: — Вероятно притворяется, как Ремизов.

Я: — Гоголя начитались.

А.: — В наше время многие уверены, что спасутся... если только есть Бог, загробная жизнь. Я не поклонник Бердяева, но он хорошо сказал: понятие ада несовместимо с понятием рая. Мать в рай попала, а сын мучится в аду. Матери: рай не в рай!.. А может быть и так: Бог вроде диктатора, злой, презлой.

Я: — Какой же это Бог?

А.: — А если именно так и ничего изменить нельзя.

Я: — Воскреснем?

А: Какое там воскресение. Вот я ем картошку, а может быть в ней сохранились какие-то частицы Платона, Ньютона, уже давно сгнивших и удобривших почву. Ничего не будет.

Я: — Вы в этом уверены?

А.: — Ни в чем я не уверен. Бергсон с большим любопытством относился к смерти: что после? А если... В наказание вам за то, что вы очень много рассуждаете о рае, скажу следующее, хотя бы и невсерьез. Может быть рай вечно длящаяся судорога блаженства, оргазм, испытываемый праведниками в магометанском раю.

Я: — Чего вы больше всего хотите?

А.: — Свободы и покоя.

Я: — Но вы сами себя всегда беспокоите.

А.: — Те тютчевские строки, которые слишком часто цитируют... О Христе, который в нищем виде исходил Россию. Есть в них правда, хотя мне не нравится упоминание в них о гордом взоре иноплеменном. Зачем эта полемика с Западом?

Я: — Вы в Россию верите?

А.: (резко): — Россия спасет Запад, даже если завоюет всю Европу и, конечно, многое, слишком многое, испортит или уничтожит. Спасение же придет не сразу, а лет через сто... В России есть христианская сущность. В.Х. Одэн где-то сказал: нельзя строить долговременную цивилизацию, основываясь на русской литературе. Великие русский писатели были очень уж требовательны к человеку. Но не говорит, а даже восклицает Одэн: горе человеческому обществу, если оно забудет все то, что сказали Толстой и Достоевский.

Я: — Толстой не верил, что Россия спасет мир или хотя бы одну Европу.

А.:(повышая голос): — Конечно, не верил. И он никогда не говорил от имени России.

Я: — Что же тогда остается? Мечты славянофилов, мессианизм Достоевского.

А.: — Я никакой не мессианист, самого этого слова не выношу. Но вот целая история вместо доказательств. Один из наших братьев-масонов совершил крупную растрату (имена и подробности опускаю. Ю.И.). Он был исключен из ложи. А я *им* говорю: вы называете себя братьями, а где же братство? Отстраняете от себя брата, впавшего в несчастье. Брат, оказавшийся вором, остается братом. Или же самое это слово не имеет никакого смысла. Конечно, я никого не переубедил. Но русская литература и та тютчевская Россия на моей стороне. Это русская реакция, и я горжусь этим.

Я: — Марина Цветаева говорила мне: она была бы рада размозжить голову бандиту, берущему жертву на прицел. Но если бандит уже убил и убегает, я спрячу его под диваном или в гардеробе.

А.: — Не люблю Цветаеву, но в данном случае она права. И у ней русская реакция. А Андре Жид этого не понимал: отвернулся от Оскара Уайльда, которого встретил в кафе (после его освобождения из английской тюрьмы). А ведь сам мог бы сесть за те же самые дела... На поверку, был он честный буржуа, соблюдающий приличия. Разве не лицемер?

А.: — Если бы меня посадили на необитаемый остров, и я располагал бы досугом — пожалуй, мог бы написать роман Достоевского! Конечно, все-таки не написал бы! Но нельзя себе

представить, чтобы кто-нибудь мог написать роман Толстого! Хотя бы те страницы, перед смертью Анны Карениной. Это же откровение. Что рождение, что смерть -- об этом Толстой писал, как никто до него.

Я: -- У Толстого не было любви к человеку.

А.: -- Согласен! (С жаром) Но у него правда, а правда -- хлеб насущный... и стихи должны быть хлебом...

Я: -- Но и вином, а вино опьяняет. А опьянение, хотя бы и без вина, вдохновение -- не всегда правда, но только ли ложь?

А.: -- Оставим...

Я: -- Толстой не восхитился бы Венецией.

А.: -- Да, Венеция не понравилась бы Толстому... А какой удивительный город. Хотел бы туда опять съездить. Кто из русских так замечательно описал Венецию?

Я: -- Тургенев. Умирающий Инсаров катается с Еленой в гондоле, идет с ней в театр.

А.: -- Прекрасно описал. Но Тургенев был неправ, утверждая -- Венеция как бы создана для молодых любовников. Её легкое очарование скорее волнует на закате, в старости.

Возвращаемся к Толстому.

Я: -- Жуир Облонский попадет в рай.

А.: -- Дался же вам рай... Может быть, Христос простит, спасет Облонского, но осудит тех, кто Облонского возвеличивает. Кстати, Стива сам о себе был невысокого мнения, и это очень существенно. Незачем его превозносить.

Я: -- У Толстого христианство без Христа. Одна мораль: во-первых, не курить, во-вторых, не давать денщику в морду...

А. (раздраженно перебивает): -- Вы неисправимы.

На Ривьере Г.В. часто вспоминал о Мережковских.

А.: -- Вот кафе (в Каннах), где они сиживали. Все спорили из-за разных мелочей -- Зина, ты опять берешь папиросу из моего портсигара... ты уже должна мне две... Но не могли друг без друга жить. Любили, очень любили... -- Как-то Зинаида Николаевна посмотрела в лорнет на кошку: -- Некоторые кошечки попадут в рай...

Я: -- А не все?

А: -- Она сказала некоторые... Гиппиус отзывалась на магию поэзии, но не придавала никакого значения тому, что мож-

но назвать материей или плотью стихов. Мы с М.Л. Кантором принесли ей стихотворения, посланные на конкурс журнала *Звено*. Она их читала, разбирала, но формальные достоинства стихов ее нисколько не интересовали. Однажды я спросил: Зинаида Николаевна, какая-то особенная тайна была у вас, символистов, в 90-х и 900-х гг.? Ответ: ничего не помню.

Как-то я сказал Г.В.: — Вы задуманы монахом.

Г.В. рассмеялся: — Это я-то монах. Вздор! Но задумался и, кажется, в тех же Каннах, сказал: — То же самое мне говорил Мережковский. А он, при всех своих недостатках — при схематизме *тайны трех,* — что-то на самом деле знал, чего другие не знают.

Позднее Г.А. рассказал мне, что еще студентом ездил на Валаам. Не то, что хотел постричься, а так — присматривался. В трапезной все хлебали суп из той же миски. Пришлось и мне... Но это не для меня... Конечно, мелочь... за которую готов себя осудить.

— Цветаева была какая-то натуральная ломака. Читала стихи по-бабьи. Русский голос-голосок. На каком-то собрании что-то изображала... Зинаида Николаевна долго рассматривала её в лорнет. Цветаева не выдержала, опустила глаза, перестала говорить.

— Не любите вы Цветаеву... а она вас!

А.: — Если смешать нетрезвую Цветаеву и трезвого Ходасевича: вот был бы замечательный поэт! Еще о Гиппиус: она говорила мне — часто видит во сне Блока. Помните, ее стихи к нему обращенные: душа твоя невинна, но ... не прощу. А всегда помнила Блока.

О Николае Оцупе: — В одном стихотворении Оцуп написал *умеревший,* вместо *умерший.* Гумилев долго над ним издевался.

— Оцуп читал какую-то ученую глупую лекцию. После перерыва Гумилев к нему подошел: — Николай, ты лекцию продолжать не будешь. Смущенный Оцуп подчинился.

Жена Оцупа Диана Александровна: сверкнула было в синема метеором и быстро исчезла с горизонта. На собрании *Чисел* она всем говорила: — Не обращайте на меня внимания, говорите о своем... Но никто и не обращал на неё внимания.

— Как-то я зашел за Оцупом, чтобы вместе идти на собра-

ние, уже не помню какое именно. Диана мужу: — Иди с Богом, но я знаю, что тебе не хочется. Оцуп остался, хотя ему очень даже хотелось пойти... Вообще, Диана не одобряла литературные затеи мужа, считала их разорительными (напр., издание *Чисел).*

— Оцуп на спортивном празднике: если бы вся эта толпа, все эти тысячи пришли на заседание *Зеленой лампы* у Мережковских... Как могли ему приходить такие мысли!

Я: — Почему бы нет!

А.: — В начале 20-х гг. мы с Георгием Ивановым пришли к выводу, что нас никто не замечает и надо чем-то удивить публику. Издадим книгу: налево пушкинские тексты, а направо — наши исправления. Помнится, я исправлял стихи: Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит... Слава Богу, что из нашей затеи ничего не вышло!

— Не люблю Набокова, но, конечно, он удивительный мастер, рассказчик нельзя сравнивать его романы с *Доктором Живаго* — произведением слабым, хотя и очень значительным. Кое-что в пастернаковском романе люблю: незабываемы разговоры Живаго с Стрельниковым (после отъезда Лары).

Что останется от эмигрантской литературы? Проза Набокова и поэзия Поплавского.

Я: — Вы их обоих недолюбливаете.

А.: — Да. Но они останутся: это факт, который в данный момент не расцениваю.

— Помните Анну Радлову? Ее сборник *Корабль*. Слабый поэт. Но ее жаловал Кузмин, и я его за это укорял. Михаил Алексеевич посмотрел на меня и отрезал: — А вы, Адамович, дурак! Это было перед самым моим отъездом из России. Г.В. весело смеется: — Заслужил дурака... Не понял, что Кузмина и Радлову связывали какие-то дела — издательские, коммерческие.

— Как-то Мандельштам мне сказал: — Вот эпиграф к вашим стихам:

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность.

Я: — Г.В., вы сделали Штейгера, Червинскую, а сами пишете не по рецептам метра Адамовича:

Ты здесь опять... Неверная, что надо
Тебе от человека в забытье...

Хорошо, но для вас неканонично: это стихи не тихие, не простые...

Г.В.: — Оставим. Незачем говорить о моих стихах:

— Барон Врангель на заседании редакции *Аполлона,* не меняя голоса: Разрешите вам сообщить приятную новость: 1) мы закупили отличную бумагу по дешевой цене, и её хватит на несколько месяцев, 2) Маковский больше не будет печатать своих стихов в журнале... А вот в старости Маковский начал писать хорошие стихи... Но напрасно наскакивает на Блока. У него встречаются неряшливые стихи, но не очевидно ли, что нельзя судить о большом поэте по отдельным неудачным выражениям, даже ошибкам.

А.: — Взаимная любовь — свинство. Вот вам две цитаты, одна немецкая, но не знаю чья (Гете, Рильке?), но передаю ее по-французски: — Я тебя люблю. Но это не твое дело. Другая из Вольтера: — Это я всё для тебя делаю, потому что люблю тебя.

Я: — Помнится в *Федре* или *Пире* Платон сказал: любящий ближе к Богу, чем любимый.

В рассказах о своих увлечениях, Г.В. всегда резко отделял Афродиту небесную от Афродиты простонародной, чистый эрос от нечистого секса.

Встречи в Нью Йорке, где Г.В. жил в отеле около Парк Авеню (осень 1971 г.)

А.: — Писал эпиграммы — может быть, и злые, но так было принято в наших кругах:

Анна Ахматова
В ней искорка была таланта небогатого,
Ах, не ярка она, ах, матова.

М.А. Алданов
Как был бы мудр, как был бы мил,
Каким бы совершенством был
Марк Александрович Алданов,
Когда бы не писал романов.

Я: — Где вы написали ваши стихи:

И может к старости тебе настанет срок

Пять-шесть произнести как бы случайных строк,
Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казань приговоренный,
И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

— В 1919 году в Новоржеве. Поехал туда кормиться, с матерью и сестрой. Шел по снегу и сочинял...

Любил наведываться в Петроград. До станции было чуть ли не сорок верст.

Ехал в санях. На опушке мелькали волки. Приходилось по двое суток ждать поезда. Теплушки, набитые до отказа. Какая-то дама, закрыв лицо руками, призналась, нужно мне, нужно... Солдатики подхватили ее, высунули...

Реакция дамы: — Подумать только, я когда-то обедала на самой верхней террасе Эйфелевой башни.

Поздний успех Г.В. в Америке. Ему звонили из Техаса, Калифорнии: приглашили приехать, выступить. Но он ограничился лекциями в Харварде, Иеле и Нью-Йорке.

Открытка от Андрея Вознесенского, который тогда тоже был в Нью-Йорке, с экспромтом:

В час всемирного одиночества
Прокричу стихи Адамовичу.

А.: — Был у меня. Тихо сидел в уголку, но стихи кричал. А есть у меня эпиграмма и на него:

Поэт советский — декадентский,
Он смел, да руки коротки.
Не с брега Сены Вознесенский,
А с Припяти или Оки.

Г.В. показывал и посланное ему длинное стихотворение Евгения Евтушенки и удивлялся тому, что его имя "Георгий Викторович Адамович" уместилось в пятистопном ямбе. В последней строфе Евтушенко писал о том, что Адамовичу уже поздно возвращаться в Россию, но Россия к нему вернется.

— Умный Пушкин, потому что голова у него была "полупустая" и он всё легко понимал. А у Толстого голова была "набитая", и он хуже понимал чужое, чужие мысли. Но людей понимал вопреки тому, чем была "набита" его голова.

— Парижская нота... Где она прозвучала в прошлом? Хотя

бы в нелюбимом мной, очень уж блестящем *Медном Всаднике:* И похоронили ради Бога... Или у Баратынского:

Не ослеплен я музою моею,
Красавицей ее не назовут...

Но парижская нота не получилась. Нельзя выразить то, что не вмещается в словах.

— Еще о Толстом. Кого на самом деле любила Наташа Ростова? Не догадываетесь? Конечно, Анатоля Курагина.

После Рождества 71 года я в последний раз побывал у Г.В. Скосил глаза на черновик с выписанными строчками.

— Прочтите. Но запомнилась только первая строка:

Стихи меня не любят. Я не любил стихов...

Тогда же Г.В. прочел наизусть несколько стихотворений Иннокентия Анненского. Из *Кулачишки:*

Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце и силы дотла —
Чтоб дочь за глазетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

Какая вонзающая в самое сердце иголка: Дочь — горбатая да еще с зонтикам. Верно, мочил петербургский дождик. Как вообще можно писать стихи после Анненского?

Разговор по телефону (Нью-Йорк — Амхерст).

А. (раздраженно): — Думаю о жизни, смерти. Не хотел бы умереть в одночасье. Чтобы осталось дня два-три для размышлений. А раздражился он потому, что не любил говорить о чем-то серьезном.

Юрий Иваск

ПАРИЖСКИЙ ДОЖДЬ
(картина Гюстава Кайботта 1878)

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville.
Verlaine

Ничего особенного. Серый
Самый будничный парижский день.
Зонтики — кривые полусферы.
Что за канитель и дребедень.

Русский мелкий дождик из Верлена —
На цилиндры и на сюртуки.
Разве это жизнь, а не измена.
Где же небо? Руки коротки.

Мера: кошельки. Но не повесят
Никого и непременно зря,
Как еще бывало лет за десять
На сучке прямого фонаря.

Всё-таки рантье... Но почему же
Обывательщину не отдам
Эту именно и даже лужи
За блаженство-благоденство *там*.

Жжется мой Леонтьев, обличая
Скучно-траурного буржуа.
Лучшей жизни не хочу, не знаю:
— Вы-то сами знали, ну-ка — а?

И прощало небо, одаряло.
Проблесками персик и лимон.
Жизни-жисти никогда не мало.
Настоящее — оно не сон.

Глыба дома. Красные колеса.
Олово — не серебро дождя.
И на затаенные вопросы:
Нота водостока, дребежжа.

Это, наше серенькое *это,*
Солнца еле видимый намек —
Почему же лучше Славы света:
Боже, я ответить бы не мог.

Юрий Иваск

ФЛОРЕНЦИЯ

Флоренция! Ты кажешься мне девочкой,
Подростком, выросшим из платьев.
Но век двадцатый, никуда не денешься, —
Берёт тебя в железные объятья.
Ты куришь и летишь на мотоцикле,
Но вечерами — шелестенье юбок.
Что возраст женщины! Какие цифры?
Из полутьмы собора смотришь юно
В наш странный мир — асфальта и стекла.
Флоренция! Спасибо, что была,
Как шорох трав, как розы на груди.
Флоренция! Постой, не уходи!

Татьяна Филановская

Я УНЕС РОССИЮ

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ГЛ. 2. РОССИЯ В ГЕРМАНИИ

"Русский Берлин"

Теперь о русском книжном деле в Берлине. Не моя задача давать какие-то *исчерпывающие сведения*. Я не библиограф. Дам, что могу — некий набросок общей картины. Начну с самого удивительного. Оказывается, в 1926 году в Германии русских книг вышло больше, чем немецких. Об этом мне рассказал мой берлинский издатель (и приятель) А.С. Каган ("Петрополис"). Он издал в Берлине русских книг больше тысячи названий. Под маркой — "Петрополис", "Парабола", "Обелиск", "Гранит" (правда, этот "Гранит" был придуман только для книг "гранитного" Троцкого, вышвырнутого Сталиным на Запад).

А.С. Каган был выслан в числе первых 44-х ученых, писателей, журналистов. Он был проректор Петроградской Сельскохозяйственной Академии (быв. Лесной институт). Вместе с Я. Н. Блохом в Петербурге он вел изд-во "Петрополис". "Петрополис" выпускал много переводной классической литературы, из русской же сборники стихотворений тогдашних выдающихся поэтов (петербуржцев): Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, М.А. Кузмина, Ф.К. Сологуба, О.Э. Мандельштама, Г. Иванова и др. Гумилев, Мандельштам и Георгий Иванов даже литературно увековечили Я.Н. Блоха в "купно" ими написанной шутке:

См. кн. 131, 132, 133 "Н.Ж."

На Надеждинской улице
Жил один
Издатель стихов
По прозванию
Господин
Блох.
Всем хорош
Лишь одним
Он был плох
Фронтисписы очень любил
Блох.
Фронтиспис его и сгубил
Ох!
и т.д.

Так вот, однажды в Берлине близкий знакомый А.С. Кагана Я.Г. Фрумкин (петербуржец, адвокат, народный социалист, приятель Станкевичей, у которых я его часто встречал)* сказал, что в 1926 году в Германии русских книг вышло больше, чем немецких. Фрумкин работал в грандиозном немецком издательстве Ульштейн и мог быть в курсе. Но Каган не поверил ему и они заключили пари. Пари выиграл Фрумкин, показав соответственный номер "Börsenblat der Deutschen Buchhändlers". Думаю, об этом эмигрантском "рекорде" я сообщаю впервые.

Но чтобы читатель представил себе полный размах русского книгоиздания за рубежом, добавим: кроме Берлина русские книги выходили в Париже, Праге, Белграде, Риге, Софии, на Дальнем Востоке, в Южной Америке. Общую цифру "океана" книг русского Зарубежья назвать затруднительно. Желающих попробовать это сделать, отсылаю хотя бы к двухтомной (толстенные тома!) — "Библиографии русской зарубежной литературы (1918 - 1968). Составитель д-р Л. Фостер. Бостон. 1970". Работа эта никак не безгрешна, в ней пропущены ценные книги, есть неверности в именах, ошибки в

*В связи с упоминанием Я.Г. Фрумкина вспоминаю рассказ Станкевича: в Петербурге в каком-то обществе Фрумкин как-то сказал, что П.А. Столыпин человек, конечно, *государственный*, а П.Н. Милюков, при всех своих качествах, *партийный* деятель. Это, говорят, дошло до П.Н. Милюкова и доброго чувства к Я. Г. Фрумкину не вызвало, хотя, по существу, Я.Г. был, вероятно, прав.

псевдонимах.* Но общую картину "бушевания" русской зарубежной книги эта библиография все-таки дает.

Для России (если Россия когда-нибудь *будет,* в чем я далеко не уверен) зарубежная библиотека русских книг — беспримерная, культурная ценность. Да это ценность и мировой культуры! Как же этот вклад удался, как произошел? Полагаю, *по легкомыслию.* Ведь в 20-е годы (главный размах книг) в эмиграции никто не думал — ни монархисты, ни социалисты, ни сменовеховцы, ни евразийцы, ни либералы, ни консерваторы, — что пресловутая ленинская РСФСР превратится в страшный тоталитарный бестиарий, который захватит полмира. Русские политики, мыслители, писатели все (по-разному) веровали, что "большевизм не вечен" и надеялись, что в какое-то прекрасное утро что-то такое прозойдет, что воскресит свободную Россию.** Поэтому *страшность* эмиграции (о чем когда-то хорошо писал Герцен) так остро не ощущалась.

---

* Нет, например, ценнейшего труда генерала ген. штаба Н.Н. Головина "Российская контр-революция в 1917-18 г г.", вышедшего в 12 книгах, как приложение к журналу "Иллюстрированная Россия" (Париж); нет "Воспоминаний" С.Ю. Витте, нет В.Б. Станкевича "Судьбы народов России", нет М. Волошина "Стихи о терроре", нет Г. Ландау "Сумерки Европы", Б. Вышеславцева "Философия преображенного эроса", Г. Плеханова "Год на родине", Б. Пильняка "Красное дерево", нет Н. Соколова "Убийство царской семьи", М. Горького "О русском крестьянстве", нет книг левых эс-эров Штейнберга и Шрейдера. Много пропусков. Есть ошибки в именах, отчествах, псевдонимах. Например, если б я когда-нибудь подписался столь роскошно — "Менестрель" — я бы позднее удавился с тоски. Мне же это приписано, но "Менестрель" (он же "Старый Театрал") это, увы, Борис Яковлевич Шнейдер, писавший в берлинской газете "Голос России", в журнале "Сполохи" и др.

** Когда я думаю об этом теперь, мне кажется, что из видных политических деятелей-эмигрантов, пожалуй, только П. Б. Струве, став правым контрреволюционером, не верил ни в какое "прекрасное утро". Но это только потому, что, автор первого Манифеста РСДРП в России в 1898 году, Струве работал с Лениным и лично *изнутри* знал эту, по его позднейшему определению, "думающую гильотину". "Властолюбие было у Ленина подлинной стихией его существа. Вся его личность была объята этой похотью... Большевизм есть система милитаристического террора, абсолютно несовместимая с самой ограниченной дозой свободы", писал в 1920-х г г. П.Б. Струве. Оттого же после октябрьского переворота, уже смертельно больной Г.В. Плеханов, лежа в постели, часто повторял своим близким: "...пропала Россия... погибла Россия...": он тоже *изнутри* слишком хорошо знал Ленина.

В этом смысле *легкомысленны* были все. А в особенности, эмигрант-обыватель. Он был каменно убежден в своей "чемоданной философии" — "в этом году нет, но в будущем обязательно вернемся!". Так этот обыватель и просидел всю эмиграцию "на чемодане". Ницше говорил, "чтобы быть мудрым, надо быть легкомысленным". Вот неожиданно русские эмигранты и оказались "ницшеанцами".

Самым важным в русском зарубежном книгоиздании было то, что Зарубежье издавало книги, которые запрещались и даже изничтожались в ленинском царстве-государстве. Известно, что после Октября дело *просвещения Руси* Ленин отдал в руки своей жены Надежды Крупской. Эта духовно и интеллектуально весьма ограниченная "первая советская лэди" (грубее — партийная дура-начетчица) издала один за другим три циркуляра исключительно замечательных тем, что они ясно говорили всякому, что "бестиарий начался".

8 ноября 1923 года из Сорренто Максим Горький писал Влад. Ходасевичу, своему соредактору толстого журнала "Беседа", начатого Горьким в 1923 году в Берлине под редакцией М. Горького, В. Ходасевича, А. Белого, проф. Адлера, проф. Брауна: "Из новостей ошеломляющих разум, могу сообщить, что... в России Надеждой Крупской... запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауер, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Ницше, Л. Толстой, Лесков... и еще многие подобные еретики. И сказано: "Отдел религии должен содержать анти-религиозные книги". Всё сие будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой "Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя". Сверх строки мною вписано "будто бы" — сему верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу "Указатель". Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой".

В РСФСР, уже начавшей превращаться в орвелловский "Скотский Хутор", это зверство оказалось *сущей правдой*. Но Максим Горький никакого заявления о "выходе из подданства"

не подавал. Его журнал "Беседа" оборвался. Вскоре Горький воспел почившего Ленина, потом — "золотое сердце" почившего Дзержинского. "Нет, как неожиданна, несвоевременна (!) и бессмысленна смерть Феликса Эдмундовича! Черт знает что!". А в 1929 году по настойчивым приглашениям Сталина шумно, как мировая пролетарская ведетта, въехал из Италии в СССР — на побывку. В 1931-м же году переехал навечно.

В "стране победившего социализма" М. Горький похвалил Соловки (концлагерь), восхвалил и Беломорканал: — "Черти драповые, вы сами не знаете, что сделали!.." Так обратился гуманист Горький к убийцам-чекистам Френкелю, Фирину, Берману, Когану, Рапопорту, Жуку, за которыми "за каждым тысяч по тридцать человеческих жизней".*

Но довольно скоро в путаной голове и путаной душе Алексея Максимовича произошла какая-то осечка. Обнаружилось некое "мелкобуржуазное бузотерство". Тогда его, естественно, заточили под своеобразный "домашний арест" под неослабным присмотром секретаря-чекиста Петра Крючкова. Виктор Серж пишет, что Горький "по ночам плакал". Возможно. Говорят, будто Горький отказывался писать книгу о Сталине и будто даже захотел назад, в солнечное Сорренто. Но тут уж разговор короткий — в 1936 году приставленные к Горькому чекисты отравили его. Заодно отправили на тот свет и его сына Максима. Официально это называется: "Горький был чудовищно умерщвлен бандой фашистских предателей и шпионов"**.

Зато post mortem Сталин разрекламировал Горького хоть куда, как мог! Сталин любил возвеличивать покойников (Фрунзе, Кирова, Маяковского, Горького и др.): *с покойниками спокойнее*. И улица Горького, и город Горький, и литературная премия имени Горького, и колхозы имени Горького, и заводы имени Горького, и памятники Горькому. Только острословие Карла Радека не было осуществлено, Радек предлагал именем Горького назвать всю эпоху — Максимально-Горькая. Полных собраний сочинений Горького в СССР не перечесть, его

---

* А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Т. II. ИМКАпресс. Париж. 1975.

** "Горький. Материалы и исследования" под ред. В.А. Десницкого. Москва. 1941.

переиздаваемых книг не перечислить, хоть в них кое-что и фальсифицировано, что установлено зарубежной русской печатью. Но эка важность фальсификация чего-то в Горьком, когда вся история Россия для советского гражданина фальсифицирована и ничего не случилось.

И все же в Зарубежной России есть одна книга М. Горького, которая никогда не появится в СССР. Это — "Несвоевременные мысли", собрание статей М. Горького из "Новой Жизни", когда он отчаянно сопротивлялся большевизму. Горький писал:

"Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти... Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт... Рабочие не должны позволить авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат..." ("Н.Ж." 7 (20) нояб. 1917). "Народные комиссары относятся к России, как к материалу для опыта... Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву всемирной или европейской революции... Мне безразлично, как меня назовут за это мнение о "правительстве" экспериментаторов... но судьбы рабочего класса и России — не безразличны для меня. И пока я могу, я буду твердить русскому пролетариату: тебя ведут на гибель, тобой пользуются, как материалом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты все еще не человек..." ("Н.Ж." 10 (23) дек. 1917).

От Горького в Зарубежной России осталась эта книга,* "Книга о русском крестьянстве" (изд. П. Ладыжникова, 1922) и шесть томов малоудачного, толстого журнала "Беседа".

Я, к сожалению, не читал циркуляры Надежды Крупской. Библиографически редки. Но убежден, что Достоевский тоже тогда попал в запретные писатели. Помню, Федин и я завтракали в Берлине у Марии Федоровны Андреевой (вторая жена М. Горького, быв. актриса МХТ) и за завтраком М.Ф. рассказала (только нельзя было понять одобрительно или нет, скорее

---

* М. Горький. "Несвоевременные мысли". Составление и примечания Г. Ермолаева. Париж. 1971.

просто — "для информации"), что однажды при ней Ильич, говоря о "Бесах", сказал: "омерзительно, но гениально!". Позже я видел этот интересный отзыв в печати.

Естественно, что большевикам есть за что не любить Достоевского: он их предвидел и предсказал. Но и у меньшевиков Федор Михайлович был не в чести. Когда парижский толстый журнал "Современные Записки", ведшийся редакторами эс-эрами, праздновал выход 50-й книги, берлинский "Социалистический Вестник", ведомый Ф. Даном (Дана Плеханов называл "полуленинцем"), "внес диссонанс в редкий праздник левой эмиграции", упрекая "Сов. Зап." в интересе к вопросам религии и в излишнем внимании к Достоевскому. Долголетний редактор нью-йоркской еврейской газеты "Форвертс" Каган (в молодости русский революционер) говорил: "Меньшевики это маленькие большевики". А Петр Струве — "Меньшевики это те же большевики, но в полбутылках".

В то время как в Сов. России по завету Ильича "Бесы" и "Дневник писателя" за все 60 лет бытия комдиктатуры отдельными изданиями ни разу не выходили, а полное собрание сочинений Достоевского (частичная реабилитация!) началось изданием лишь в 1926 году, в Русском Зарубежье уже в начале 20-х годов появилось полное собрание сочинений Достоевского (изд. Ладыжникова), а "Бесы" и "Дневник писателя" отдельными книгами издавались не раз.

Еще более существенно, что русские мыслители и русские писатели Зарубежья за годы эмиграции создали большую литературу о Достоевском. И не формального или текстологического порядка, а разрабатывая *вглубь* миросозерцание, мысли, идеи Достоевского. Перечислю книги и статьи (те, что знаю): митр. Антоний (Храповицкий) — две книги: "Словарь к творениям Достоевского" и "Достоевский, как проповедник возрождения"; Н. Бердяев — книга "Миросозерцание Достоевского" и статья "Откровение о человеке в творчестве Достоевского"; Б. Вышеславцев — книга "Русская стихия у Достоевского" и статья "Достоевский о любви и бессмертии"; А. Бем — книги "Тайна личности Достоевского", "К вопросу влияния Гоголя на Достоевского", "О Достоевском", сборник статей под ред. А. Бема — "Достоевский — гениальный читатель", "Гри-

боедов и Достоевский", "Пушкин и Достоевский", "Гоголь и Достоевский", "Толстой и Достоевский. Толстой в оценке Достоевского", "Фауст в творчестве Достоевского", К. Мочульский — книга "Достоевский. Жизнь и творчество" и статьи "Положительно прекрасный человек у Достоевского", "Повесть о капитане Картузове" Достоевского"; А. Лясковский — книга "Достоевский"; Лев Шестов — книга "Достоевский и Ницше" и в книге "На весах Иова" две статьи — "Достоевский и блаженный Августин" и "Киркегард и Достоевский"; С. Франк — статья "Достоевский и кризис гуманизма"; Вл. Ильин — статьи "Трагедия Достоевского", "Сверхлогика любви у Достоевского"; прот. Г. Флоровский — книга "Достоевский и Европа", статья "Религиозные темы Достоевского"; мать Мария (Скобцова) — книга "Достоевский и современность"; Е. Лундберг статья "О Достоевском"; Г. Мейер — статьи "Баратынский и Достоевский", "Достоевский и всероссийская катастрофа"; Н. Лосский — книга "Достоевский и его христианское миропонимание", статьи — "Личность Достоевского", "Зло и добро в произведениях Достоевского", "Ермилов и Достоевский"; И. Лапшин — книга "Эстетика Достоевского", статьи "'Братья Карамазовы' Достоевского и 'Красный Кабачок' Бальзака", "Достоевский и Паскаль", "Метафизика Достоевского", "Комическое в произведениях Достоевского"; Ю. Никольский книга "Тургенев и Достоевский".

Это, конечно, совсем не полный список работ по (да простится мне это слово!) *достоевсковедению* за рубежом. Но и он показывает, как русская культура Зарубежья противостояла антикультуре ленинизма. Пророчески верно сказал Д. С. Мережковский в 1921 году в Париже: "Мы не в изгнаньи — Мы в посланьи!". История это подтвердила.

В начале главы я сказал, что в Берлине двадцатых годов было 30 русских издательств. Я ошибся. Их было 40. Многие без определенного политического лица, просто свободные издательства. А некоторые — "с лица необщим выраженьем". Например, — "Скифы". Это — левые эс-эры. О них стоит сказать.

"Скифы" прибыли в Берлин в 1921 году во главе с бывшим наркомюстом И. Штейнбергом и А. Шрейдером. Въехали они в

Берлин шумно, с хорошими деньгами, и сразу — на широкую ногу! — открыли большое издательство, назвав его "Скифы". В этой группе, кроме Штейнберга и Шрейдера, был интересный писатель, критик Евг. Лундберг, был и человек без определенной профессии, по-моему, просто "л.с.р." Бакал, какие-то две очаровательные грузинки, кто-то еще.

Штейнберга я никогда не встречал, о чем жалею, ибо я жаден до всяких людей. Но с Шрейдером, Лундбергом, Бакалом встречался довольно часто. Говорилось, что всех их выслали. Но я так и не понимаю, почему и как их выслали и почему они приехали с такими деньгами — после подавления большевиками левоэсеровского восстания в Москве в июле 1918 года, левые эс-эры ведь оказались "врагами народа". Штейнберг в своих воспоминаниях пишет, кажется, что он "бежал".

Теперь, из прекрасного далека времени, глядя на этих "скифов", надо сказать, что это были по-человечеству хорошие, симпатичные люди (те, кого я знал — Шрейдер, Бакал, Лундберг), но политически, по своему "революционному романтизму", — какие-то несерьезные. Странно, что эта группа "скифов" состояла почти вся из евреев, которые по своему национальному характеру, я думаю, ни к какому "скифству" не должны быть склонны. Больше того, бывший наркомюст И. Штейнберг был ортодоксальный, религиозный еврей, соблюдавший все обряды иудаизма. Как он это увязывал со "скифством", — его "тайна". Шрейдер же, которого я хорошо знавал, наоборот был еврей вдребезги испорченный Россией. "Россия" ведь — великая портильщица характеров. В старой России я знавал и евреев, и армян, и грузин словно вылепленных по Мите Карамазову, вообще по образу российского Савраса без узды. Известный националист В.В. Шульгин осуждает эту стихию в русском характере, называя ее "душевным большевизмом", невозможным на Западе. Думаю, он в чем-то прав.

Александр Шрейдер и кончил в Берлине именно так, по-карамазовски: без ума полюбил художницу Хентову (действительно интересную, "загадочную" женщину, я ее знавал), но, не получив на свою "безумную" любовь ответа, пустил себе пулю в лоб. Евг. Лундберг, с которым я впервые встретился у Станкевичей (он немного писал в журнале "Жизнь"), был, по-

моему, интересным и умным писателем. В Берлине он издал несколько книг. На мой взгляд лучшая — "Записки Писателя". В ней Лундберг тогда рассматривал вопрос, кому в истории русской революции придется "подвинуться" — "плетню или Ленину"? То есть — марксисту ли Ленину или российскому крестьянству с его "плетнем"? И Лундберг приходил, конечно, к выводу, что мужицкий "плетень" вечен и нерушим, а Ленину (хочет он того иль не хочет) придется "подвинуться". Для того времени Лундберг писал очень убедительно. Но, увы, история революции показала, что "Ленин-то" остался недвижим, а "плетень" российского крестьянства просто смели пулеметами и снесли вооруженной силой, уничтожив при этом десятки миллионов людей. Лундберг в 1924 году вернулся в Сов. Россию. Не знаю, "чем кончил", думаю, что концлагерем.

Но перейдем к издательству. Во-первых, "Скифы" сразу же стали издавать лево-эсеровский журнал "Знамя". И выпустили множество книг в большинстве со "скифским" уклоном: А. Блок "Двенадцать" и "Скифы", "Россия и интеллигенция", "О любви, поэзии и государственной службе", Иванов-Разумник "О смысле жизни", "Свое лицо", "Что такое интеллигенция", Н. Клюев "Песнь солнценосца", "Избяные песни", А. Белый и С. Есенин "Россия и Инония", С. Есенин "Триптих", А. Шрейдер "Республика Советов", И. Штейнберг "От февраля по октябрь 1917 г.", Е. Лундберг "От вечного к преходящему", А. Кусиков "Аль Баррак", А. Ремизов "Чакхчыгыс Таасу", К. Эрберг "Красота и свобода", Лев Шестов "Достоевский и Ницше", сборник материалов о ленинском терроре — "Кремль за решеткой", и много другого интересного.

Но кончились "Скифы" очень быстро, по-скифски: деньги все пропустили, Шрейдер (как я сказал) застрелился, Лундберг возвратился, а Штейнберг уехал в Америку. Выпущенные Штейнбергом мемуары для политического деятеля странно несерьезны, но для левых с.р., пожалуй, характерны. Вспоминая октябрьский переворот, Штейнберг пишет: "Тайной политической целью Ленина всегда была диктатура большевицкой партии и ею никогда не был объединенный фронт". Зачем же тогда было идти с Лениным в коалицию, превратясь в "наркомюста"?! "Надо сказать прямо, — пишет Штейнберг, —

мы не сделали всего, что от нас зависело... Мы слишком часто во имя политических или общереволюционных задач (или согласия с большевиками или престижа власти) отмалчивались, бездействовали. Софистикой "интересов революции", как тактическим плащом, мы накрывали больно задевавшие нас вопросы революционной этики и высшей целесообразности..." И объясняет все это Штейнберг для политического деятеля неподходяще — "мы действительно жили *в мире экзальтации*". Он приводит даже фразу из своего выступления 31 января 1918 года: "Своей *моральной непорочностью* революция может взять штурмом весь мир!". Это, конечно, "экзальтация", даже больше чем...

Когда-то Ленин (не без издёвки, по-моему) говорил о левых эс-эрах, что они поддержали октябрьский переворот, войдя в совнарком, "чтобы не войти в историю дураками". Но судьбе было угодно показать как раз обратное. Левые эс-эры вошли в историю *самыми большими дураками*. Ленин накоротке использовал их, а потом главных (да и неглавных) перестрелял почти всех. И партия левых эс-эров приказала долго жить, оставив по себе только странное воспоминание о том, что такое "революционная экзальтация".

Других "партийных" издательств в Берлине не было. Меньшевики издавались в разных издательствах. Только группа правых меньшевиков (потресовцев, плехановцев), издававшая журнал "Заря", выпустила книгу Г.В. Плеханова "Год на родине" (собрание его статей против Ленина из газеты "Единство", 1917 г.).

С "лица необщим выраженьем" были некоторые правые изда: "Медный Всадник", изд-во О. Дьяковой, изд-во Сияльского. "Медным Всадником" руководил Сергей Алексеевич Соколов (Кречетов), в былом второстепенный поэт-символист, в мировую войну офицер, попавший в немецкий плен и сидевший в офицерском лагере вместе с Тухачевским. Когда я писал свою книгу о Тухачевском, я воспользовался тем, что рассказал мне С.А. о Тухачевском в плену. С.А. я встречал у Владимира Пименовича Крымова (писателя, богатого человека, большого дельца), о нем будет особая речь. В "Медном Всаднике" ген. П.Н. Врангель издал свои "Записки" (1916 - 1920). При участии П.Н. Врангеля, герцога Г.Н. Лейхтенбергского и кн. А.П. Ливена здесь издава-

лись исторически ценные сборники воспоминаний под названием "Белое Дело".

Издавал тут свою беллетристику бывший Донской атаман ген. П.Н. Краснов, хотя свой эмигрантский бестселлер — трилогию "От двуглавого орла к красному знамени" — он выпустил в изд-ве О. Дьяковой. Впрочем, П.Н. Краснов был плодовитейший писатель, за рубежом он выпустил около 30-ти книг, так что не обижал ни "Медный Всадник", ни Сияльского, ни Дьякову. Писал атаман размашисто и по старинке, но было бы неверно сказать, что его книги совсем не литература. Нет, П.Н. Краснов умел и мог прекрасно писать, но только о том, *что он знал.* Все его военные картины (бои, парады, военная жизнь) всегда ярки, свежи, живы и, конечно, с большим знанием дела. До сих пор помню его чудесную статью "Казачья Лава" в каком-то военном журнале. Но когда П.Н. Краснов в своей трилогии писал о "мировом масонском заговоре" и выводил эмигранта Ленина-Ульянова под фамилией Бурьянова, это было плоховато.

Вспоминаю, зашел я как-то в "Петрополис". Петрополитяне — Я.Н. Блох и А.С. Каган — в веселом настроении. И Яков Ноевич говорит: "Жаль, что вы не застали, только сейчас тут был Анатолий Мариенгоф* и говорил, что прочел здесь Краснова "От двуглавого орла к красному знамени" запоем. *С большим интересом,* говорит, читал. Мы ему сначала не поверили. Но он вполне серьезно сказал, что считает эту трилогию очень интересной. Я ведь, говорит, как Вольтер, из всех книг не люблю только скучных. Я его спросил, пошла ли бы трилогия Краснова в Сов. России, если б ее выпустили? А он, смеясь, отвечает: Покупали бы, как французские булки!"

Кстати, А. Мариенгофа я знавал по Пензе. Он учился в Третьей Гимназии (весьма неважной), а я в Первой. Щеголял он по Московской улице в черной форме с красными петлицами, это была форма какого-то среднего учебного заведения в Нижнем Новгороде, откуда он приехал. Дружил он в Пензе с семьей с.д.

---

* А. Мариенгоф издал в 1920-х г г. в "Петрополисе" свой "Роман без вранья". Чтоб закрепить авторские права многие советские писатели издавали тогда свои книги сначала заграницей. В "Петрополисе" издавались: Пильняк, Федин, Никитин, Всев. Иванов, Слонимский, Мариенгоф и др.

меньшевика В.Г. Громана, работавшего статистиком в Пензенском Губернском Земстве. Конечно, в те *до-потопные* времена (потоп начался с революции) никто и не знал о каком-то Ленине, каких-то большевиках, меньшевиках. После революции выяснилось, что Громан был лично близок к Ленину. Одно время играл, как экономист, большую роль в ВСНХ. Потом его зверски убил Сталин. Думаю, что погиб и его сын (Сергей, кажется), с которым дружил А. Мариенгоф.

Подлинным художником слова из "правых" зарубежных писателей, издававшихся в "Медном Всаднике", был, конечно, Иван Созонтович Лукаш. К сожалению, недооцененный в эмиграции. Думаю, именно потому, что всегда ходил "в правых". Но, на мой взгляд, под некоторыми его вещами вполне могли бы стоять подписи и Ив. Бунина и А. Толстого. Из книг Лукаша наиболее известны — "Голое Поле" (о Галлиполи), "Дворцовые гренадеры", "Бедная любовь Мусоргского". Всего Лукаш издал книг 12. Многое осталось в журналах.

Из издательств без особого политического лица самыми большими были: изд-во И.П. Ладыжникова, изд-во З.И. Гржебина, "Слово", "Петрополис". Не знаю точных цифр. Думаю, что каждое из них выпустило больше тысячи названий. Уже в 1924 году один библиографический справочник насчитывал 711 названий только классиков, изданных за рубежом (Л. Толстой, Пушкин, Достоевский, Гоголь, Чехов, Тургенев, Гончаров, Лесков, Лермонтов, Грибоедов и др.). В хорошем положении оказались писатели-эмигранты старшего поколения, уже имевшие имена в России. Их произведения (не могшие появиться у Ленина) переиздавались нарасхват: Мережковский, Бунин, Зайцев, Гиппиус, Ремизов, Саша Черный, Ходасевич, Тефи, Бальмонт, Бердяев, Шестов и мн. др. Сразу же пошел в гору в эмиграции М. Алданов, выпустив в "Слове" свои исторические романы. Всего Алданов издал книг 20.

Кроме большого числа художественных произведений "Слово" выпустило ряд ценнейших мемуаров и документальных книг. Перечислять не могу, назову хотя бы несколько: "Воспоминания" гр. С.Ю. Витте, "Переписка Николая II-го с Александрой Федоровной", Н.А. Соколов "Убийство царской семьи". Кстати, Соколова я мальчишкой знавал по Пензе, он был приятелем

моего дяди Сережи (судебного следователя при Окружном Суде). А Соколов был следователем по особо важным делам. Выдвинул его кандидатуру на расследование убийства царской семьи (и выдвинул очень удачно) тоже наш пензяк Юрий Яковлевич Азаревич, морской офицер, бывший тогда у белых в Сибири. Воспоминания Ю. Я. Азаревича напечатаны в "Архиве русской революции".

Кроме большого числа мемуарных и документальных книг редактор изд-ва "Слово" И.В. Гессен выпустил 23 толстенных тома большого формата "Архива русской революции", исключительно ценных для истории революции. Без множества подобных (сотен!) книг, вышедших за рубежом, история революции так бы и осталась фальсифицированной большевиками.

Среди больше чем тысячи названий книг "Петрополиса" отмечу тоже только некоторые: первое полное собрание сочинений И. Бунина (с "Окаянными днями", конечно!), сборник посмертных стихотворений расстрелянного Н.С. Гумилева, сборники стихов Кузмина, Мандельштама, запрещенное в РСФСР "Красное дерево" Б. Пильняка, "Моя жизнь" высланного Л. Троцкого. Больше не перечисляю, оставляю библиографам. Скажу только, что "Петрополис" в Берлине начал издавать еще журнал "София" под ред. Н. Бердяева, посвященный вопросам духовной культуры и религиозной философии. Сотрудниками были высланные из РСФСР профессора: Л. Карсавин, С. Франк, И. Лапшин, Н. Лосский, Б. Вышеславцев и др. К сожалению журнал скоро оборвался.

Изд-во З.И. Гржебина выпустило множество книг художественной прозы и стихов (как классиков, так и современных писателей): весь Горький, А. Ремизов, Н. Минский, В. Ходасевич, С. Есенин, Б. Пастернак, Ф. Сологуб, П. Муратов, обрываю перечень. Из политической мемуарной литературы: "Записки о революции" Н. Суханова в 7 томах, "Записки социал-демократа" Ю. Мартова, "Записки социалиста-революционера" В. Чернова, "Годы побед и поражений" В. Войтинского, "В дни революции" Ф. Дана, "Год интервенции" М. Маргулиеса, "Из моих воспоминаний" Н. Русанова, "Пережитое и передуманное" П. Аксельрода и др. Кроме того, у Гржебина выходил

исторический толстый журнал "Летопись революции", в котором большое участие принимал Б.И. Николаевский. Обрываю перечень.

Дам теперь список русских издательств в Берлине, о которых еще не упоминал: "Мысль", "Знание", "Грани", "Кооперативное изд-во" (книги по русской кооперации), "Русское Художественное изд-во" (журнал "Жар-Птица"), "Русское Универсальное изд-во", "Литература", "Геликон" (сборники стихов Цветаевой, Пастернака и др.), "Манфред", "Эпоха" (первое собрание сочинений А. Блока, толстый журнал "Беседа" и др.), "Возрождение", "Русское творчество", Изд-во А.Г. Сыркина, "Огоньки", "Восток", Изд-во Е. Гутнова, "Аргонавты", Изд-во А.Ф. Девриена (книги по естествознанию и сельскому хозяйству), Изд-во Отто Кирхнера (Северянин, Бухов, Ершов и др.), "Детинец", "Нева", Изд-во С.Д. Зальцмана, "Книгоиздательство Писателей" (М. Волошин "Стихи о терроре" и др.), "Век культуры", "Заря", "Сотрудник", "Вальтер и Ракинт" (художественные книги), "Русское творчество", "Политехническое изд-во" (техническая литература), "Пироговское изд-во" (медицинские книги)... Что-то, вероятно, пропустил, но обрываю. Чтобы дать читателю хотя бы приблизительную картину русского книжного дела в Берлине 20-х гг. — этого достаточно.

Добавлю перечень повременных изданий. Газеты. "Голос России", ежедневная, безпартийная, демократическая газета под ред. С.Я. Шклявера, позже, ненадолго, перешла под ред. В.П. Крымова, потом под ред. С. Полякова-Литовцева (тогда с участием П.Н. Милюкова) и наконец ее купила группа эс-эров, газета переменила название на — "Дни" и редактором ее стал А.Ф. Керенский, сотрудниками — В. Зензинов, В. Лебедев, С. Постников, Н. Воронович, из писателей — М. Алданов, М. Осоргин и др. Вторая ежедневная газета — "Руль" под ред. И.В. Гессена, В.Д. Набокова, А.И. Каминка. Из сотрудников — Ю. И. Айхенвальд (псевдоним — Кременецкий), известный еще в России публицист Александр Яблоновский, который за ее "любовь пчел трудовых" назвал Александру Коллонтай "теткой русской проституции", Ю. Офросимов, В. Сирин (будущий В. Набоков), из одной статьи которого я так навек и запомнил

фразу, что Сов. Россию "надо презирать дрожаньем ноздрей"; я никак не мог понять как это "технически" делается. Третья ежедневная газета была сменовеховская — "Накануне" под ред. проф. В.Ю. Ключникова, Г.Л. Кирдецова при участии проф. С.С. Лукьянова, Б.В. Дюшена, Ю.Н. Потехина. О ней я расскажу особо. Еще выходила еженедельная бульварно-"желтая" газета "Время" под ред. Г.Н. Брейтмана, большого друга и выручателя всей нашей кучки — Офросимова, Иванова, Корвин-Пиотровского, меня. Когда нужно было перехватить несколько марок, Г.Н. всегда выручал. Кроме эмигрантских газет в Берлине выходила тогда ежедневная коммунистическая русская газета "Новый Мир" — зитц-редактором ее был немец Курт Керстен, а издавалась она советским полпредством.

Журналы. "Жизнь" (о ней говорил), "Новая Русская Книга" (говорил), "Социалистический Вестник" (говорил), "Знамя Труда" (говорил), "Заря" под ред. Ст. Ивановича (Португейса), орган правых меньшевиков-плехановцев, историко-литературные сборники "На чужой стороне" (народные социалисты: С. Мельгунов, В. Мякотин, Т. Полнер и др., позднее издание перешло в Прагу), "Рабочий Путь", орган русских анархо-синдикалистов под ред. Г. Максимова, М. Мрачного, А. Шапиро, Х. Ярчука, "Сполохи", литературный журнал под ред. А. Дроздова, "Жар-Птица" литературно-художественный, иллюстрированный ежемесячник, издатель А.Э. Коган (до революции издатель "Солнца России"), литературный редактор Саша Черный, художественный — худ. Г. Лукомский, "Русский Эмигрант", двухнедельник легкого чтения под ред. Б. Оречкина и И. Грязнова, "Музыка", журнал посвященный вопросам музыки, ред.-изд. А.Р. Гурвич, секретарь Н.Д. Набоков, будущий композитор, "Вещь", журнал конструктивистов под ред. худ. Эл Лисицкого, "Эпопея", литературный ежемесячник под ред. А. Белого, "Беседа", журнал литературы и науки, основанный М. Горьким (уже упоминал), "Русский Экономист" под ред. А. Гана, "Русская Правда", национально-монархический орган под ред. С. Соколова с участием П. Н. Краснова, "Вестник Самообразования", "Русский Инженер" (орган Союза Русских Инженеров)... Обрываю. Тоже, может быть, что-нибудь пропустил, но — достаточно. Да, конечно, пропустил один интересный иллюстрированный журнал — "Театр и жизнь" с

подзаголовком: "Журнал посвященный пропаганде русского сценического искусства заграницей." Редактор-издатель Е.Ю. Грюнберг. В числе сотрудников указаны: "Н. Агнивцев, Д. Буховецкий, М.Н. Германова, барон Дризен, В.И. Качалов, О.Л. Книппер, А. Левинсон, А. Койранский, Г. Лукомский, С. Маковский, А. Моиси, В. Дм. Набоков, П. Пильский, А. Плещеев, Макс Рейнгардт, Лев Урванцев, А. Ксюнин, Ю. Офросимов и др.". Эмигранты тут густо перемешаны с москвичами и знаменитыми иностранцами.

Русская политическая периодика в эмиграции шла от монархистов справа до анархистов налево, через эс-эров, эс-деков, эн-эсов, кадетов, сменовеховцев и др. А журналы по искусству — от "мирискусников" "Жар-Птицы" до конструктивистов "Вещи".

Перейдем теперь к русской музыке и русским театрам в Берлине.

/Продолжение следует/

Роман Гуль

ТОЛСТОЙ О НАУКЕ

(ВОСПОМИНАНИЯ)

Эту статью Ивана Ивановича Раевского мы получили от его дочери А. И. Шуваловой (рожд. Раевской), за что приносим ей нашу благодарность. А.И. сообщает, что И.И. Раевский написал ее в конце 20-х гг., за два года до смерти в 1930 году в Москве. Рукопись этой нигде не напечатанной статьи А.И. получила сравнительно недавно. РЕД.

Всякие воспоминания о Толстом, всякое освещение той или иной стороны его миросозерцания и его духовного образа, изложенные человеком близко его знавшим, имевшим общение с ним, даже при неполноте и отрывочности описания и субъективности взгляда и суждения, имеют некоторую ценность при условии правдивости и искренности.

Волею судьбы я, как мало кто из ныне живущих, близко знал и имел частое общение с Толстым. Отец мой, Иван Иванович Раевский, был одним из самых близких друзей Толстого еще с молодых лет; в особенности же близко сошлись они под конец жизни моего отца. Это было в 1891 году, тогда голодном году, когда они, живя в бывшем имении моего отца (Бегичевка, Рязанской губ.), вместе провели в жизнь тот, предварительно выработанный моим отцом, способ борьбы с голодом, охватившем тогда более 30 губерний, получивший потом широкое распространение в России и сводившийся к устройству в крестьянских избах столовых, где кормились, главным образом, дети и слабые члены семьи по выбору и назначению крестьянских обществ. Это известно всем, кто читал

статьи Толстого о голоде и помощи голодающим, об этом упоминается и в литературе о Толстом.*

Начало моего близкого знакомства с Толстым относится к 1889 году, когда я, будучи студентом и товарищем сына Толстого, Льва, был в числе прочей многочисленной молодежи, съехавшейся на Рождественские каникулы в Ясную Поляну. Замечу, что от станции пришлось ехать в маленьких санках, имея кучером Льва Николаевича; он часто любил выезжать на станцию за почтой или чтобы встретить гостей и самому править лошадью.

С особым чувством вспоминается за это пребывание в Ясной Поляне любезно-ласковое и внимательное отношение Толстого к нам, молодежи: он часто принимал участие в наших играх, в особенности подвижных играх. Порой он занимал нас чтением вслух; с удовольствием мы слушали в его чтении рассказы Слепцова, юмор которого Толстой очень ценил. Особенно мастерски читал Толстой, я помню, рассказ Чехова "Драма", где в заключении литератор убивает ударом преспапье читающую ему свое драматическое произведение даму. Последние слова: "присяжные оправдали его" Толстой едва мог прочесть от неудержимого до слез смеха.

Тогда в Ясной Поляне, по инициативе дочери Толстого Татьяны Львовны, затеяли играть спектакль и Толстой согласился для нас обработать заброшенную им, когда-то начатую комедию "Исхитрилась", которая постепенно и превратилась в "Плоды просвещения".

Следует заметить, что в этом первом представлении "Плодов просвещения" принимали участие некоторые уже опытные любители, хорошо игравшие; мы все, молодежь, впервые участвовавшие в спектакле, играли в общем слабо; исполнение же ролей кухарки дочерью Толстого Марией Львовной и 3-го мужика В. М. Лопатиным, ныне артистом Художественного театра Михайловым, было настолько блестяще, что вряд ли где-либо и когда-либо эти роли могли быть исполнены

* См. Полн. собр. соч. Толстого. Воспоминания гр. А.А. Толстой. Биография Бирюкова.

лучше; Лопатин несколько опоздал приездом в Ясную Поляну, Толстой так восхитился его игрой на репетиции, что тут же увеличил, насколько мог, роль 3-го мужика и говорил Лопатину: "Вот я осуждал Островского, что он пишет роли на актеров, а теперь понимаю, вы нам объяснили моего 3-го мужика". Хотя Толстой в то время не особенно серьезно относился к этому своему произведению (известно, что комедия уже после постановки в Ясной Поляне подверглась значительной переработке: были вставлены новые действующие лица, как старый повар, артельщик от Бурьде, новые явления и целые сцены, какова, напр., сцена разоблачения обмана Тани в последнем действии), всё же пришлось быть свидетелем, с какой тщательностью Толстой обрабатывал свои произведения и удивляться его работоспособности. Иной раз он брал к себе часа на два заново переписанный текст комедии и так весь его перемарает и переделает, что не перепишешь его потом совокупными силами за целый день. Порой он подходил к нам, когда мы переписывали свои роли и, стоя за спиной и отняв из руки перо, перегнувшись через наше плечо, зачеркивал написанное, изменял фразу, или вставлял какое-нибудь новое слово, причем иногда становилось совершенно ясно, почему нужно было сделать ту или иную поправку или вставить именно данное слово, в другой раз это оставалось совершенно непонятным.

Помню, как гораздо позднее, уже в 1899 году, пришлось видеть корректурный лист романа "Воскресение", присланный редакцией. Было то место, где Толстой описывает, как в жаркий июльский день ведут по городу арестантов, один из них падает от солнечного удара и Нехлюдов подходит к группе лиц, столпившихся около упавшего; в числе этих лиц у Толстого стоял "продавец с апельсинами", Толстой зачеркнул его и поставил "почтальон" и во всем листе никаких других поправок не сделал. Почему почтальон лучше, чем продавец апельсинов, для читателя остается неясным.

Роман "Воскресение", кстати сказать, писался Толстым при исключительно неблагоприятных условиях. Известно, что роман печатался впервые в журнале "Нива" за 1899 год. Толстой, еще не отделав окончательно романа, поспешил запродать его в конце предшествовавшего года издателю "Нивы" Марксу с тем, чтобы

полученные деньги отдать духоборам на переселение в Америку. Роман печатался в каждом номере "Нивы", Маркс посылал Толстому корректурные листы, Толстой их иногда задерживал, порой, сделав поправки и отослав корректуры, вновь требовал их к себе телеграммой, что вызывало перерыв в напечатании романа. Маркс торопил Толстого и Толстой писал как бы под хлыстом, как не писал и не печатал ни одно из своих произведений, что несомненно отразилось на некоторой скомканности романа, местами на недостатках в описании, как, напр., описание пребывания Нехлюдова в Кузьминском и сцены с мужиками, являющиеся прямо слабыми для Толстого, мало его напоминающими, что, как нам кажется, следует объяснить не ослаблением с годами таланта, в полном блеске проявлявшегося в других местах, а именно этими неблагоприятными условиями работы.

В те голодные 1891-92 годы, когда мне пришлось подолгу жить с Толстым, неоднократно приходилось слышать суждение Толстого о художественном творчестве. Помнится, что он говорил, что главная задача и труд писателя заключается в возможной краткости изложения, в удалении ненужных подробностей в "Elimination du superflu", как он это любил выразить по-французски, к этой постоянной отделке, напоминающей собой, как он говорил, добывание золота промывкой; помнится, что он упрекал Тургенева за излишнее, по его мнению, описание в "Песне торжествующей любви" лечения Муция китайцем, описание его выздоровления и отъезда, считая, что это лишь ослабляет впечатление убийства. Это чувство меры он всегда особенно любил отмечать в талантах, помню, как его восхищал этим Мопассан в большинстве своих рассказов; Толстой его очень ценил и осуждал Лескова, у которого не находил этого чувства в желательной мере; наиболее же характерным, неотъемлемым признаком настоящего таланта Толстой считал совершенную невозможность описывать то, чего не видишь ясно во всех подробностях перед своим духовным взором; так сам он, начав писать "Хозяин и работник" и скоро его закончив, больше года не отдавал в печать потому, что никогда не видел замерзшей лошади и только когда нашел человека, рассказу которого вполне доверял, он вставил, что лошадь исхудала за ночь так,

что остались лишь кожа да кости, стоит вся белая, прижав голову к кадыку, ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и обмерзли слезами — только тогда он отдал рассказ в печать. Помню, как Толстой ставил в упрёк Короленко, что он в своем рассказе "Светлая ночь" описывает бегство арестанта из тюрьмы в момент начала Пасхальной заутрени при лунном освещении, которого никогда в это время быть не может.

На философском учении Толстого, представляющем особую систему нравственной философии, на так наз. "толстовстве" я останавливаться не буду, ибо должен признать, что не уясняю себе как следует этого учения, хотя и интересовался им и читал многое из того, что о нем писалось раньше, а также и то, что пишется и говорится о нем и до сих пор. Мне кажется, что это учение еще ожидает своего полного истолкования; последователи Толстого, так называемые толстовцы, его, по-видимому, не понимали вполне, по крайней мере, существует статья, написанная Толстым "Против толстовства". Правда, что заглавие это дано издателем Горбуновым-Посадовым и статья представляет собой выписку из дневника Толстого, но если нашлись в дневнике Толстого страницы, которые можно озаглавить "Против толстовства", то это как будто ничего другого не может значить, как то, что Толстой находил, что так называемое толстовство не есть в точности то, чему он учит. Припоминается мне, что в то время, когда Толстой жил у нас в Бегичевке, к нему приехали с Кавказа его последователи, основавшие там толстовскую общину. Сама идея организации общины и рассказы о том, как сложилась жизнь её членов, их самих как будто мало удовлетворявшая, не встретила одобрения и со стороны Толстого. Впоследствии, в письме к представителям Толстовского общества в Манчестере* Толстой писал: "Я допускаю, что существует некоторая выгода в соединении людей одинаковых мыслей в общества, но думаю, что невыгода таких организаций гораздо значительнее, чем их удобства".

Вообще, относительно очень многих из почитателей и последователей Толстого, которые при жизни Толстого носили в его семье общее собирательное название "темных", можно, как нам

* См. Полн. Собр. Соч. Толстого под редакцией Бирюкова т. XVIII.

кажется, высказать следующую мысль: эти почитатели, будучи сами по себе людьми незначительными, малоодаренными и малокультурными, не только не содействовали распространению в русском обществе верного взгляда на идеи Толстого и на то, что в них было несомненно истинного, но усвоив, главным образом, лишь внешнюю сторону учения Толстого, они, как примером своей личной жизни, так и тем, что не воздерживались от того, чтобы проповедывать идеи своего учителя, уподобились, по отношению к Толстому, Валааму, с тем различием, что, желая произнести благословение, произносили проклятие. Толстой сам говорил: "Толстовцы — это всего менее понимающая меня секта".

Будучи малоначитанным в науках права, малообразованным философски и совершенно невежественным в богословии, я остановлюсь подробнее на отношении Толстого к науке.

Существует, и не без основания, убеждение, что Толстой отрицательно относился к науке, убеждение, на мой взгляд, всё же основанное на недоразумении. Толстой, как известно, с молодых лет увлекался идеями Руссо о вреде культуры и просвещения. Прожив большую часть своей жизни в деревне, он горячо любил крестьянский трудовой народ, любил его жизнь и миросозерцание, находил возможным и сам у него учиться жизни. Кроме того, Толстой считал особенностью своего таланта, а потому и своим призванием проповедывать религиозное единение людей, распространение и укрепление в людях религиозных и нравственных знаний, к этому и сводилась, как это говорит биограф Толстого Бирюков, вся его многолетняя, кипучая деятельность. Добавим, что, по нашему мнению, за последние 25 лет он проповедывал не религиозное, а нравственное учение. Эту свою деятельность Толстой заканчивает, как известно, составлением "Круга Чтения", книгой, сплошь состоящей из афоризмов и изречений великих мыслителей всех времен и народов в области нравственной философии. Знание, как достигнуть этого единения людей, он и считал тем воистину насущным хлебом, который требуется человечеству, той наукой всех наук, которую, как говорил он, в особенности и требует простой разумный трудовой человек и которой он зачастую владеет в большей мере, чем человек образованный. Эту науку он

сравнивал с ножом, от века лежащим среди человечества, и вот, говорил он, приходили люди от Конфуция до Христа и оттачивали этот нож. "Я не хочу сказать, добавлял Толстой, что его нельзя отточить острее, но вот за 1900 лет этого никто не сделал". Эта наука и подлежит обязательному изучению и представляет из себя несомненное и необходимое знание; и по сравнению с этой наукой все прочие науки дают незначительное знание.

В особенности резко и определенно высказывается он против науки в известной сказке об "Иване-дураке и Дьяволе" и в предисловии к статье Карпентера "Современная наука", статье, кстати сказать, ничего особенно нового не говорящей.* Наиболее интересную мысль в ней, заключающую известный афоризм Гете — "Man weisst eigentlich, was man wenig weisst, mit dem Wissen wächst der Zweifel."** — выражает мысль Карпентера в нескольких словах. Толстой использует эту статью, чтобы особенно сильно высказаться против чистой науки, "науки для науки" в угоду всё тому же единому на потребу. Все эти писания и мысли Толстого то вскользь, то с особенной настойчивостью им высказываемые в его произведениях и создали совершенно неправильно, на мой взгляд, суждение и убеждение, что Толстой безусловно отрицательно относится к науке, суждение, которое академик Старков резюмирует следующими словами: "Толстой ворвался в храм науки и нашел его мертвым, безбожным, бесчеловечным, бездушным и рабским, потряс и с силою поколебал колонны и этот храм и все истуканы, стоявшие в нем, рухнули, и новый свет, свет любви к человечеству ворвался в это тысячелетнее здание".***

На самом деле, конечно, никакого храма науки Толстой не разрушил и разрушить не мог и храм также твердо стоит на

---

* Карпентер много говорит о временном значении научных гипотез, в чем никто никогда не сомневался, высказывается, что вид (в зоологии) есть отвлеченное понятие, что гораздо раньше его и более убедительно и научно доказано профессором Усовым в его диссертации "Таксономические группы и единицы"; говорит о ненаучности наук юридических, что также не ново и прочее.

** Мы знаем собственно то, что мало знаем, с углублением знаний возрастает в нас сомнение.

*** См. ак. Старков: "Лев Толстой и наука". Сбор. Толстой и о Толстом изд. Толст. Музея 1924 г.

своих устоях, как стоял и будет стоять. Но на наш взгляд, Толстой этот храм не разрушил и для самого себя. Всякий, кто имел случай беседовать с Толстым о науке, слышать, наблюдать его отношение к новым завоеваниям науки, к научным теориям, мог твердо в этом убедиться. Толстой, помню, и сам говаривал о непонимании людьми его отношения к знанию и науке. "Ведь вот как меня иногда понимают", говорил он: "Толстой не велит ничему учиться, а велит землю пахать".

Правда, что Толстой не обладал научным складом ума, он помимо громадного таланта обладал в высшей мере тем ясным, трезвым, простым умом, столь характерным для русского умного мужика, на которого он так походил физически, в особенности в старости. Известно также, что в ранней молодости ум Толстого никогда не подвергался систематической и строгой научной дисциплине. Толстой не окончил ни средней, ни высшей школы, но Толстой был не только просто образованным, но и широко образованным человеком, часто общался с людьми науки, имел и друзей среди них, а потому имел и не мог не иметь представление о многих науках, живо интересовался достижениями науки и имел свою, выработанную для себя классификацию наук по степени их, так сказать, научности. В особенности сведущ и начитан был Толстой в области философии, богословии, истории культуры, религии и западных литератур. Владея в совершенстве тремя иностранными языками, он придавал большое значение знанию языков для чтения художественных произведений в подлиннике. Толстой считал, что понять дух народа без знания языка невозможно. Он сам в 50-летнем возрасте изучил древнегреческий язык, которого раньше не знал, настолько, что свободно читал Гомера и, экзаменуясь у известного в то время филолога Леонтьева, поправил его в сделанной им ошибке в переводе на греческий язык; изучил и древнееврейский, чтобы читать библию и уяснить себе точный смысл различных текстов путем сравнения их на разных языках; занимался Толстой и филологическими исследованиями русского языка; известны многочисленные, данные Толстым объяснения значений различных приставок к корням слов. Над иными филологическими изысканиями и ухищрениями в объяснении слов Толстой порой любил и поглумиться.

Так, помню, он рассказывал, что известный в свое время профессор русского языка Буслаев так объяснял стих одной древнерусской свадебной песни — "и метали в воду венцы кугиные": венцы — это значит — кольца, кугиные — это — кугиные, кугунные, цугунные, чугунные; между тем как Буслаеву, очевидно, было не известно, что слово "куга" есть очень распространенное в Средней России название осоки и метать в воду венцы кугиные, значит — бросать на воду венки, сплетенные из осоки.

К большинству наук гуманитарных Толстой относился отрицательно, так все науки юридического цикла он считал науками выдуманными и принесшими человечеству больше вреда, чем пользы. Отношение Толстого к истории известно; считая ход исторических событий предопределенным, он до минимума низводил роль и значение исторических личностей в ходе истории и если его что и интересовало в истории, то скорее изучение того, как в зависимости от особенностей духовного склада народа со сменою поколений меняются его идеалы и верования. С большим интересом читал он, помню, появившееся в 90-х гг. сочинение Гастона Буасье "Падение язычества". Математику он считал за прекрасную гимнастику ума, очень любил отмечать в людях математический склад ума, считая его в особенности приятным; понимал по Канту значение математического анализа в физических науках, любил математику, но особенно большими способностями к математике не отличался. Не без труда усвоив решение какой-нибудь интересной по заданию задачи, он с удовольствием сообщал её всякому, кто её не знал. Но в особенности нравились Толстому различные упрощенные приемы исчисления и вычисления, вытекающие из столь свойственной русскому уму математической сметки, той особой смекалки, благодаря которой крестьяне русской деревни с совершенно достаточной для практических целей точностью разбивают на клинья поля на участках земли самой неправильной геометрической фигуры, а плотники и бондари определяют радиус кривизны звеньев для чана с круглым или эллиптическим дном любого размера.

Проведав как-то про особый упрощенный способ счета до 100 на пальцах, Толстой с особым удовольствием обучал ему детей и подростков; в Толстовском музее есть фотография,

изображающая Толстого за обучением этому своих внуков. К физическим наукам, к естествознанию в широком смысле слова Толстой всегда относился с интересом, в чем нередко мне приходилось убеждаться. В те годы, когда я особенно часто общался с ним, я был студентом естественного факультета московского университета, Толстой в известной мере интересовался моими занятиями, как занятиями сына своего друга, распрашивал иногда меня о них и мне, будучи слушателем таких крупных представителей русской науки, как Сеченов, Тимирязев, Столетов, Мензбир, удавалось рассказать ему новое и интересное. При этом Толстой очень восхищался и глубиной мысли и остроумием как различных теорий, гипотез и обобщений, так и искусством в постановке опытов. Помню, напр., как ему нравилась теория Гельмгольца, объясняющая неистощающуюся тепловую энергию солнца указанием на то, что источник тепла лежит в самом процессе остывания солнца, вызывающего его сжатие; подробно расспрашивал Толстой о блестящих опытах Тимирязева по спектральному анализу хлорофилла; в особенности же, помню, нравилось ему, как согласно с теорией Дарвина выходит, что плод фруктового дерева, долженствующий лишь служить пищей животному и человеку, этим самым является полезным приспособлением для самого растения в процессе размножения, так как становится съедобным лишь тогда, когда в нем заключенные семена облекутся непереваривающейся в желудочном соке пленкой; здесь в особенности радовал Толстого тот вывод, что плоды и только плоды являются пищей, ни в какой мере не связанной с уничтожением жизни в какой-либо ее форме, а лишь ей содействующей, а посему единственной воистину безгрешной пищей для человека. Все более или менее крупные явления в науке и новые открытия его живо интересовали; помню, как он интересовался известной речью Дюбуа-Раймонда о пределах естествознания и его радовало заключительное слово: "ignorabimus".

Заинтересовавшись опытами с жидким воздухом, он просил бывшего приват-доцента Московского университета А.В. Цингера показать ему их*, очень восхищался опытами

* См. А.В. Цингер "В Москве у Толстых". Международн. альманах о Толстом.

замораживания и интересовался и просил разъяснить ему теоретическую сторону вопроса получения низких температур и сгущения газов. Посетив отстраивавшийся близ Ясной Поляны чугунно-плавильный завод, он, помню, с большим увлечением рассказывал об устройстве доменной печи, которую ему показывали, и о выплавке чугуна, восхищаясь как совершенством техники, так и научной теоретической разработкой вопроса. В общем, под словом "наука" Толстой собственно разумел только естествознание в широком смысле этого слова, взгляд довольно распространенный, которого придерживался, например, и Тимирязев, в свою очередь разделявший взгляд Пастера. Во взгляде же на место, занимаемое наукой в духовной жизни человека, он уже резко расходился с Тимирязевым. Здесь он ближе подходит к взгляду, который лучше можно формулировать словами, сказанными известным в свое время профессором математики Московского университета В.Я. Цингером, бывшим и одним из самых выдающихся русских ботаников. Это проф. Цингер сказал в своей речи на общем собрании IX Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве в 1894 г. Толстой был на этом заседании, я был в числе студентов, помогших Толстому проникнуть в зал и, когда после закрытия собрания мы вместе вышли из зала и шли пешком домой, Толстой шел и приговаривал: "Ах, какой молодец Цингер, Цингер-то какой молодец!"

На мой вопрос, согласен ли он с оратором во взгляде на науку, он, особенно подчеркивая, повторил: "Ах, да как же, конечно, да это нельзя иначе и думать". Профессор Цингер в конце своей речи, озаглавленной: "Недоразумения во взглядах на основания геометрии", говорит: "...если возможны недоразумения и заблуждения даже и в такой простой области познания, как науки математические, то в разнообразной и сложной области естествоведения для мысли представляется, без сомнения, еще более опасным попасть на ложный путь неправильных выводов и незаконных обобщений", и заключает свою речь так: "Наука и истинное знание не должны быть рабами опыта, они должны над ним господствовать и заставлять его служить своим задачам". "Верно то, что наука должна руководиться не материальными, а идеальными стремлениями, но еще вернее то, что она основы-

вается на идеальных началах". "Высшие качества науки это ясность, простота и искренность или добросовестность мысли, светоч науки — это идеал истины". "Но наука есть только одна из сторон духовного бытия и жизни человека, тот же идеал истины является с других сторон, то как идеал красоты и гармонии, то как идеал добра и чести, правды и человеколюбия, это один и тот же идеал — тот, перед которым мы все без различия возрастов и положений, без различия взглядов и убеждений, без различия заслуг и талантов благоговейно преклоняемся, как перед идеалом божественной мудрости и любви".*

Во взгляде Толстого на работу ученого на пути к достижению истины можно найти много сходного со взглядами самых крупных представителей науки. Ньютон говорил: "Я не знаю, что обо мне думают люди, самому себе я представляюсь как бы мальчиком, который играл на берегу моря, забавляясь, когда найдет гладкий камешек или красивую раковину, меж тем как обширный океан истины, который я никогда не изведаю, лежал передо мною". Эти ли слова не напоминают порой высказываемое суждение Толстого о роли и работе ученого. Основные законы природы, представлявшиеся, можно думать, Толстому так же, как Эрстеду** мыслями Божьими, казались ему для человеческого гения недоступными или в той же мере достижимыми, как достижимою является длина окружности для прогрессивно возрастающего периметра, вписанного в круг многоугольника. Если бы в его время появилась теория относительности Эйнштейна, в дебри которой Толстой не смог бы, да и не пожелал бы наверное, углубиться, эта теория одной возможностью своего появления и тем вниманием, которое оказал ей ученый мир, доставила бы Толстому, как нам думается, немало удовольствия как теория, подвергающая сомнению дотоле, казалось бы, раскрытые и незыблемо установленные законы природы. Для Толстого оставались незыблемо установленными лишь законы человеческого духа, его совести, которые для него совпадали с христианством, как он его понимал.

В итоге нам представляется, что всякий, кто, интересуясь

---

* См. Журнал "Философии и психологии". Март 1894 г.

** Датский физик начала 19-го столетия.

отношением Толстого к науке, имел случай слышать его суждения, беседовать с ним, никоим образом не мог бы согласиться с мнением, подобным мнению академика Старкова, что Толстой отрицал науку. А должен бы был прийти к заключению, что отношение к науке Толстого, порой противоречащее отношению к ней людей науки, есть малоразработанная область миросозерцания Толстого и в суждении о науке Толстой зачастую сам себе противоречил.

Эти противоречия и определили собою то, что люди науки не интересовались и игнорировали взгляд Толстого на науку. В самом деле одно увлечение статьей Карпентера (а Толстой несомненно ею увлекался, ибо в некоторых изданиях его сочинений эта статья приводится целиком) доказывает с несомненностью, как далеко стоял Толстой от истинного взгляда на значение и назначение науки.

Исходной мыслью, на которой Карпентер строит всю свою аргументацию осуждения современной науки, является утверждение, что, по мнению людей науки, законы науки суть вечные истины. Положение, с которым, конечно, ни один ученый согласиться не может, ибо всякий ученый скорее разделит взгляд прямо противоположный. Только "Pour un observateur superficiel la verite scientifique est hors des attaintes du doute", говорит H. Poincarre в своем трактате "'Science et hypothese".*

Не трудно опровергнуть и то утверждение Толстого, которому он также находит себе поддержку в статье Карпентера, что научные истины потому не заслуживают внимания, что то, что считалось якобы доказанным и неопровержимым в науке, вскоре оказывается заблуждением. Кто же из людей науки не согласится с тем, что на историю науки, в частности на историю естествознания, можно смотреть как на историю заблуждений человеческого ума в стремлении объяснить себе природу и ее явления и что этим нисколько не умаляется ни значение науки, ни значение трудов людей науки. Наука непрерывно открывает всё новые и новые пути исследования, опровергает сегодня то, что казалось прочно установленным и неопровержимым вчера, и

* Поверхностному наблюдателю научная истина кажется стоящей вне сомнения.

когда люди науки натыкаются на противоречия и убеждаются, что они вынуждены усомниться в том, в чем они не сомневались, то это не только не огорчает их, но только радует. "Ne craigniez jamais les faits contraires, car chaque fait contraire est le germe d'une decouverte".* учил Клод Бернард своих учеников. У Толстого мы часто встречаем выражение: "по учению науки" принимаемое им, очевидно, за нечто незыблемое и неподвижное.

Но что касается возможности для науки установить вечные истины, проникнув в глубину всех тайн природы, то наука устами наиболее крупных своих представителей произносит свое "ignorabimus" и при том, не признаваясь в своей немощи, а именно в сознании своей мощи, как это делает завоеватель, обозревая границы отвоеванной им области; с этого сравнения и начинает Дюбуа Реймонд свою знаменитую речь о "пределах естествознания".

Приходилось слышать от Толстого и такое рассуждение: "Вот закон вечности вещества" Лавуазье, за открытие которого он возведен в гении, что тут особенного, это ясно "a priori". Человеку гораздо легче думать, что ничего нельзя создать и ничего нельзя уничтожить, чем думать обратное, ибо сам он из ежедневного опыта убеждается, что ничего создать не может, и что делает всегда что-либо, из чего уничтожить ничего не может, что-нибудь да остается или во что-нибудь превращается.

Понятно, что такое суждение может высказать только человек, с предвзятой мыслью подходящий к вопросу о том, какое значение имеет наука в жизни человечества, и за что заслуживают люди науки наименование гениев.

Само собою разумеется, что установленный Лавуазье закон вечности вещества лег краеугольным камнем в основание всего здания современного естествознания лишь потому, что Лавуазье свое "ничего не теряется, ничего не создается" высказал не a priori, а доказав это положение с весами в руках на ряде химических реакций и превращений. Что же касается до того, что закон Лавуазье может быть высказан и a priori, то это не только не умаляет значения открытия Лавуазье или его славу, а

---

* Не бойтесь никогда противоречивых фактов, т. к. всякий противоречивый факт. есть зародыш открытия.

лишь увеличивает. Известно, что закон выживания наиболее приспособленного в живой природе был высказан, как на это указал впервые Тимирязев a priori Огюстом Контом до Дарвина, однако не Конт, а Дарвин по праву является установившим в науке этот закон как фактор эволюции.

Кроме того, ведь не неудобопонимаемость может служить мерилом достоинства научного труда или обобщения. Безусловно верно мнение французского ученого Жаргонна: "Нельзя думать, — говорит он, — что мы знаем уже последнее слово какой-нибудь теории, пока мы не в состоянии объяснить её в немногих словах первому встречному".

То, что говорил и писал Толстой о науке, не имеет, как нам кажется, абсолютного значения и не является для людей науки интересным для изучения, но, что он именно так, а не иначе говорил о науке, несомненно представляет громадный интерес, ибо говоря словами академика С. Платонова, "Толстой представляет из себя может быть самое интересное явление современного гуманитарного знания", и потому его взгляд на науку бесспорно является интересным для изучения всяким от мала до велика.

Читая биографию Бирюкова, прекрасное, основанное на изучении громадного количества документов дополнение к ней Н. Гусева "Толстой в молодости", некоторые дневники Толстого, воспоминания отдельных лиц, как, напр., воспоминания А. М. Новикова, нельзя не видеть, что Толстой в течение всей своей жизни то тяготел к науке, то как будто инстинктивно от нее отворачивался. Здесь небезынтересно провести некоторую параллель между Толстым и Гете.

Гете был не только великий поэт, но и выдающийся естествоиспытатель. Его труды в области биологических наук освещают капитальные вопросы светом той, в ту пору новой идеи об эволюции, которая так блистательно развилась лишь на глазах нашего поколения. Тем не менее, как это говорил на своих лекциях проф. Столетов: "Этот зоркий ум Гете в своем бессильном отпоре Ньютоновской теории спектра и цветов, оказался ниже всякой критики".

Гельмгольц в своей речи о Гете как естествоиспытателе, видит в этом не простую случайность, а принципиальный разлад

между художником и точным мыслителем. "Природу, — говорит Гельмгольц, — поэт не старается разложить на отвлеченные понятия, он стоит перед ней как перед замкнутым в себе художественным произведением, которое должно само открыть чуткому созерцателю свое духовное содержание. В учении о цветах Гете, — говорит он, — следует видеть попытку отстоять непосредственную правдивость чувственного впечатления против посягательства науки".

Толстому, как художнику, был наверно также сродни такой взгляд на природу, но, как мы выше упоминали, Толстой, в отличие от Гете, интересовался иногда именно научными изысканиями и даже увлекался ими и сам в известную пору своей педагогической деятельности как будто стремился привить своим ученикам охоту к научному мышлению и исследованию природы. На это указывают составленные Толстым статьи о воздухе, магните и проч. в его книгах для чтения.

Однако, несомненно, что у него самого способность к научной работе была развита в самой незначительной мере; этим, нам кажется, следует объяснить, что, когда Толстой добровольно оставил работу художника и занялся изучением различных сторон духовного бытия человека с целью уяснения себе их абсолютного значения и выработал особое миросозерцание, он не только отвел науке самое последнее место, но порой совершенно отрицал целесообразность занятия ею. Под наукой мы здесь разумеем опять-таки естествознание.

Философски такой взгляд вряд ли может быть сколько-нибудь оправдан. "Науки умозрительные не утверждают и не могут утверждать никакого материального бытия, они являются лишь необходимым орудием к пониманию вселенной, такова роль математических наук при стремлении к полному уразумению опытных данных", — говорит проф. В.Я. Цингер. ("Недоразумения во взглядах на основания геометрии").

Гельмгольц говорит: "Конечная цель научного знания заключается в изыскании постоянных причин явлений. Здесь не идет речь о том, все ли факты могут быть сведены к таким причинам — иными словами всегда ли природа доступна нашему пониманию или же в ней происходят перемены, которые, ускользая от законов необходимости, принадлежат к области

произвола, свободы. Но можно утверждать, что наука, ставящая своею целью понимание вселенной, должна допускать эту постижимость, она должна, исходя из этой гипотезы, продолжать свое дело хотя бы для того, чтобы приобрести не подлежащую сомнению уверенность в ограниченности нашей познавательной способности".

Нам кажется, что и с чисто жизненной точки зрения для Толстого должно было являться невозможным не признавать вполне законным в людях науки стремление к чистой истине. Безусловно верно суждение Пастера о том, что не существует никаких прикладных наук, а существуют лишь приложения науки, а потому нельзя не признавать чистой науки, по крайней мере по отношению к естествознанию, той "науки научной", без которой не было бы науки прикладной, как писал Герцен в письме к Бакунину.

Должен был бы также, как нам кажется, Толстой оценивать и признавать вполне законным неудержимое стремление в ученом к научному творчеству, столь напоминающее собою художественное творчество писателя, которое Толстой любил уподоблять родам. "Это тот же процесс, — говорил он, — блаженство зачатия, труд вынашивания, муки рождения и торжества сотворения нового, доселе не существовавшего".

Приходится допустить, что может быть характерно для художника то, что Толстой никогда не мог вполне понять ученого, оценить в нем глубину, твердость и настойчивость мысли, неуклонно устремляющейся на исследуемый предмет, с целью выпытать у природы её тайны.

Толстой, видимо, никак не мог воплотиться в ученого, оценить те духовные наслаждения, которые испытал, скажем, тот же Пастер, когда, работая над бациллой сибирской язвы и испытывая ее действие на разных животных, он постепенно добирается до возможности понизить ядовитость заразы, что и доказывает своим знаменитым опытом в Пулье-де-фор, где, привив стаду овец сибирскую язву в самой смертельной форме, он одним предсказывает смерть, другим, получившим предварительно предохранительную прививку, — выздоровление. И предсказание его сбывается в точности и в назначенный Пастером срок.

Должен был бы, думается нам, на Пастере оценить Толстой вполне и значение чистой науки, ибо упомянутый нами знаменитый опыт Пастера и целый ряд других опытов, повлекших за собою столь блестящие приложения, являются прямым последствием чисто теоретических работ Пастера. Повторяем, что Толстой или не мог, или, подходя к ученому с предвзятой мыслью, не хотел его понимать.

Весьма естественно, что Толстой не согласился бы с Пастером, когда он, как один из доводов в пользу изучения чистых наук в одной своей статье приводит пример, что Монж и Бертолле, когда в Великую французскую революцию французской армии не хватало селитры для изготовленнѣ пороха, указали, что она есть везде и что её легко достать в хлевах, погребах и на кладбищах. Не согласился бы Толстой и с Гексли, который говорил о Пастере, что так как открытия Пастера повлекли за собой усовершенствование техники пивоварения и виноделия во Франции, этим самым Пастер один уплатил большую часть немецкой контрибуции, и поэтому является одним из граждан Франции, который более чем кто-либо a merite de la partie.

Но если бы Толстой ознакомился со всею совокупностью научных трудов Пастера, начав с чисто научных, никаких практических выгод не преследующих работ, каковы работы по изучению брожения и произвольного зарождения, постепенно приходит к открытию не только способа улучшения техники виноделия, но и установлению метода лечения и предупреждения заразных болезней и при том таких бичей человечества, как бешенство, то думается нам, что Толстой должен бы был признать Пастера не только гражданином, который a merite de la patrie, но и de l'humanite.

Следует все же сказать, что тот, кому приходилось спорить с Толстым или присутствовать при споре его с кем-либо, кто расходился с ним во взглядах на различные вопросы жизни, не мог не заметить, что, отстаивая свое мнение, Толстой нередко впадал в крайности, договаривался до парадоксов, что при горячности его натуры являлось весьма естественным. Он и тут мог бы сказать: "Да, это прекрасно — лечение бешенства, но улучшение техники пововарения и виноделия, т. е. удешевление

вина и пива принесло наверно больше вреда людям, чем бешенство". Мог бы Толстой также, как бы сваливая на голову ученого ответственность за те приложения, которые люди делают из его научных открытий, сказать так: "Для людей важно не физическое, а умственное и нравственное здоровье, а медицина именно и вносит в умы людей путаницу в суждения о том, что нравственно и что безнравственно. Вот как оценить с нравственной стороны то, что теперь солдат, посылаемых во время войны на расстрел, сажают в окопы, а чтобы они не погибли в них, заразившись микробом столбняка, им делают предохранительные прививки по Пастеру".

В разговоре с каким-нибудь молодым ученым, который с увлечением излагал бы перед ним научные заслуги Пастера, с тем, чтобы вызвать в Толстом восхищение перед глубиной мысли Пастера, его уменьем поставить вопросы природе и выпытать у нее точные и определенные на них ответы, Толстой мог бы еще сказать примерно следующее: "Ну вот как вы все это толково, хорошо и увлекательно рассказываете. Все это очень интересно, да и правда, что лечение бешенства это не лечение ожирения сердца или сифилиса, болезней которых не было бы, если бы люди жили разумной, нравственной трудовой жизнью... от бешеной собаки, кошки, волка не убережешься, всё это так, а всё-таки мне вашего Пастера прежде всего жалко. Я знаю, какой Пастер, видел его портреты: прекрасное мужицкое лицо, крепкий, умный старик, наверно очень милый, добрый и хороший. И вот этот трезвый, умный Пастер, живя в Париже, где сотни тысяч людей гибнут от пьянства, разврата и грубости, не находит нужным обращать на это внимания, хотя не может не знать, что для спасения этих несчастных ничего другого не нужно, как отрезвление и братское разумное влияние, что бы он так хорошо, наверно, смог бы сделать. И нельзя не пожалеть о 55-лыетнем старике, который или совсем об этом никогда даже не думает, или если думает, то думает, что это было бы неважным и несерьезным для него делом, а за серьезное дело считает разведение каких-то микробов в бульоне".

Реплики собеседника, что в Париже найдутся сотни трезвых, добрых и умных стариков, которые не хуже Пастера смогут сделать то, чего требует Толстой, а с таким толком разводить

микробы никто на всем земном шаре, кроме Пастера, не может, — конечно не убедили бы Толстого.

Следует отметить, что справедливая оценка работ именно Пастера и значения учреждения в Париже Пастеровского института,* как будто сквозит в беседе Толстого с Мечниковым, который в свой последний приезд в Россию был у Толстого. Нам пришлось быть в Ясной Поляне вскоре после посещения её Мечниковым и припоминается, что Толстой с одобрением отзывался о Мечникове и о том, как и что он говорил о науке и научных работах.

Много противоречий во взглядах на науку встречается в писаниях Толстого: то полное отрицание наук (напр., в своем "ответе крестьянину" Толстой определенно высказывается против образования и посещения детьми школы), то частичное, то полное признание науки. В одном из своих дневников Толстой пишет: "После разговора с Б. Н. Чичериным — уважаю науку". Но надо признать, что когда Толстой говорил, что дело, которое у многих профессоров сводится к тому, что они "механически компилируя свои лекции из последних, вышедших по их специальности книг, также механически передают их своим слушателям"*, зачастую нисколько не интересуясь самостоятельными занятиями своих учеников, что такое дело не может быть настолько важным и серьезным, чтобы человек поэтому должен был бы пользоваться и особым почетом и заслуживал бы особенного привилегированного положения в обществе, то само собой разумеется, что тут Толстой был совершенно прав.

Но у Толстого можно усмотреть противоречия и во взглядах на свое собственное творчество. Так, П. Д. Боборыкин в своих воспоминаниях "В Москве у Толстых"** пишет: "Толстой и слышать не хотел о возвращении к писательской работе художника и, когда я выразил сожаление на счет строгого запрета, наложенного им на себя, он выразился приблизительно так: "Заете, это мне напоминает вот что: какой-нибудь состарившейся француженке её бывшие обожатели повторяют: как вы восхитительно пели и поддерживали юбочки". А проходит

*См. Предисловие к днев. Ампеля.

**См. Международн. Альманах о Толстом.

несколько лет после разговора с Боборыкиным и появляется "Хозяин и работник", художественное произведение, встреченное публикой, как это отмечает биограф Толстого Бирюков, с особенным энтузиазмом, вследствие длительного перерыва в художественном творчестве Толстого. Припоминается мне, как Толстой рассказывал: "Я спрашивал у Антона Рубинштейна, не надоело вам давать концерты? Ах, да, говорит, надоело, да и нет материальной надобности, но, как вам сказать, соскучишься по аплодисментам публики". И Толстой добавлял: "и это совершенно верно". Нам кажется, что, если побуждением написать "Хозяина и работника" и было побуждение, подобное стремлению разрешиться от бремени и произвести на свет нового ребенка, то стимулом к напечатанию "Хозяина и работника" мог быть стимул Рубинштейновского концерта. В самом деле, между "Крейцеровой сонатой", всеми уже прочитанной в литографированных изданиях почти за 2 года до ее напечатания и "Хозяином и работником" прошло около 6 лет, в течение которых были изданы такие сочинения Толстого, как "Царствие Божие внутри нас" статьи "Против патриотизма" и др., произведения даже мало читавшиеся публикой, а если кого и интересовавшие, то или мало кого в чем разубеждавшие или мало нравившиеся; не было при напечатании "Хозяина и работника" и желания получить вознаграждения, как это было 3 годами позднее с "Воскресением". Известно, что Толстой подарил права первого напечатания "Хозяина и работника" журналу "Северный Вестник", несмотря на то, что американцы предлагали, как помнится, полтора доллара за слово. Вместе в Боборыкиным и Тургенев на смертном одре умолял Толстого вернуться к литературной деятельности.

Громадное большинство русских людей несомненно всегда будет сожалеть о том, что Толстой разлюбил свое художественное творчество и в течение многих лет изменял ему. Как никогда ни один русский не перестанет сожалеть, что Гоголь сжег 2-ю часть "Мертвых душ" и занялся чтением лекций по средней истории и разными писаниями, оставив художественное творчество. О этом уклонении Гоголя от пути ему предназначенного сожалел, по-видимому, и Толстой. В своей статье "О Гоголе" Толстой пишет: "Если бы Гоголь, с одной стороны,

посто любил писать повести и комедии и занимался бы этим, не придавая этим занятиям особенного священнослужительского значения, а, с другой стороны, признавал бы церковное учение и государственное устройство, как нечто такое, о чем ему незачем спорить и чего нет основания оправдывать, он продолжал бы писать свои очень хорошие рассказы и комедии и при случае высказывал бы в письмах, а может быть и в отдельных сочинениях свои, часто очень глубокие, из сердца выходящие нравственно-религиозные мысли". Толстой признает за Гоголем "огромный талант, прекрасное сердце и небольшой робкий ум". В попытке Гоголя применить к своему писательству учение Гегеля и славянофилов, которыми он был увлечен, Толстой видит причину, как он выражается, "поражающих нелепостей в его писаниях последнего времени". Уклонение Толстого от работы художника-писателя не может быть объяснено чьим-либо или каким-либо влиянием. Совершенно прав акад. Платонов, говоря, что ни одно из современных направлений философской и общественной мысли не может считать Толстого своим, настолько он своеобразен и самобытен, настолько оригинален. Да и в русской литературе Толстой занимал обособленное положение. Толстой, как образно говорил проф. С. Трубецкой, "представляется каким-то Мельхиседеком русского слова, царственным священником, не имеющим родословия. Более, нежели все другие русские писатели, он был независим от случайных веяний литературных и общественных, они не только не увлекали его, они как-бы проносились мимо его".*

Стать под конец жизни философом, было, можно думать, естественной зволюцией Толстого. Уклоняться в сторону философских рассуждений было свойственноТолстому в самый разгар его художественного творчества, однако эти уклонения, как это замечено его критиками, не только не содействовали, но всегда лишь ослабляли цельность и ценность художественного впечатления. Известна статья генерала Драгомирова, бывшего профессора Военной академии, о "Войне и мире", статья написанная им в то время, когда роман еще только появлялся в печати; Драгомиров говорит, что "отдельные сцены военного и войскового быта из "Войны и мира" неподражаемы и могут

*См. соч. С. Н. Трубецкого. Т. I. "Лишние люди и герои нашего времени".

служить самым полезным прибавлением к любому курсу теории военного искусства"; что же касается до выводов Толстого относительно теории военного дела, то он считает их "не выдерживающими самой снисходительной критики", и выражает опасение, как бы Толстой вместо того, чтобы давать превосходные художественные образы, не предпочел бы в дальнейшем давать плохие, отвлеченные рассуждения.

То же отмечают и критики Толстого самого последнего времени. Так Стефан Цвейг говорит: "Как только Толстой хочет руководить и обучать своими произведениями, его искусство теряет свою захватывающую силу". Любопытно, что в своей статье "Что такое искусство" Толстой пишет: "Искусство есть деятельность, сводящаяся к тому, что художник передает другим испытанные им чувства, а другие люди заражаются этим чувством и переживают их и что дело искусства состоит именно в том, чтобы делать понятным и доступным то, что могло быть непонятным и недоступным в виде рассуждения". Между тем Толстому, очевидно, было свойственно, как это можно видеть в очень многих его художественных произведениях, уклоняться в большей или меньшей мере от языка чувств, не удовлетворяться тем, чтобы говорить уму читателя через чувство, а обращаться прямо к его уму. В самом деле беседуют ли у Толстого Лаврушка с Наполеоном, разговаривает ли Брехунов с Никитой, Толстой не только передает нам их разговор, но и находит нужным разъяснить почему именно так, а не иначе разговаривают собеседники. Таких примеров можно найти в произведениях Толстого массу. Толстой как будто не то не доверяет силе своего таланта, не то степени восприимчивости читателя. Гетевское "Mahle Kunstler, rede nicht" — не было, очевидно, вполне приемлемым, не служило неуклонным правилом для Толстого. Ему было свойственно в писании многих своих художественных произведений порой бросать, так сказать, кисть и браться за перо, что никогда не содействовало уяснению идеи автора. Так, когда он, отложив в сторону перо, дает нам в "Смерти Ивана Ильича" описание его жизни, которое начинается с такого, казалось бы, парадокса: "прошедшая жизнь Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная", то к этой повести не только не потребовался от

Толстого какой-либо комментарий или разъяснение, а, как это говорил Вогюэ, эта повесть есть "рыкание льва и может быть самое выразительное".

Когда же он в "Крейцеровой Сонате", связав, так сказать, кисть и перо вместе, вложил свою жизненную философию в уста своего героя Познышева, то Толстого завалили письмами, требующими от него разъяснения того, что он хочет сказать своим произведением, и он написал послесловие к этому своему произведению, которое всё же мало кого удовлетворило.

Вряд ли можно быть двух мнений о том, что проповедь Толстого по различным вопросам жизни, столь увлекательная и удивительная в его художественных произведениях, всегда оказывалась сравнительно собой и малоубедительной, когда та же проповедь облекалась им в форму философского трактата или рассуждения. Так, напр., его статьи "Письмо шведам по поводу Гаагской конференции" и "Доклад для конгресса мира в Стокгольме", в свое время обратившие на себя внимание, главным образом лишь вследствии имени автора, несомненно в гораздо меньшей мере и с меньшею убедительностью говорят против войны, чем за полвека до них написанные "Севастопольские рассказы", о которых критики позднейшего времени говорят, что они являются первой по силе в русской, а может быть и не одной русской, литературе, потрясающей правдой о войне (Иванов-Разумник).* Между тем, первые написаны Толстым философом-моралистом, уже проповедующим вегетарианство как этическое ученье, пережившим, перечувствовавшим, как едва ли кто-либо другой, передумавшим и уразумевшим все ужасы войны, а "Севастопольские рассказы" тем самым фейерверкером графом Толстым, который, командуя батареей в Севастополе, вдруг, безо всякой надобности, отдавал приказ открыть огонь против неприятеля и на вопрос недоумевающих товарищей отвечал: "Я хотел посмотреть, какие у вас будут лица, когда на нас полетят снаряды".**

Сам Толстой с таким мнением о своих произведениях, видимо, не соглашался. Приходилось слышать от него, что он

---

* Цитируем по Гусеву. "Толстой в молодости", стр. 228.

** Гусев. "Толстой в молодости"., стр. 255.

очень сожалеет о том, что он писал художественные произведения.

Нам кажется вполне естественным, что Толстой мог под старость разлюбить писать свои художественные произведения как средство поучения людей разумной моральной жизни и предпочесть форму философских трактатов, рассуждений и писем. Он, помнится, говорил, что ему противно описывать глаза Катюши, как "мокрая черная смородина" и круглые мускулистые плечи Mariette в ложе, но наряду с этим он говорил, что его временами влечет к литературной работе, хотя, может быть, это и лишнее и добавлял: "Qui a bu, boira".*

Но вернемся к вопросу об отношении Толстого к науке. Повторим, что, указав на те противоречия самому себе, которые можно усмотреть в том, что писал и говорил Толстой о науке, мы пришли к заключению, что интересным является не то, что Толстой говорил о науке, а интересным является сам Толстой, так говорящий о ней, его отношение к науке мало разработанная и наименее ясная область его миросозерцания. Мы высказали мысль, ссылаясь на авторитет Гельмгольца, что причиной этого может быть то, что художник и не может быть в должной мере точным мыслителем. Следует сказать, кроме того, что вообще бывали примеры, когда люди исключительно одаренные, отличающиеся большим умом и широким образованием, оказывались совершенно неспособны к изучению точных наук. Так знаменитый английский монах 8-го века Беда, за свою обширную ученость, неутомимую деятельность и безукоризненную жизнь, носящий в литературе название "достопочтенного" (Bede Venerabilis) не раз вздыхал, говоря, что много есть на свете трудного, но ничего нет труднее четырех правил арифметики.

Из всей литературы, которую нам удалось прочесть по вопросу об отношении Толстого к науке, наиболее интересной представляется статья Г. Задеры, фельдшера по профессии: "Толстой о медицине и врачах". Статья эта, несмотря на легко опровергаемые мысли и суждения, в ней заключенные, заслуживает особого внимания потому, что Задера послал ее Толстому и получил письмо, в котором Толстой пишет:

---

* Н.В. Давыдов. "Из прошлого". Л.Н. Толстой.

"Благодарю вас за вполне точное выражение моих мыслей и чувств о современной науке вообще и о медицине в частности". В своей статье Задера так излагает мнение Толстого: "Наука, занятие ею и пользование ею есть достояние небольшого кружка людей. Уже по одному этому она не может быть совершенной и как таковая не может возбуждать восторженного к ней отношения. Народ не выделяет из своей среды деятелей науки, не пользуется ее открытиями, на него лишь падает бремя содержания этой науки, которою дирижирующие классы вооружаются для более удобного закрепощения народных масс в социальном и экономическом рабстве. Отсюда развращенность науки и ее деятелей, состоящих на службе у богатых и сильных". Этот отрывок, столь одобренный Толстым, дает, как нам кажется, ключ к объяснению всех тех противоречий и недоразумений во взглядах Толстого на науку, на которые мы указали и к уяснению истинной причины их происхождения. Нам кажется, что мы можем сказать, что они вытекают из того несоответствия, которое было в Толстом между его громадным талантом художника и чуждым всякого научного творчества умом, поэтому-то в суждении о науке, как и о других явлениях жизни человека, он руководился больше чувством, чем разумом, поэтому-то думается нам: несмотря на то, что Толстой не мог не видеть успехов науки и не убеждаться повседневно в благодетельном значении для человечества ее бесчисленных приложений, он никак не мог простить ей ее первородного и исторического греха, с которым мы все так охотно миримся и который ей так легко прощал Тимирязев. Тимирязев в одной из своих речей говорит: "Если может быть и прав был Руссо, говоря, что цивилизация возникла на почве неравенства, и что в своем течении она еще закрепляла это неравенство, увеличивая пропасть между двумя половинами человечества, между представителями умственного и физического труда и если", как говорит он, "уходящая во мрак прошлого история повествует о своей задаче — о создании цивилизации ценой неравенства, то с этим надлежит считаться лишь как с историческим фактом". Не хотел верить Толстой вместе с Тимирязевым, что восстановится это неравенство успехами цивилизации же. "Ведь не на почве же общего невежества совершится это примирение, — говорит в той

же своей речи Тимирязев, — а путем справедливого раздела плодов этой цивилизации, добытых общими усилиями; и то, что служило источником разлада для отцов, послужит для сближения детей". Толстой не соглашался с тем, что искусство и наука также лягут в основу нового союза между людьми, как в другом месте говорит это тот же Тимирязев, и как это прозревал более 100 лет назад великий художник-естествоиспытатель Гете.

Если мы можем так объяснить противоречия Толстого во взглядах его на науку, если для всякого интересующегося Толстым, в особенности близко его знавшего, является вполне естественным и законным желание разобраться в этой стороне миросозерцания Толстого, то по отношению к другим противоречиям у Толстого, как, напр., во взглядах его на собственное художественное творчество, на искусство и другие встречающиеся в его писаниях противоречия, наконец в объяснении тех противоречий, на которые так много находится охотников указывать и которые можно усмотреть между тем, что он проповедывал и его личной жизнью, то к объяснению этих противоречий мы должны подходить с особой осторожностью. Мы можем делать более или менее вероятные догадки и придумывать удовлетворящие нас объяснения, но они весьма легко могут оказаться очень далекими от истины. Так, напр., данное нами выше объяснение причины напечатания "Хозяина и работника" из сравнения с Рубинштейновским концертом может быть совсем и не выдерживает строгой критики. Ибо, если желание удовлетворить чувство тщеславия, понятное в Рубинштейне, в некоторой мере несомненно допустимое и в Толстом, могло служить достаточным основанием для Рубинштейна дать концерт после длительного перерыва, то для Толстого для напечатания "Хозяина и работника" мог быть гораздо более серьезный и глубокий стимул. А именно, вследствии долгого перерыва в художественном творчестве Толстой, как временно забытый публикой, мог ощутить с особенной силой тяжелое чувство одиночества среди людей, облегчением которого и являлось напечатание "Хозяина и работника".

Никоим образом не следует забывать, что это тягостное чувство одиночества у Толстого было, может быть, единственным чувством, которым он, несмотря на свой талант, или вернее

именно вследствие своего громадного таланта, не мог нас заразить, как чувством нам совершенно незнакомым. Мы не только должны легко предполагать в Толстом это чувство, но он сам прямо говорит об этом. В одном из своих дневников он пишет: "Одно из мучительнейших духовных страданий есть непонимание тебя людьми, когда чувствуешь себя безнадежно одиноким с своими мыслями". В своем предисловии к рассказам Мопассана, писателя, как можно думать, наиболее им любимого, как наиболее сродного ему по характеру таланта, по поводу столь восхитившего его рассказа "La solitude" Толстой пишет:"Явление, более всего мучившее Мопассана, к которому он возвращается много раз, есть мучительное чувство одиночества, той преграды, которая стоит между человеком и другими, преграда тем мучительнее, чем теснее сближение телесное." Недаром тот же Толстой, под конец жизни не любивший стихотворений и в своем "Круге чтения" поместивший их только три: "Воспоминание" Пушкина, "Смерть" Баратынского и "Silentium" Тютчева, во 2-м издании оставляет только "Silentium" Тютчева ("Молчи, скрывайся и таи... другому как понять тебя").

Когда французы прочитали статью Толстого "Что такое искусство", они в недоумении говорили: "Oh, et bien c'est la Russie". Нам нравится такое отношение ко многому из того, что писал, говорил и делал Толстой, ибо мы думаем, что Толстого, как и Россию, по выражению Тютчева, "аршином общим не измерить". И потому мы должны отказаться от объяснений в Толстом всех тех противоречий и странностей, где он сам себе был и первым и самым строгим судьей. Объяснение этих противоречий кроется в несоизмеримости психологии гениального художника с психологией простого смертного.

И. Раевский

ПИСЬМА В. В. РОЗАНОВА К С. А. РАЧИНСКОМУ

Из письма к С.А. Рачинскому [Без даты; почтовая дата 25 июня 1897 г.] "Думаю, что [неразборчиво одно слово] и многолетнее (конечно бессознательное), как бы факирское созерцание прорастающего семени (я видал еще в детстве и всегда дивился — на картофеле и особенно луке) вообще есть пункт, откуда пошло даже мое философское настроение; или, точнее, в момент "уставленности" (человек "уставился" на что-нибудь) это впервые мне попалось на глаз и меня заняло. Теперь заметьте: великие люди еще женятся, но не рождают (или слабое потомство очень быстро вымирает); но святые, апостолы, пророки — вовсе не женятся, и что удивительнее — они не женятся (да будет прощена аналогия) во всех религиях, т.е. во всех формах религиозн. *повышенного* самочувствия. Это отрицательное отношение, но замечательно — к sexual 'ному акту... Связь sexual'ной как бы встревоженности, как бы ушиба и оттягивания — так ясна с мистич. чувством небесного, что для меня — не может быть сомнения в прямой их зависимости".

[Без даты. Почтов. дата 16 сент. 1897 г.]

"Я Вас прошу простить меня за то, что коснулся вопросов, очевидно неприятных для Вас и чуждых. Тут есть "нечистота",

---

Мы продолжаем печатание писем В.В. Розанова из архива доктора А. Аронсона (см. кн. 130), за что приносим ему благодарность. Публикация и примечания проф. Д. Перчонка. В ближайших книгах мы напечатаем письма В. В. Розанова к А.А. Измайлову. РЕД.

специфическая, особенная, и мне слишком понятен (и даже родствен) строй мыслей, душевн. тембр, который абсолютно с этими темами не сливается. Велик. предосторожность природы; великий и яркий жест затаивания, которым она предохраняет себя от любопытства человеческого. С каким отвращением на *эту* сторону символистов и декадентов наших я смотрел раньше; и довольно прозрачно намекнул в литературе на *личные* пороки, как почву их эротич. декадентства, и кажется (судя по Мережковскому и Волынскому — даже наверное знаю), что эти слова мои, энергично выраженные, заставили их, если не исчезнуть, то спрятаться, притвориться; и, каковы бы ни были их действит. привычки, от них отстать, как от очевидной пакости. [Затем рассказ о "двух юношах": Шперке и Беке, которых Р. считает праведными и которые очевидно страдали личными пороками.] И вот со словами: "есть друг Горацио..." я опустился в кладезь темных и опасных размышлений. О, опасности-то их я вижу; чуждо было и опускание в "колодезь", и, замечательно, пока еще размышляешь о природе, о ботанике — ничего; но вот подходишь к человеку и шаги затрудняются; костенеет. Это я называю затаиванием природы. Не хочет раскрыться. Тут всё становится [неразб.] цветы расцветают [вдыхаем?] их обоняние, — но как только появляется животное, — начинается гадкое. И именно с этого пункта. Говорю — жест затаивания, и он непреоборим. [Далее: о почти бесполости растений.]

Мир — развивался, он — усложнялся, т.е. наполняющая его энергия — возрастала в количестве; что возрастает — приближается к своей причине (свет — около источника сильнее, радость — в первый момент ощутительнее, падение камня — быстрее в последний момент, полет — быстрее в первый момент). Ergo — причина приближается во времени к органич. миру, или, перевернув — он приближается к своей причине. Но он ли один: органич. мир человеч. расы в высшей из них — белой, в истории — [неразборч.] искусства и науки, талантливые и гениальные, всё завершается и дальше не идет, дальше не ищет, когда приходит к Богу. Ergo — вот солнце. Это ужасно просто; вместе — это правдоподобно. Это — лазейка, куда всё-таки можно просунуть голову; но я ужасно **намямлил** эту статью, ее надо было изложить коротко и просто почти как это письмо".

[Без даты. В собрании писем к С.А.Р., находящемся в Публ. библиотеке Рукописного отдела, расположено в январе 1892 г. — между письмами от 17 и 20 января.]

"Сам я — дурной педагог, у меня нет той объективности, чуткости к окружающему и близости с ним, без которой невозможна плодотворная педагогич. деятельность. Всё, что могу я — это видеть, что совершают другие, и очень глубоко любить или глубоко ненавидеть это совершаемое.

Я знаю (из одной брошюрки о пьянстве), Вы очень не любите печатного слова, и вот — действуете через него. Мне также всегда казалось нечто развращающее в том психическом процессе, который неотделим от писательства: пока пишешь дома на бумаге, всё чисто и ясно в душе, но меня всегда охватывало чувство неудержимой грусти, когда впервые это написанное мне приносили откуда-то с почты и я видел напечатанным. Точно что-то дорогое, внутреннее — затаскано по площади грязными ногами, и я сам — виновник этого. Это обнажение души своей перед всеми, перед неизвестными людьми — что-то нецеломудренное, бесстыдное, совершенное над самой дорогой частью собственного существа. Так я всегда чувствовал, и от этого так бросилось мне в глаза Ваше замечание: "Я был рад, что прибегнул к до-Гуттенберговскому способу передачи мыслей".

Горько, горько стало за наше время, за людей нашего времени, и не только юных, но и взрослых. Истинной сладости учения они уже не знают. Дурны мы, грязны и ограничены сердцем и умом; но б.м. еше гораздо более мы несчастны.

По поводу книги Вашей и всей В/ деятельности очень много приходит мыслей в голову; главная: дело ли государства воспитывать и обучать? Для его грубости, неизбежного формализма, для его слепоты к индивидуальному — доступен ли мир индивидуального, с которым исключительно имеет дело воспитание и образование?"

[Без даты — март или апрель 1892 г., в ответ на письмо Рачинского, напечат. в "Русском Вестн." от 17 марта и в свою очередь вызвавшее ответ Рачинского 16 апреля 1892 г.]

"*Причина* для писания есть: хочется выразить то, что пере-

жил, передумал; *цель* его — очень неясна, жить им — я думаю мог бы человек лишь с очень узким кругом душевных потребностей. Изредка дойдет знак, что как будто и есть кто, кому это интересно; но, однако, и этот интерес в чужой душе представляется минутным, случайным, вовсе не необходимым... Думаю о подобном высказывании через печать, как о какой-то профанации своей души, вовсе не необходимой, ввиду смутности целей, для которых это делается... И, однако, если есть [к писанию] такая непреодолимая потребность — нужно делать это дело, оставляя Богу выбросить его или поместить в планы своего строительства нашей жизни.

... Вы пишете, что я слишком пессимист: в причинах этого есть много личного...

Года три назад я ездил в Пб. и от Н. Страхова и Л.Н. Майкова старался разузнать, нельзя ли поступить на службу в Пет. Публичн. б-ку; но они сказали мне оба, что там служат года по три бесплатно, ожидая вакансии. Потом спрашивал о том же В. Герье, он ответил мне, что для должности главного б-каря (в Унив.) я не знаю языков... Так мои попытки оставить учительство и остались безуспешны".

[Конец мая 1892 г. Просьба к Рач. о должности лучше не по Мин. нар. просв.]

...Видеться же с Тертием Ивановичем [Филипповым], я думаю, будет лишнее, и, б.м., даже не безопасное по пассивности моего характера, неспособности ясно и отчетливо выразить отказ (это между нами).

... Думаю, что хорошо бы я мог выполнить всякого рода редакт. деятельность — судя по тому... что всегда и моментально чувствовал ужасающую неловкость, запутанность, темноту, неточность формы, в коей распоряжения [в Педагогическом совете] выражались... Думаю, что недурно могу я рассматривать людей, их преданность делу или равнодушие, их нравств. характер. ... Участие в редактировании напр. Правит. Вестника, должность цензора — всё это, я думаю, шло бы".

[Конец июля 1892 г., из Ельца] "Чем более я думаю о возможности непосредственно служить при К.П. Победоносцеве,

тем более радуюсь, что она осуществится. Можно и увидеть и испытать много интересного... По существу наше общественное воспитание и его принципы суть местное повторение европейских".

[18 августа 1892 г.] "...Не скрою от Вас, что я из смирившихся [перед христианством], т.е. было время (приблизительно до 2-го курса Ун-та), когда я вовсе не был таков. ... Есть [у меня] любовь к церкви и религии; есть, если хотите, тайная жажда придать церковный характер течению всех дел на нашем Востоке, т.е. прежде всего образованию, затем в тесном смысле — политике.

... Написать любую главу в книге "О понимании" мне было *легче,* чем обучить десяток мальчиков рекам Европы; ничего нет для меня интересного в этих реках".

[Без даты — Октябрь 1892 г.] "Я, пока, жду прибавления семейства и думаю, жизнь моя после этого будет еще уютнее, чем теперь".

[Без даты. Пометка С. Рачинского: "Получено 15 марта 1893 г."] "Я решился принять место чиновника особых поручений при Тертии Ивановиче... Далее продолжать мою теперешнюю недеятельность мне показалось неудобно... [Это] для меня при отсутствии какого-либо призвания к учительству было бы истинным ужасом".

[Из письма К. Победоносцева 1893 г., вероятно 31 марта, Пасха: "Итак Розанов перешел Рубикон... Каково-то он устроится. Признаюсь Вам, что по строю мысли его и манере писать, я недоумевал, пригоден ли он оказался для нашего дела. Кого-то он встретит здесь, и с кем сойдется? При случае постараюсь пособить ему".]

[Без даты. Из содержания письма видно, что писано 20 апреля 1893 г.] "Две недели сидел в Вязьме, затем, приехав в Пб., неделю дожидался, когда будет готов вицмундир, чтобы явиться к Терт. Ив. [В. Розанов разбирает железнодор. дела — "страниц 400 законопроектов, правил, заседаний]. Жел. дор. воруют от обва и государства миллионы; найти способ спасти хоть тысячи —

вот задача. Только странен *я* в роли такого спасителя, даже и предполагаемого.

... Чувствую, что я неисправимый провинциал... Верно Бог так меня устроил, что всё большое заставляет меня тесниться в сторону, и лишь в среду обыкновенного и серенького я вхожу с раскрытою душою и, кажется, заставляю и других распахиваться наружу".

[11 июня 1893 г.] "Берг заставил меня переделать всё почти окончание статьи в "Русск. Вестн.", над чем я работал у него в кабинете часов 6-7, а потом и еще сам прямо позачеркивал насчет газет, администрации и университетов".

[Из письма Т.И. Филиппова к С. Рачинскому от 26 июля 1893 г.]: "За Розанова прошу Вас не беспокоиться. Я прочел ему Ваше письмо, дополнив его моими настоят. советами, и без труда достиг того, что от мысли об издании его произведений он отказался. Трудности новициата им уже побеждены, и контрольная служба начинает ему нравиться. Госуд. служба вообще, а контрольная в особенности будет ему полезна и в общем человеч. развитии. Она сообщит точность его суждениям и выражению мыслей, в чем он более всего нуждается. Кроме того, она поможет ему раскрыть глаза на явления действит. мира, и в частности на положение нашего государства и сам. народа... сократит размеры собственного писательского труда к несомненному улучшению его качества".

[13 авг. 1893 г.] [О разговоре с Терт. Филипповым] "Ничего впредь ему обо мне не пишите: он принял и говорил со мной прямо недоброжелательно, не советовал (= повелел) что-либо печатать ("у Вас довольно известности" — как будто в ней дело — провались она совсем) и т.д., долго писать; уходя, я ему сказал, что писать так, как теперь (т.е. много), не знаю, долго ли хватит сил... вообще декларация тягостная была. Не ходатайствуйте за меня более ни перед кем...

... Мне теперь где бы ни печатать, хоть в "Моск. листке" — только бы где дороже дали... Думаю, что ныне мне, т.е. во вновь открывающийся год, придется сцепиться с Соловьевым".

[7 октября 1893 г.] [О прибавке в 40 руб., благодаря Т.

Филиппову] "Вы не можете представить себе, до чего меня обрадовала прибавка: я точно воскрес; и вот после безмерной радости — смерть дочери. Хороший урок" [дочь Надя умерла].

[Из письма Победоносцева С. Рачинскому от 17 октября 1893 г.]: "Теперь Тертий называет Александрову в помощники Розанова, которого у себя устроил скудно на 1200 рублей жалованья. Но Розанов совсем не годен для практич. дела. Не знаю, куда он пристроится: ему всего лучше бы пристроиться где-нибудь в Публ. Б-теке и писать".

[Без даты, пометка С. Рач.: 16 февр. 1894 г.]. "В декабре [1893 г.] уничтожил набор статьи в "Русск. Вестн." "Около вековечной темы". ... Дурак Соловьев наткнулся что медведь на рогатину [на статью "Свобода и вера"] — промолчал бы, и никто не обратил бы на мою статью внимания (плохо написанная, туманно); Теперь все о ней говорят, все читают, и — умные, живые все на моей стороне. Если Бог поможет и силы меня окончательно не покинут — поборемся... [Страхову "Свобода и вера" не понравилась]. Многие меня зовут (не зная в лицо) *изувером,* а я посмеиваюсь — отвечаю: я добрейший малый и даже люблю преферанс...

Я всегда не уважал литераторов более всякого другого сословия. Очень, очень здесь редок жемчуг — и всегда в навозной куче. — С "Русск. Обозр." и кажется с "Моск. Вед." я окончательно разорвал. ... Всех симпатичнее Л. Тихомиров, ничего себе — Говоруха - Отрок, но абсолютно невозможны Александров и Фудель, первый — лакей, второй — лицемер".

[29 апреля 1894 г.] "Преподлое положение быть в России *теоретиком* и не иметь собственности; плохи теории, когда больны близкие (они ведь всё-таки ближе литературы сердцу и *лучше* ее, т.е. более заслуживают внимания и заботы".

[Без даты — пометка карандашом: "Авг. 20 1894 г."] "У меня непробиваемая толща чувств охранительных в душе, но факты так ярки, так убийственны, что они пробивают всё, защититься от них нечем и на сердце больно, досадно...

Страхов ... за "Свободу и веру" [неразб.] ужасно бранится и всё пытался остановить, отговорить: *но это дело необходимости об этом и так именно писать:* пора выводить Россию

из нигилистич. периода ее истории; в ответе Соловьеву было примечание, выпущенное Бергом: "Кстати, вот пример единственной нетерпимости, какой мы желали бы: чтобы не были терпимы в госуд. строе страны православной и монархической такие атеисты и анархисты, как умерший не так давно госуд. муж, официально бывший стражем церкви, воспитателем молодых поколений и, по какому-то недоразумению, считавшийся всеми опорой трона [Дм. Толстой]. [С Бергом Розанов порвал]. Он совсем не платит мне; — в Русск. Обозр. тоже всё расстроилось из-за тупости Тертия ... [Буренин] уведомил меня, что фельетон ["Казерио Санто и виды на будущее Европы"] не м.б. абсолютно напечатан по цензурным причинам... Россия есть страна, где религия (и паче всего православная) и самодержавие искореняются в идее беспощадно, атеизм же и политический нигилизм поощряются — инде арендою, инде жалованьем, инде — орденами и наградами. Статью о Казерио (прав. — объективн. взгляд на буржуазию и пролетар.) я попытаюсь печатать брошюрою, а если не пропустят — ну тогда в корыто "Гражданина" нужно проситься: я статьей очень дорожу и жить чем-нибудь нужно, и кое-кто из брезгающих "Гражданином" мне говорил: "у Вас как и Леонтьева имя настолько определившееся — что Вас не может испачкать участие в Гражданине". Кстати, не могу ли еще к Вам, а через Вас к Победоносцеву обратиться за пособием по напечатанию этой брошюры".

Из письма К. Победоносцева к С. Рачинскому от 2 июня 1895 г. СПБ: "Сейчас был у меня Розанов, послав вперед себе прилагаемые писания и книжку Русск. Вестника. Я вышел к нему и беседовал с ним. Боже мой! Жалость подумать, что у нас происходит с людьми способными мыслить, но развивающимися в углу и в отчужденности от людей!! Я ужаснулся, взглянув на него. Изможденный, кожа да кости, дикий, блуждающий взгляд! Но по мере беседы он успокаивался. Статья его — невозможная. Если бы Вы знали, что в ней написано! Какой беспорядочный бред блуждающего анализа, прыгающего негодования! Какое извращение самой идеи, которую он стремится защитить и возвысить. Какое отсутствие всякого представления о людях, которые должны читать

написанное им! Всё это я изъяснил ему, а он, кажется, понял — и благодарил меня. Но неужели никого не нашлось, кто бы мог дать ему столь простое изъяснение о пропорции, о мере и о ясности мысли! Видно редактор Берг или не читает статей, или не понимает, что читает. Но мне жалко этого человека. Боюсь, что он кончит нездорово. Теперь, кажется, он считается под крылом у Тертия, — но Тертий едва ли не совсем забыл о нем".

[В. Розанов — С. Рачинскому. Рукой последнего пометка: Пол. 6 июня 1895]. "Печальная страница в моей жизни — эта служба у Филиппова. По мелочности интересов... он... непревосходим в тонкости и сложности интриг. Ваш правильный, ясный язык — это Пушкинская школа; это — ясность эпич. покоя. Но, знаете, упрекая меня за язык (и всё более позднее) Вы забываете, что поколение людей в самом психическом строе неузнаваемо изменилось, и в зависимости от этого изменился язык, а не по произволу, не по случаю, не по капризу. ... У него совершенно не было чутья, различения душевно чистого от душевно нечистого", сказал он [Н.Н. Страхов] мне однажды о Леонтьеве, и я понял, что это именно, а не то, что подозревал Леонтьев, было причиной его отчуждения от "великого эстетика" и ... язычника".

[Без даты, надпись Рачинского: "7 июня", — по содержанию 3 июня 1895 г.] "В цензуре Бергу сказали о статье: "Конечно — это высший апофеоз монархии" — и всё-таки вырезали, да еще предупредили Берга, что он навсегда будет лишен прав редакторства. [Рассуждения Победоносцева о бюрократии, губящей монархию]. И, конечно, он влил в мое сердце еще большую жалость к государям, которую я и всегда питал, и не только к нашим, но и ко всем — ибо это *изгои* истории" [дальше отрицательная характеристика Т. Филиппова].

[Без даты. 22 июня 1895 г.]. [Письмо В.Д. Розановой, жены Вас. Вас-а, с жалобами на Филиппова, бросившего их на произвол судьбы, на его неприязнь и т.п., просьба о службе при Победоносцеве].

[Без даты, пометка 26 июля 1895 г.] "Был ужасно занят, т.е. взволнован немножко, статьей своей о Толстом, в Русск. Вестн.,

август: читая корректуру — чувствовал, что щиплет в носу, и кажется ничего я не писал так от сердца, как эту статью ["По поводу одной тревоги гр. Л. Толстого"] ... Не был бы я такого высокого мнения о человеке [о жене], не знай ее и ее мать... — Вы правы, что около Побед. мне лучше не служить. Об *этом,* службе у *него* — не будем никогда говорить. ... В Контроле [у Т. Филиппова] меня съесть готовы бы, и, чего и жена не знает, иногда бывало так трудно, что слезы навертывались от унижения [следует описание насмешек чиновников над В.В. Розановым] — потом сошлись, стало легче. [Затем просьба познакомить с Иоанном Кронштадтским, дабы помолился за детей и жену.]

[Пометка Рачинского: "Авг. 11. 1895"]. В Петербурге мы оба [В.В. с женой] стали какими-то истеричными. Грубость, тупость здешних людей — поразительна; поразительные вещи, о которых в провинции и не слыхано, здесь чуть-чуть маскируются [отрицат. характеристика Васильева]. Я думаю как-нибудь отречься от славянофильства (т.е. печатно): Бог с ним, если оно ни к чему не нудит человека и ни от чего его не останавливает. [Положит. характер. Барсукова] ... Я как женатый человек и имеющий детей могу сказать, что есть некоторые тайны душевные и жизнен., которые навсегда останутся темными, неясными, незначущими для человека не испытавшего брака, — и в самом деле в них прямо сказывается Бог. ...Поэтому на Чернышевского, Добролюбова — др., я просто смотрю как на детей, которые множество отвергли, просто этого не испытав".

[Рукою С. Рачинского "Авг. 23, 1895"]. "Главный преступник против церковных школ был Д. Толстой. Этот человек *всю* власть имел у себя в руках и ничего культ.-созидательного, духовно-эфирного не сделал; ненавижу его и презираю. Даже народники-нигилисты лучше его; те идут в народ с надеждою, порывом, хоть и безбожники... В Толстом [Дм.] ничего идейного не было, кроме классицизма, которого он не знал. Тут и Катков виноват, у кот. "интеллигентности" — как ни гадко это слово — тоже не много было. Это представители России, как торжествующего *Я,* без вопроса о его правде и содержании".

[Без даты. Рукой Рач.: 14 окт. 1895] [Сначала о Л. Толстом,

который вышел из атеистической среды и "пробился до заблуждений Ария или Нестория", в чем "великая заслуга перед людьми и прямо добродетель перед Богом"] *Вл. Соловьев* — пришел ко мне знакомиться; т.е. как бы молча признал, что ошибся, считая меня Иудой. ... Я чувствовал, что в этом человеке тоскливых порывов нет веры, и след. нет покоя и радости в его душе; и, именно, его либералы не могли ему этого дать... Вас попрошу сие посещение сохранить в абсол. тайне, ибо оно чрезвычайно щекотливо для его самолюбия... Он погружен в мысли об Антихристе теперь, и прощаясь тоже сказал: "Как я рад, что с Вами познакомился: разве в образов. классе России найдешь хоть десять человек, с коими об этом (т.е. Антихр.) можно бы поговорить"(я ему сказал, что Антихрист будет тот, кто даст и научит всему, чему научил и что дал Бог — *но от себя,* и скажет, что это — не от Бога). Я немножко боюсь, что этот удивительный и деликатный шаг Соловьева, в связи с моей мягкостью, заставит меня поддаться в его сторону в литературе; так сказать — щадить, умалчивать, прощать то, чего не следует щадить. — Соловьев очень несчастный человек: в нем есть дары только к второстепенному: выучить евр. язык, пройти сверх Унив-та и духовн. Академии, сказать о Достоевском речь — за которую "вышлют" — это всё он может; но уединиться, сосредоточиться, сохранить свое сердце от лукавства, — к мысли гениальной, героич. самоотвержению он неспособен".

[Продолжение письма, помеченного 14 октября 1895 г.]. [О Соловьеве]. Огромное отсутствие *русского* в натуре, недостаток распашистости, ширины, открытости, папаша всё *себе* взял в роде Соловьевых и остались какие-то "между-человеки" или "обще-европейцы" в его детях...

Через отделение от гражданского шрифта [в предыдущей фразе сказано Роз-м: "не смею высказать своей мысли печатно, но в письме скажу: в школах грамоты совсем бы следовало не начинать нового гражд. шрифта" Д.П.] Россия имеет возможность навсегда навечно сохранить народ в "атмосфере", хотя бы идеей только "благочестия и добрых нравов". А интеллигенция пусть идет куда знает, никого за собою не увлекая. Так сказать паруса без корабля...

[Без даты. Пометка Рач.: "16 Дек."1895 г.]. [Сообщение о том, что, прочитав статью Розанова о Барсукове, один человек — Мамонтов — пожертвовал большую сумму для продолжения издания труда Барсукова о Погодине. Д.П.] "Это — первый практич. плод трудов моих, а то отчаяние берет, что всё — бряцание пустое, как я вообще склонен смотреть на литературу, отчасти и на свои писания (отсюда — иногда цинизм в моих статьях, как бы их никто не читает, с другой стороны и искренность — я пишу как бы говорю у себя в комнате, где кроме меня никого нет").

[Без даты — рук. Рачинск. — "13 янв. 1896 г".]. [На двух с половиной страницах перечисление тяжелых обстоятельств жизни и заработка, и просьба помочь устроиться цензором — написать Победоносцеву, "к коему *утопая* — я всё-таки побегу без смущения", а Побед. чтобы написал Горемыкину, а тот Феоктистову] "и для литературы будет спасен писатель, для жизни — человек, для малюток — отец. Ради Бога, сделайте это... А главное пусть он [Побед.] и никто не беспокоится об одном: я действительно аккуратнейший чиновник, исполнительный, совершенно покорный; это у меня в письмах: "и горе и радость "житейское море" — в службе же совершенная "тишь и гладь", да и вообще я 14 лет прослуживши всё это хорошо понял и усвоил. И никакого упрямства, никакого своенравия и не было у меня никогда на службе — хоть кого спросить; равно я с товарищами весьма обходителен... Цензура Это благодарная, умственная деятельность, а не позорное щелканье битых 6 часов на счетах" [Цензура должна дать 2500 р. в год].

[Биограф. данные — в 1882 ок. истор.-филол. фак. Моск. унив., преподавал историю и географию 5 лет в Брянске, 5 лет в Ельце и 2 года в Белом, ныне "исправляет должность чин. особых поручений VII класса при Гос. контролере "откомандирован для занятий в Департамент жел. дор. отчетности", "человек трезвый, *исполнительный,* трудолюбивый"].

[Далее в письме — о примирении Соловьева со Страховым, который] "убежден, что Соловьев — весь фальшив, фальшив для себя непреоборимо; это — какой-то католический характер; и я сам думаю, что по странной вертлявости, по постоянному скрытию своих действительных ко всему отношений он пред-

ставляет явление новое и неприятное в нашей литературе, — даже явление, эту литературу извращающее. Ибо при всей бестолковости многих явлений — наша литература необыкновенно внутренне чиста: она вся открыта, *прямодушна;* в ней нет подходцев. Бывали мошенники, но совершенно открытые (Булгарин); есть как бы целовальники в ней (Суворин) — но это всё-таки не иезуитство. Соловьев первый внес в нее тон какого-то далекого политиканства, непрямодушия, подходцев. Я сам отношусь к нему странно: зная *всё* его прошлое, столь полное изменчивости — не в силах я думать, что есть безусловная прямота в том дружелюбии и доверчивости, с какими он ко мне относится. Но как-то я его не очень боюсь [...] говорю безусловно откровенно. ... Я задумал удивительную статью: *христианство и язык* — т.е. на тему, коих никогда не касался, кои и в голову мне никогда не приходили. Помоги Бог! 25 стр. моего мельчайшего письма написал".

[Без даты —помечена дата почт. отправления:24 января 1896 г."]. "Я только что из бани, и всю баню (любимейшее мое времяпрепровождение и единств. радикальный отдых, равно как и прибежище во всех горестях) думал о Вас. [О спуске броненосца и чувстве слияния с родной "историей"; о смерти Страхова и отдаче ему 30 рублей: "человек умирает, а я "реабилитирую честь", ссовывая ему деньги!"] Я очень боюсь смерти; и, собственно, смерть и рождение и есть два окна к Богу".

[Из письма К. Победоносцева к Рачинскому от 27.1. 1896 г.]: "Едва ли Розанов годен к цензорству — *в нынешнее время?* Он сам измучится и измучит других... Всего лучше ему пристроиться к Публ. Б-теке. У Тертия едва ли он усидит".

[Без даты, "12 февр. 1896 г."]. [Впечатление от Победоносцева очень светлое. Отношение в ред. "Русск. Вестн." к Розанову. Сотрудники (Всевол. Соловьев, Матвеев, Соколов и др.) "шпыняют", спрашивают, кто поручил защищать церковь? Розанов отвечает, что его духовник, о. Дим. Грибоедов, в Белом, одобрял статьи, что они "переодетые нигилисты"; об уменьшении платы со 100 р. до 80, а затем до 60 р., — вследствие чего он порвал с "Русск. Вестн.", хотя и жалеет: "Мне нужно было уступить, пусть по 60 р., деньги до зарезу нужны"6.

"Я написал, чтобы как-нибудь справиться с затруднениями, три фельетона в Рус. Сл. и в Моск. Вед. — о К. Леонтьеве, критика и *отрицание* его теорий исторических, в которых забыта церковь. Очень, очень боюсь, чтобы эта статья не произвела дурного впечатления в "Русск. Обозр.", если и эта опора подо мной рухнет — я пропал, не в переносном, а в буквальном смысле (из Русск. Обозр. получаю 50 р. ежемесячно)".

[Без даты, пометка: "2 сент. 1896 г."]. [О Говорухе-Отроке и ему изменившей жене; о женах "с курсами", никуда не годных]. "Пишу я невольно, но не чувствую ни уважения к литературе, ни любви к труду своему: просто мне литература надоела, опротивела. Если бы я был одинок — ни минуты не задумался бы, где-нибудь на юге [неразборчиво, м.б. "на ночь"] пойти в монастырь. Бесконечно люблю природу: ночью в лесном это лето я почувствовал, как велика во мне *жажда* леса и неба. Писатель, по самой структуре своего духа, есть отвратительное существо (всё "высказывает") и я страдаю этим чувством самоотвращения часто очень болезненно".

[Без даты, "2 ноября 1896 г."]. "Наконец блеснул "светлый луч" в моем "Темном царстве" [...] приезжает ко мне сотрудник "Света" Литвин и делает предложение писать для "Света" восемь передовых статей в месяц за 100 р. Это было всё, что мне нужно, и я спасен от позорнейших, от унизительнейших форм нужды, какие нес в течение трех лет петерб. жизни. — Едва пришла эта радостная весть [...] приезжает Гайдебуров, редактор неопределенно-радикальной "Недели" и предлагает сотрудничество в "Руси". ... Спасибо за мысли о "9 сент. в СПБ", конечно, статья плоха, но я почувствовал raison d'ecrire: раз я нападал жестоко на теперешних земцев, нельзя было за аналогичное не напасть на высшее чиновничество.

Жаль, жаль, что Вы не читаете воспоминания Стасова о сестре: вот уже иллюстрация к "Бесам" Достоевского. Это же возмутительно, эта низость падения государства и общества возмутительна".

[Без даты, "12 дек. 1896 г."]. [О Васнецове]. Это — католичество; это глубоч. нерв католический, к нам пробивающийся, в наше тело врастающий, точнее - в нем зарождающий-

ся. ... Дурачок Вл. Соловьев писал о "соединении" церквей, и конечно это так плоско и грубо, что только всех рассмешило. Но вот не видите ли Вы, что в самих русских [...] неуловимо и неудержимо развивается католическая тенденция, зародилась гамма католическая... Конечно Достоевский не в категории св. Сергия, не у него под епитрахилью, — а под тонзурой св. Франциска. Страшно это всё, и вот я оглядываюсь на себя: есть какое-то при всех бедах жизни, счастье у меня в душе, умиление, и опять — это ужас, ужас — вовсе не умиление св. Сергия при видении Богородицы. Это так странно, что я едва рассказываю;Вы знаете, как я ненавижу католичество, с его обманом, с его насилием, и до чего, до чего всем сердцем и упованием прилег к православию, а о. Амвросий Оптинский есть для меня идеал исторического героя, исторически нужного человека. Но вот — моя взволнованность? Статьи о свободе и другие, где я всё-таки был жесток? Этот дух нетерпимости, складка душевной жестокости, который стремит мою душу и с коим бороться я не способен? ... Вихрь, вечный вихрь, в своем роде Декартовский, в душе — откуда он, от Бога ли? Вот что страшно... И, главное, самое мучительное — я никого не могу послушать, не умею: слова, увещания отскакивают от наружной поверхности вихря, и внутренняя его сторона, *стержень,* увлекает в тот же полет... Франческа-да-Римини? Да, да! Я не знаю музыки, но вот же Чайковский написал Франч.-да-Римини? Почему *этот* сюжет? Почему не Садко богатый гость? Тайны истории! Но идите дальше, смело анализируйте факты: Бог поразил Россию нигилизмом, бросил этот ужасный камень, и всё под ним взволновалось, взволновалась возмущенная поверхность дремавших вод: этот смрад исторический кто бы вынес без гнева? Кого он не измучил? В ком не породил злобы? Злоба, да — вот она, корень католичества, корень почти святых Григория XIII, Иоанна III — праведный гнев, черта католическая и библейская, т.е. древнеиудейская, еще антиевангельская, еще *до*-православная. Вы знаете, я непрерывно пишу, неудержимо, и между тем, каждый момент не уверен, не есть ли все мои писания некоторое ужасное зло: ибо для меня народ русский именно в покое его, в эпосе, в св. Сергии — есть абсолютное, абсолютное именно по способу, по методу своего

выражения, суждения, всяческих отношений, и я ясно вижу, что этот метод, этот способ — я разрушаю, т.е. глубочайшим психич. образом разрушаю, ибо чувствую, *сам* чувствую красоту и правоту и силу в своем гневе, котор. следоват. заразит, будет заражать? Сжечь всё написанное? Скажут — Гоголь, т.е. болезнь, но ведь это же холодная логика, это пристальная прозрачность мысли, абсолютная невзволнованность в самом суждении: волнуется сердце около подобных суждений... Это — разница".

[Пометка "25 июля 1897 г."]. Моя книга *О понимании* вся и написана в убеждении, что наука *вырастает, рождается* из предустановленных в уме схем понимания (категорий познания) — естественно и необходимо — как растение рождается и вырастает из семени... Связь sexual'ной как бы встревоженности, как бы ушиба и опамятования с мистич. чувством небесного [ясна]."

[Пометка "7 августа 1897 г."] "Мистическому созерцанию всех вещей мира сего обеспечена победа, и смех Вольтера в 95 томах отлетает "срезанный соломинкой". Вот какая важная вещь открывается "inter feces et urinam". И здесь же все эти эксцессы и всё уродство [половое] опять подрезается "тонкой соломинкой": ибо что многозначительно, многосодержательно, многоценно an und für sich — не может стать предметом легкомысленных поползновений Стивы Облонского... Вот какие *белые горизонты* открывает исследование этих черных ужасов. Может быть и даже вероятно, что писать я об этом и не буду, но, мой дорогой, сохраните *эти* мои письма в своей б-ке "epistolarum": может когда кто прочитает и разработает эти — мысли. В узле явлений тут роль *сказуемого* играет религиозность, а роль *подлежащего* — семя человеческое, которое есть или легкомыслие — и из него тогда фатально растет Стива, культивирует его Стива; или серьезно —и тогда растет Левин, культивирует его Левин. Вы понимаете, что две эти противоположные точки зрения открывают две категории бытия человеческого (частного и обществ.), которые никогда и ни за что не мешаются как *Левин просто не понимает Стивы,* и обратно".

20 авг. [1897 г.]. [О Белинском, его судьбе, влиянии на молодежь. О Михайловском. О Павленкове. О картинке

Наумова] "Что такое Россия? Это — волнение стихий, безо всякого о себе сознания".

[Пометка: 3 сент. 1897 г.]. [О зачатии не как о причине, а как о цели. О мистичности мига зачатия] "Здесь мы имеем "естество", naturam, — но не одну и не так как всюду в остальном мире, но в миг касания к нему этого "сверх": это "сверх" — [т.е. "сверх-естественное", Д.П.] — каково бы ни было его имя и избранный им способ касания, и привносит *жизнь* на землю, отчего мы и говорим, что существо жизни непостижимо и даже прибавляем, что оно священно (убийство — огромн. религиозн. грех) ... Миг зачатия он [человек] сделал предметом анекдота (Стива Облонский); и проституция как фабрика есть уже последствие анекдотич. взгляда на вещи. Но с другой стороны тогда ясно станет теистич. чувство, которое ясно течет отсюда: миг "Вседержитель дал мне жизнь" (Иов) есть мир, понимаем ли мы его или нет — непосредственного прохождения каждого индивидуума под дыханием "сверх".

Я безмерно устал, служба меня истомила, необходимость 60 р. в месяц заработать литературой — истощила. Нужно всё это выразить с силою, с красотой, со *слезами* и прямо с *молитвой* — и тогда это получит многозначительность потрясающей истины; но Вы знаете — переложи поэму Гомера Акакий Акакиевич на "свои слова" и ничего не получится. Так и у меня уже теперь "ничего не получилось бы", начни я писать об этом, но пусть хоть зерно моей мысли, или, точнее, гадкая шелуха живого зерна, вымолоченная солома пусть останется в письмах к Вам.

... Мистическое в человеке [...] начинается вот [от] этого распадающегося на сопрано и тенор голоса, растущей [у мужчин] и не вырастающей [у женщин] бороды и далее, далее что все мы называем sexual'ным разделением. Чем оно кончается? — Рождением безгрешного младенца. Что такое младенец? — Мысль Божия [...] Грешен ли младенец? Не знаем, но вот проходит шесть месяцев, он улыбается нам и мы говорим: "Это, только это на земле и есть истинная и во всей полноте безгрешная улыбка". "Таковых есть царство небесное". Да что за странность, почему не *мое,* не *мне* царство небесное, когда я столько трудился, страдал — а он ничего не делал для царства небесного. [Оттого, что в нем через девять месяцев закончилось

"зарумянивание яблока". И если младенец умрет — ему не нужно покаяние, он сразу в раю.] Да почему в раю? Значит это не навоз, как я предполагал? Не свиной плод свиной минуты? Священник молчит, но по всей связи понятий, по умозаключениям науки и инстинктам человечества и даже по собственным его словам я утверждаюсь, что не только это не навоз, но что это было навозом насколько *Я* топтал его и вообще салило в слепоте его *человечество,* но *в себе самом* это единственное и есть sacrum noumenon Канта, "вещь в себе" Гегеля, — спадший на землю кусок "царствия небесного", как проще и конкретнее я и священник выражаем. [Очень интересно и дальше. И всё придумано на конке. "Лучшие мысли, дорогой С.А., пролетают в конке".]"

["7 сент. 1897 г." пометка Рач-го. Письмо без даты]. "Страх смерти мне всегда казался атеистическим состоянием, и удивительно как Толстой, имея его, даже и не скрывает.

[О сотрудничестве в "Руси" Гайдебурова, где Роз. поместил две статьи против толстовских колоний, Гайдебуров был доволен, сотрудники хмурились, но говорили, что Роз. прав]. Всё обещало мне новую аудиторию и ту, которая у "Недели" — т.е. невежественно-задушевную, и рублей 80-60 в месяц, что после потери места в "Свете" [какая-то интрига, шедшая со стороны, кажется, Любимова] означало: еще плывешь на льдине...

[Говоря о марксистах и анти-марксистах Роз. употребил выражение, что они возятся в углу России "где-то на Лахте" — а на Лахте полгода тому назад была захвачена тайная типография. Так. обр., получилось впечатление *доноса,* и Меньшиков, Н. Энгельгардт, Абрамов заявили Гайдебурову, что уйдут, если он будет печатать *доносы*] "деньги мои, деньги" — одно, что я думал, сидя перед ним, ибо в "Книжки Недели"у меня были сданы статьи, не пошедшие в Русск. Об., и кроме нужды, я ничего в литературе не чувствую и равно мне на всё наплевать, равно конечно и на всякие обвинения.

Теперь —"Новое Время", вся моя надежда — но добрый и благородный, но невежественный Буренин — из трех мною представленных статей печатает одну, отрезав ножницами начало и конец. И то когда напечатает — уж я его благодарю, благодарю, ибо сейчас в зеленную уплатишь и портному 10 р. месячной ренты снесешь, и что-нибудь детишкам на сапожонки. Да,

литературу я вполне и безусловно проклял, и равно мне наплевать в ней до всяких партий и всяких "торжеств" и "падений", ибо Россия без моей защиты обойдется, а мои дети без моей защиты не обойдутся [...] Теперь я осторожнейшим образом налаживаю сотрудничество в одном либеральном петерб. издании, где впрочем морщатся и просто страшатся моего имени. "Вы не кто-нибудь, ваше имя слишком значит и ярко в консервативном лагере и для журнала появление ваших статей, даже если они совершенно отвечают программе нашего журнала (есть *одна линия* — вражда к 60 гг., у нас сходная, и на ней я и пытаюсь жонглировать), вызовет в читателях (читай подписке) недоумение...

("Вас читают за мистицизм, за искренность, за яркий язык — не только не разделяя, но и ненавидя ваши убеждения, читают как писателя, а не как публициста" — все говорят мне.)

Теперь, напечатай я, что из Павленковских изданий выходит революция (именно, и страшная выходит, жгучая) — это будет уже не "донос"-обмолвка, но уже прямой и ясный донос на огромную книгопродавческую деятельность старого столпа радикализма, и двери литературы, т.е. единственно платящей и кормящей литературы для меня будут закрыты. А потому, дорогой мой, да лежат все мои "гражданские слезы" в архиве Вашем".

[Без даты — пометка: "6 сент. 1897 г."]. [Небезынтересное письмо, о связи пола и половых пороков с творчеством и праведностью; о Шперке, принявшем православие, т.к. в лютеранстве нет мистики; о поле в природе. О"философском открытии" Кравчинского: хорошо, что много худого: значит может быть лучше]. "До чего я рад, что развязался со знакомством здешних нео-славянофилов, Васильева, Шарапова, Аксакова, Романова (Рцы)... Они давили меня кошмаром своего либер. православия, своего конституц. "народничества", этого удивит. "богословия" (у Аксакова), которое мирилось — и почти требовало в Пасху проспать заутреню, а в день Ангела — немножко написаться [напиться?], а главное "ради службы" — оставить дома жену есть пирог и побежать к начальству есть более вкусный "по долгу службы" пирог. Мало кто знает, что всё мое консерват. бешенство в П-бурге вытекло из этих гнусных "собеседований" с "собеседователями", где каждое слово их,

самый голос, самая повадка говорить, важно барская, точно впрыскивала мне сулему или мышьяк в мозг.

Нынешний год у меня какой-то наплыв энергии [...] Я решил, что верно мне никто не поможет выбраться из тяжких жизнен. условий, и решил "принять борьбу". По всему вероятию я прикончу настоящую, т.е. любимую и в любимой форме литер. деятельность и из 1/2 "зарабатывания" хлеба обращу литературу в 10/10 зарабатывания хлеба. Довольно я пописал для души. Пора бросить эти затеи; я еще люблю оперу; весь Пб. можно отдать за Зембрих в Травиате. У меня есть дети, есть много претерпевшая жена!"

[23 сент. 1897 г. пометка Рачинского — без даты]. "У Вл. Соловьева нет *музыки* в душе, у него сердце *не поет* [По поводу статьи о Пушкине Вл. Соловьева]. Писарев и Вл. Соловьев — это антиподы и не в пользу последнего. Наделала нам пустота, поверхностность [неразборчиво] честности, но и это *углубление* кусающее [неразборчиво], клевещущее, извивающееся в ногах и в ногу язвящее — еще отвратительней. К счастью он глуп".

[28 ноября 1897 г. —без даты]. [О цитировании Мещерского, о Тертии Филиппове]. "Я постигнул жадный порыв Некрасова к "миллиону". Да 1.000.000 это моя свобода; это единственное в России условие не быть наковальней, не бегать а la Молчалин. Да — 1.000.000; ну, а у меня теперь есть на книжке 390 р., скопленных в Пб. Как только освобожусь я от одной огромной задуманной работы — буду писать всякую чепуху просто для обеспечения детей. Ибо у меня девочки [...]".

[Без даты, — 10 авг. 1898 г.]. [Всё письмо — 17 страниц! — о своей жизни: с Сусловой и с тепер. женой]. "О вопрос о браке *ушибся больно,* и мой ушиб был бы смертелен, если б я насильственно и дико не вырвался из этого ушиба — в жизнь ... Проживя три года в полном и глубоком одиночестве (никогда не любил товарищества] студентом, я в конце третьего курса женился на Сусловой, сестре известной докторши; какая-то мистическая привязанность, к много пожившей Irene (Ирина из "Дыма") "avec l'озлобленный ум". Телесной к ней любви у меня никогда не было, разве минутки самого начала романа; но был вечный страх, что эта безумная и "несчастная" (в моем

воображении) женщина что-нибудь с собой сделает. Вероятно я тут много нафантазировал, но и частица реального в моем чувстве верно была; я никогда ей не сказал простого "дура", при всей вспыльчивости и неудержимости в слове. Жили бесконечно плохо; мучительно, скандально; я писал тогда (в Брянске) книгу "О понимании", а она уверена была, что у меня мелькают юбки перед глазами; несколько раз, забрав рукописи, я переходил в гостиницу, и она упрашивала меня вернуться. Кажется, весь город знал наши скандалы, и я со всеми (т.е. близкими) советовался, как лучше жить, какой *метод* "женатого человека"; так бы верно промучились мы до могилы, пока (как теперь соображаю) она не влюбилась в молодого студента-еврея Гольдовского, с матерью коего (чудная евр. семья характерно христианского типа) она была связана 20-летнею дружбою; она сама позвала его гостить к нам на лето, он приехал и влюбился в дочь священника, отца Петра, Ал-дру Петровну [...] Я выполнял обязанности супруга и домохозяина б.м. сухо, я весь ушел в книгу [любимейшие главы в "Понимании"] [Гольд. и Ал-дра Петровна должны были расстаться, тогда возник *"жестокий"* роман у Сусловой, которой за-сорок, с 20-летним Гольдовским, которого она, б.м., тайно давно любила]. Вообще Суслова была невероятно грязна в речи, и "юбки", "панталоны" вечно мелькали в ее речи; зная, что это — какая-то болезнь у нее, я именно в грязи бесконечно жалел ее (и утонченно вежливый Гольдовский сообразовался с этим...) ...Долго рассказывать дальнейшее, но достаточно сказать, что она кончила тем, что упекла его в тюрьму [переслала жандарм. полк.письмо, где Гольд. дурно отозвался об Александре III], обвинила его перед отцом в кровосмешении с матерью и пр. Тут были самые трудные для меня дни;чтобы утишить бурю, я на всё соглашался; она требовала, чтобы я ему писал тоже (диктовала подл. письма), но я отказался; но не мог ей отказать в безусл. требовании — отнюдь не видеться с "жидом" [Гольд. был Розанову как "духов. сын", безвозмездно корректировал "О понимании" и заботился о распространении книги. Розанов, однако, встретился с Гольд. в другом городе; Суслова узнала об этом и, уезжая к отцу в Нижний], написала мне бешеное письмо, чтобы я выслал ей вещи и т.д., больше я ее не видел; я плакал; писал ей письма; всё обещал, даже противоестественное для

честного человека — всё было напрасно [Роз-в думал, что в другом городе они будут жить спокойнее, перевелся в Елец, звал туда]; "тысячи людей — в Вашем положении, и не воют; люди не собаки" — помню я рельефные строки из ее ответн. письма. [В Ельце И.Ф. Петропавловский, друг Роз-ва, посоветовал ему:] "не сходитесь никогда, ничего не выйдет у вас". Так это решение и упало камнем на меня. Я прекратил дальнейшие попытки восстановить разруш. жизнь.

Петропавловский этот квартировал в доме моей теперешней жены. [Ей был 21 год, была вдова, муж умер "ужасной болезнью закончившейся слепотой и сумасшествием"]. Значит, молодое сердце много перенесло.

[Суслова в разводе отказала]. Никакой романтической любви у меня так и не вспыхнуло; шло возраставшее уважение; шла потребность дышать одною духовною атмосферою с домиком около Введения [об этой введенской церкви в Ельце — не называя — говорится в конце "Лег. о Вел. Инкв."]. "Писатель-Розанов" незаметно там созрел в фундаменте как "Розанов-человек". [Ввиду долголетнего отсутствия жены, Сусловой, один священник согласился тайно обвенчать Роз-ва, 4 или 5 июня 1891 г., без церк. записей, при условии отъезда из Ельца]. Вот причина моего усиленного внимания к браку. Конечно, я детей не брошу; конечно, жену я не брошу, но ведь я прошел горнило семилетнего размышления, и еще имею особое "умоначертание", чтобы не чувствовать [неразб.] — да и позора в своем положении [...]. [Младенец] "пачкает мать". Иродова легенда бежит черною кошкой по миру; детей — стыдятся, и стыдясь — убивают; поразительно, что в публичн. дома никто решительно не стыдится ходить...". [Всё письмо очень интересно; о "Доме", как антитезе "квартиры"; о вымирающих остатках "идеалистов брака"; о "святой постеле" — а заканчивается просьбой о... старинных монетках: "я безумно влюбился в нумизматику"].

[Без даты, получ. "29 авг. 1898 г."]. "что муж около жены и тут же дети —религия, просто я это чувствую. ... Устал я писать, но за годы размышлений я вынес убеждение, что коренной пункт крушения нашей цивилизации есть именно отсутствие религиозно-текущей семьи; страшное разъединение плотей [...]. Мы загниваем в самом уголке бытия; мы не умеем рождать и

родиться; холодная и гусиная семья — дает выброс детей на улицу. Дети точат ножи на родителей. Раз это *есть,* раз это — факты, все утешения религии бессильны; все школы — напрасны. Дайте мне семьи — и я дам вам цивилизацию; дайте дьяволу в цивилизации проткнуть гнилой палкой семью — и цивилизация рухнет как мертвец. Теперь, мне думается, нашел средство поправить семью: существо плоти священно, и брак не номинально религиозен, но реально — это есть таинство между супругами. "Брак" есть супружество и таинством назван самою церковью именно оно. Говорить ярко и словом как хотелось бы, мешают мои 43 года и вечная усталость. [Нынешняя русская семья] очевидно сплелась с проституцией и плач "Крейц. сонаты" —не безоснователен".

Из писем Победоносцева к Рач. от конца сент. 1898 г.: "Я посылаю Вам "Русский труд" с курьезными образчиками Соловьевщины и Розановщины. Розанов — образчик того, что может совершиться с человеком без настоящей культуры и характера, когда он попадает из трущобного угла своего в [неразборчиво: "пандемониум"?] журнального писательства.

[Без даты. Пометка "23 сент. 1898 г."]. "Проституция идентична скопчеству в том и потому, что равно признает пол *"недоуместным минусом и нолем:* и что отрезывает скопец, то погубляет развратник в доме терпимости." [Далее о незак. детях].

[Без даты. 23 окт. 1898 г.]. [О расхождении с Соловьевым из-за того, что тот живет в гостинице и боится жить в семье, чтобы не внушить никому матримониальных надежд]. [О Толстом по поводу скульптуры Гинзбурга]. "Мне *мечталось* — оживить церковь семьею, ее животною, органическою, страстною стороною;и самую страсть, животное в нас — очистить религией. ...Не без внутренних слез делаю Вам эту приписку, последнюю о браке: Вы *трижды* мне писали: *именно Вам, живущему в анормальном браке, не следует вовсе о нем говорить* [следует опровержение].

["24 янв. 1899 г."] "Сердце мое так бьется о моем семейном положении, что, признаюсь, посетив Вас, я (по психич. бес-

силию) не в силах ничего буду слушать и ничего верно сам не скажу. Никакого укрывательства из своего поступка (вторичной женитьбы) я не хочу делать, п.ч. это значит отказываться от детей, которые светом души своей меня всему морально научили (больше и *влиятельнее* проповедей) [Требование узаконить детей, дать им фамилию отца и права на наследство. Ни государство, ни церковь не вправе отнять детей у отца], ибо это значило бы последовать ("подражать") не Христу, а греческому законодателю Дракону, отчасти — Ироду. Отказ в возвращении мне детей будет знаком к тайному выходу из церкви и государства, а позднее несколько, когда труд мой не будет нужен детям, — и к открытому выходу, с строжайшим запрещением меня хоронить на общегражданских или церковных кладбищах. Ибо если честного отца и мужа дети выброшены в поле, то, конечно, и я с ними желаю быть в поле и совершенно вне ограды государства и церкви... Не откажитесь сообщить это мое письмо К.П. [Победоносцеву]".

В.В. Розанов

ИСПРАВЛЕНИЯ

В книге 133-й "Н. Ж." в статье Ф. Елисеева "В Индокитае", на стр. 246 выпала строчка. Надо читать: "и в гражданской войне 1918-1920 г. г., которую закончил в чине полковника".

В книге 133-й, на стр. 67 в отрывке П. Палия "Военнопленный No7172", в строку 14-ю сверху вкралась досадная опечатка. Напечатано: "нет ни одного звука по европейскому вопросу". Надо читать: "по еврейскому вопросу".

ПИСЬМА И. А. БУНИНА К Б. К. И В. А. ЗАЙЦЕВЫМ*

(ПУБЛИКАЦИЯ А. ЗВЕЕРСА)

17-IV-1928

Дорогой, я подписываюсь на газетные вырезки — "Argus de la Presse", 37, rue Bergère, Paris IX. Стоит это пустяки — если слава не велика, конечно.

От сербов получил. Живем так себе — кругом все удивительно хорошо, но жить дорого и тяжко — кормят так паскудно, что я порой встаю из-за стола, буквально *ничего* не взяв в рот.

Жду не дождусь Граса — и тебя.

Спасибо за "Арсеньева". Истинно рад, что могу ответить с полной искренностью на твое доброе слово: "Св. Николай"[1] так хорошо, что прочитал три раза.

Целую Вас всех. Твой Ив.

P.S. Нынче дошли до итальянской границы, поглядели на итальянских солдат, — щеголи е.и.м.! — и ушли. *"Великая* русская революция" до какого ничтожества довела она нас, будь она проклята до скончания века!

1. По всей вероятности Бунин здесь ссылается на рассказ "Николай калифорнийский" из сборника *Странное путешествие* (Париж, Возрождение, 1927).

Дорогой друг, перевод на твои деньги был и я, переписав на нем твой *парижский* адрес, отдал обратно почтальону.

* См. начало в кн. 132 "Н.Ж."

Парижский потому, что неизвестно было, где ты: ты ведь написал нам *через две недели* после отъезда из Граса. А тут еще была Ирочка Ельяшевич-Цитович, сказавшая нам, что Вера и Наташа возвращаются в Париж (Ирочка была у нас 5 августа). Вчера был на почте. Говорят: раз вы переписали адрес на Париж, почта, конечно, тотчас туда и переправила; никакого удостоверения мы вам дать не можем, нет таких правил. — Думаю, что из Парижа деньги пошли в Pornichet, но разошлись с тобой.

Вот рад бы душой помочь тебе, да что могу сделать.

В Белград, верно, не поеду[2]. Не кончил работу, дай Бог кончить к самому концу сентября... Да оказывается, что нужно ехать непременно через Париж, где самому выправлять визы (швейцарскую и австрийскую) — да иметь нансеновский паспорт... да три ночи не спать (одну до Парижа, а две там) и т.д.

Завтра у меня будет Белич, он сейчас в Ст. Рафаэле.

Целую Вас всех

Сижу в Канне, едем к Ходасевичу

30 авг.[3] Твой Ив.

---

2. 1-го октября 1928-го г. в Белграде был съезд русских писателей - эмигрантов.

3. Т.е. 1928-го г.

Борис, дорогой, не негодуй, — дело не в том, чтобы опоздать на 2 недели с "Современными записками", дело в том, что вообще эта поездка[1] выбьет меня из колеи на *всю* осень, которая есть и всегда была моя *главная* рабочая пора. Белич был у нас, ночевал, затем мы виделись с ним вчера в Ницце. Я ему говорил, что я ехать сейчас не могу, что он вполне понял, просил только приехать в Белград зимою, что я, вероятно, почти непременно и исполню, е.б.ж. ("если буду жив", говоря толстовскими словами). Он мне сообщил, что сербы затевают русское книгоиздательство и русский журнал (будет выходить 6 раз в год, будет толстый). Начнется это дело, вернее всего в январе. Он был у Мережковских — и Д.С. и З.Н. *едут*. Поезжай и ты, дорогой, — твердо помня, что я *горячо* жалею, что не буду с тобою, который меня очень взманил Венецией, — и также прочих: Алданова и Куприна.

Чувствую себя так себе, живем по-прежнему. Всех Вас целуем сердечно.

6 сент.[2] Твой Ив. Бунин

1. См.: предыдущее письмо.
2. Т.е. 1928-го г.

25-X-28

Дорогой, прости поздний ответ — плохо себя чувствовал (да и чувствую), понервничал с Арсеньевым, третью книгу которого все-таки отослал. Видел Мережковских — на счет журнала уклончивы, — "может быть, его и совсем не будет", "на Струве поставлен крест..." Получил письмо от Белича: "Один Струве, оказалось, не может быть редактором, нужно соорудить редакцию, нужно какого-нибудь писателя или критика... Кого бы?" Вот и все. Про издательство: "Выпустим 12 книжек в год. Вот первые: Алданов, 2 тома Мережковского (Наполеон), сборник рассказов Лескова, Евгений Онегин с комментариями ..." Странный список!* Ну, да Бог с ним совсем, с этим делом! Одно вижу — Мережковские уже внедрились в него и его, верно, погубят. Что до меня, то от сотрудничества с ними просто уклонюсь.

Целую Вас всех,

Твой Ив. Бунин

*Да, еще будет книга Зинаиды — это уже она сама мне говорила.

Дорогой друг[1], напиши мне немедля, когда умер Андреев (год, месяц, число). Целуем всех. Живем пока слава Богу. Прости, что прикладываю ответ — это тебя побудит написать два словечка тотчас же.

Твой Ив. Бунин

1. Почтовый штемпель: Grasse, 17-11-28.

Дорогой друг, спасибо за письмо и за открытку на счет Андреева. В письме твоем кое-что даже меня, ко всему привыкшего, поразило. Черт знает, истинно с ума сходят люди!

Из Белграда ни слуху ни духу. Да я и сам, положим, молчу. Думаю — плохи дела. "Ну, посмотрим", им ты говоришь...

Чудесная погода, и я очень разленился. Шатаемся, почитываю... Остались здесь до февраля.

Новостей, слава Богу, нет.

Целуем Вас всех

22-XI-28 Твой Ив.

Дорогой Борис, были нынче у Мережковских, и я думаю о тебе: что же ты дремлешь на счет своей книги у сербов! Издательство уже действует и, очевидно, недурно: Д.С. говорит, что он получает помимо 20%, еще и полистную плату со своих книг, З.Н., взяв в "Возрождении" свою книгу (дневники) назад, уже устроила ее в Белграде, причем Белград даже платит за З.Н. какую-то неустойку "Возрождению"...

25-XI-28 Целуем Вас всех, Твой Ив.

Дорогой, по некоторым, чисто принципиальным соображениям, прошу тебя сообщить, в каком же положении твои дела насчет сербов.

Что же это выходит?

Издательство Мережковских только? Зинаида в пять минут устроила там свой дневник (который "Возрождение" отказалось издавать без некоторых выпусков, уж очень революционных и за который сербы платят даже за нее какую-то неустойку "Возрождению").

Все это — совсем между нами.

Целуем Вас

4 Дек. 28 Твой Ив.

Дорогие мои[1], какое страшное горе у нас и у Вас! Я вот уже двое суток просто прийти в себя не могу. И какая нелепость, какой ужас — какой-то ночной дикий трамвай![2]

Обнимаю Вас всех от всей души. Ваш Ив. Бун.

1. Почтовый штемпель: 21-12-28.

2. Бунин здесь пишет о трагической смерти Ю.И. Айхенвальда, которая произошла в 1928-м г. в Берлине.

Grasse, 1/14 янв. 29 г.

Дорогой друг, Масарику я не могу писать, бесполезно — секретарь его, конечно, даже не доложит ему эту очередную

мольбу. Написал сейчас одному человеку, но человечек этот не велик, не знаю, что из этого выйдет. Словом, огорчен я ужасно. Не велики деньги, а все-таки...

Целую Вас. Твой Ив.

Ужели Вишняк, Руднев, Зеелер не могут помочь? Действуйте энергичнее.

Весьма благодарю, дорогой друг, за все — и за то, что написал (а то уже очень давно не было о тебе ни слуху ни духу), и за Kufferle[1], — немедленно пишу ему, побуждаемый, конечно, только своим ненасытным честолюбием, ибо не получу, несомненно, ни гроша за перевод, — и за доброе слово об "Арсеньеве": *очень* рад, что тебе нравится, — эта "книга" доставила мне особенно много волнений и сомнений. Восхитился твоей проницательностью — ты страшно верно попал в точку: да, все-таки я человек весьма "нервический" и довольно-таки склонный "создавать себе препятствия", — если бы ты знал, напр., сколько их стоит *сейчас* передо мной на счет всего дальнейшего в этом самом "Арсеньеве"! Хотя ведь и то сказать: поставил я себе задачу истинно дьявольскую, небывалую по трудности!

Прости, дорогой, что я кончу на этом: в голове звон и муть, — третий день ужасный насморк, позавчера и вчера даже лежал в постели (и лежа, вытянул так много рому, что поднял великий "шум-бардак", крик негодования во всем доме). Ужасно все мы огорчены Наташей, только надеемся, что все это, Бог даст, пройдет скоро и бесследно, — этот песок только ведь нам, старикам, страшен. Сердечнейше целуем Вас всех.

10. XI. 29 Твой Ив. Бунин

1. Kufferle, итальянец, знаток и почитатель русской литературы.

Дорогой, думаете ли предпринимать что-нибудь против той истинно ужасной беды, которую сотворили нам сербы, уменьшив нашу тысячу до шестисот? Я просто в отчаянии —

Напиши два слова. Всех целую.

26. XI. 31 Твой Ив. Бунин

16. 3. 1932.[1]

Дорогой Борис, мы о Наташе думали и говорили все те дни

очень много, в день свадьбы *по часам* следили мысленно за ней... Искренно счастливы, что все там хорошо было! Да благословит ее Бог и впредь. Очень благодарим тебя и Веру за подробные письма. Твое письмо, кроме того, истинно прекрасно. Ты меня им вообще ужасно тронул, я, читая его, почувствовал особенно всех вас родными нам. С этим чувством и обнимаю тебя, дорогой, — равно как и Веру и Наташу.

Твой Ив.

---

1. Приписано почерком Зайцева.

15 марта 32 г.

Милый[1], дорогой мой, ужасно тронут твоим письмом, обнимаю и целую тебя от всей души. Целую Веру и Наташу, да сохранит Вас всех Бог. Я лежал недель пять, был в великом горе и отчаянии, теперь, слава Богу, стал понемногу двигаться, хотя все еще слаб всячески очень и "побледневши как сукин сын" по выражению Зощенки.

Твой Ив.

---

1. Почтовый штемпель: Cannes, 10. VIII. 32.

Милые и дорогие мои, Сделайте одолжение — надпишите и отошлите прилагаемое письмо — наше поздравление Владыке Евлогию. Я не знаю, как именовать Его на адресе (Sa Grandeur?). Кланяемся Вам все, целуем Вас. Галя[1] все еще больна (что-то, очевидно, в бронхах) — каждый вечер температура повышается. У меня все еще насморк, болит жестоко пол-лица. А погода светлая, но дьявольски холодная — в доме у нас просто ужас!

Боря, дорогой, окажи и еще услугу — получи за меня и вышли мне сербские деньги (прилагаемые марки — на расходы по пересылке). Не позволил бы себе беспокоить тебя, но боюсь, что сербы очень долго не вышлют, а тогда хоть пропадай.

25. 1. 33 Ваш Ив. Бунин

---

1. Галина Кузнецова.

14. II. 33

Дорогой, милый Борис, прости, что поздно благодарю тебя и за услугу и за добрые слова на счет моего писания. Я сейчас отношусь к себе так болезненно, так унижаю себя, что это была большая радость — услыхать — да еще от тебя — одобрение.

Кстати — если бы ты знал, как безобразно исковеркал я это писание! Нашли, что я даю слишком большие фельетоны, попросили давать короче, я, от стыда и обиды да еще шальной от Парижской жизни и начинающейся болезни, стал сокращать, мгновенно запутался, стал вычеркивать, что попало, переставлять куски... словом, сотворил такую бардель, что теперь взглянуть боюсь на то, что напечатал.[1] И еще горе — нужда великая, а печатать дальше негде: ясно вижу, что печатать меня дальше и вовсе не хотят — дорог и скучен...

По 80 целковых ни Галя, ни Зуров еще не получили.

Целую Вас всех сердечнейше. Твой Ив.

P.S. То, что ты напечатал о Св. Серафиме произвело на меня сильнейшее впечатление: этот снег и Св. Дух просто жутко-дивно.

---

1. Бунин, должно быть, здесь ссылается на публикацию "Из 'жизни Арсеньева'", появившуюся в *Последних Новостях* 29 января 1933 г. В основном текст этой публикации вошел в 8-ю и 9-ю главы повести "Лика", которая впервые полностью опубликована в 1939 г. Интересно отметить, что несмотря на жалобы Бунина в письме к Зайцеву и не считая некоторых вставок, автор еще больше сократил текст "Из 'жизни Арсеньева'" для издания в "Петрополисе" 1939 г.

Дорогой Борис[1], *если это сочтешь удобным,* т.е. незатруднительным для себя, скажи, когда пойдешь, словечко сербам, чтобы не очень задерживали мне высылку денег. Дела мои просто ужасны. "Последние Новости", высшая инстанция их, известили меня: двойных подвалов[2] больше не хотим печатать, отрывков из романов, повестей тоже — посему "Арсеньева" больше не можем принимать. Можешь судить, как я сел на мель! Могли сказать: давайте поменьше; или: будем печатать в 2 номерах; или: давайте *заглавия* отрывкам... Но вот, не знают ли...

Целую Вас всех. Твой Ив. Бунин

1. Почтовый штемпель: Grasse A.M., 27-11-33.
2. На самом деле отрывок "Из 'жизни Арсеньева'" был напечатан двойными подвалами в *Последних Новостях*.

Очень[1] благодарю за письмо, дорогой, — за *все* в нем. Известие о женитьбе потрясло[2]. [2 неразборчивых слова] в известном возрасте нельзя — можно ноги протянуть.

Целую, Твой Иван

1. Почтовый штемпель: 11. IX. 33
2. Т.е. женитьба В.Ф. Ходасевича на О.Б. Марголиной.

Дорогие, страшно тронут Вашим отношением ко мне. Что до дела, то оно *было,* по-моему, очень серьезно. Но ответили, что я "réfugié" — не то, что М.[1], который, я думаю, французский подданный. И не сохранили телеграммы[2] в тайне — значит, все сразу все узнали — и на rue de Grenelle[3], конечно, а оттуда — "энергичный протест"...

6.XI. 33 Целую Вас, милые, очень. Ваш Ив.

1. Это — Мережковский.
2. Прислали телеграмму из Стокгольма, запросив, какое у Ивана Алексеевича подданство.
3. Адрес Советского Посольства.

Дорогой друг, спасибо за милое (и чудесное) письмо. В Париж собираюсь в сентябре, — очень плохо устроены финансовые делишки, надо что-нибудь сделать во избежание весьма могущего быть краха. "Вишневый сад" не куплен —не на что. Жить надо на проценты, — иначе через 3-4 года ровно ничего не останется, — а какие же будут проценты, если "капитал"[1] станет еще меньше (после покупки)? Рады, что Вы сравнительно благополучны, огорчаюсь, что ты мало бодр. Что до меня, то я еще хуже того, — дни мелькают в грусти и в пустяках, в мелких заботах, в ненужной переписке... С собранием сочинений совсем плохо — "Петрополис" до сих пор не приготовил еще ни единой книги. На Сирилла* дивимся — это форменное безумие лезть теперь куда-то к черту на рога, на Дальний Восток. А потом проезд: он мне пишет, что должен "собрать" на дорогу 12 тысяч

франков, не более, не менее! Думаю, что и тысячи не соберет. А лета у нас, можно сказать, еще совсем не было: солнце иногда печет крепко, но неизменно при весьма прохладном ветре. Прежде в эту пору каждый вечер лежали в саду — в нынешнем году не лежали еще ни разу.

Будь здоров, милый, крепко тебя и Веру целую.

21. VIII. 34 Твой Ив.

* Кирилл Зайцев, все называли его "Сирилл" по-французски. Впоследствии принял священство[2].

Братка, я приехал в "Majestic", приходи ко мне нынче в 7 ч.

17. IX. 34 Целую тебя и Веру. Твой Ив.

1. Т.е. от Нобелевской премии.

2. Примечание почерком самого Зайцева.

17-V-35

Милый, "писательский обед" будет у *меня,* во вторник (21-го мая) в 7 часов. Можешь? Если нет, *немедля* извести.

Завтра (суббота 18-го) Цетлины зовут на дачу к себе, в Sevres — нас и Вас обоих. Приезжайте к 12 часам дня.

(Сейчас звонили к нам, узнали, что я пишу тебе и вот просили написать это приглашение). Ехать надо от *Порт S. Cloud* на автобусе № 1. Слезть на карефуре Ville d'Avray, идти по Rue Ville d'Avray, потом свернуть налево в уличку Freviele Levingt, где находится эта дача Цетлиных — № 11ter (называется La Miche).

Целую Вас обоих. Твой Ив. Бун.

Вечер 6. VII. 35

Мой дорогой, милый, спасибо тебе за чудесное письмо, — это совершенно точно — чудесное, — и да сохранит Вас Бог, целую тебя и Веру, желаю всех благ и думаю, что тебе будет очень хороша эта поездка, что ты напишешь прекраснейшую книжку о Валааме[1]. Получили "Дом в Пасси"[2], я еще не читал, — страшно был занят приготовлением следующей книги для "Петрополиса", — сейчас ее читает Марга[3], которая у нас уже давно и пробудет, верно, до средины августа. Очень жалко Куприна. Да и Бальмонта — я, по правде сказать, не ожидал, что дело так серьезно — вернее, безнадежно, непоправимо.

Пожалуйста, пишите нам и с дороги и с места. Все вам обоим кланяются. Еще раз крепко обнимаю.

Твой Ив.

---

1. *Валаам* появился в 1936-м г. в издательстве "Странник" (Таллин). В 1935-м г. валаамский остров еще принадлежал Финляндии.
2. *Дом в Пасси* появился в 1935-м г. в издательстве "Парабола" (Берлин).
3. Маргарита Августовна Степун.

---

16 IV. 36.

Братишина, прости, что не писал. Так строчил по 12 часов в сутки, что совсем был шальной. Вот тебе для инвалидов.[1] Целую тебя и Веру до скорого свидания, Бог даст: думаю быть в Париже через неделю.

Твой Ив.

---

1. Т. е. стихотворение "Москва" ("Здесь, в старых переулках за Арбатом"...), которое появилось в майском номере (№ 91) 1936 г. *Русского инвалида*. В этом номере Б.К. Зайцев упомянут в редакционной коллегии. "Москва" является вариантом ст. "В Москве" 1906 г. (см.: *Собрание сочинений*, 1965, 1, стр. 271). Кроме заглавия есть следующие изменения: в 2-м ст. "... Вот и март."(1906), "Март, весна" (1936), и в 5-м ст. "Днем — ростепель, капели..." (1906), "Днем падают капели..." (1936).

18.IX. 36

Дорогой Борис Каравaнович,

Сознаться в своей ошибке и раскаяться лучше поздно, чем никогда. И я очень рад, что уловил эту ноту в Вашем письме. Я Вас понимаю: Вы не могли отнестись к моей гениальности в области медицинской науки с достаточным уважанием: я, к сожалению, не имею дипломов, как гг. Павловы, Алексинские и тутти кванти, наши, с позволения сказать, "знаменитости"; я не мог их добиться: сын бедного дьячка в захудалом погосте глухого зырянского края, выросший в тисках нужды и самой неприкрашенной действительности, я напрасно рвался с детства к свету и знанию, всюду встречая только грубый произвол, насилие и те воистину "жестокие нравы", кои так красочно живописал наш бессмертный Максим Островский, я не мог получить специального научно-медицинского образования. Но Бог не лишил меня индукции и дедукции! И вспомните, что я Вам говорил? Я говорил Вам, как русский человек: "Вы не досираете!

Вам нужно иметь 2 жопы для того мяса, которое Вы пожираете, подобно льву или жирафу! Обратите внимание на желодок[1] и на сфинктор!" И вот, я оказался стократ прав!

А серьезно говоря, мой дорогой, я рад, что наконец найдена, — и, вероятно, правильно, — причина твоей слабости, вялости (не надо только забывать и другой — нервности, свойственной нашему брату). Лечись — и не прислушивайся к себе. Скажи своему доктору — пусть он пропишет тебе *стрихнин Houdé.:* изумительно и для желудка, для усвоения пищи, и для укрепления нервов, равно как *и для ума* — твердо говорю это последнее. Мне еще *Щуровский* когда-то сказал: "Хотите писать без удержу и без усталости? Стрихнин!" Это пузырек, в котором 60 маленьких розовых шариков (стоит всего 10 фр.). Принимай всего 2 раза в день — за кофеем одну пилюльку и за завтраком *(только чтобы промежуток между приемами был не меньше 4 часов).* Вот. И храни тебя Бог.

Спасибо, что вспомнил обо мне, будучи в "Иллюстрированной России".

Дом наш весь в разгроме, почти все увязано, нынче отправлено все самое тяжелое — малой скоростью. Я думаю быть в Париже числа 23-го, 24-го. Вера с 3 [2] дня через 2, через 3 после меня.

Alors, до свидания, если Бог даст. Целую Вас, милые, обоих.

Ваш Ив.

1. Так написано Буниным.
2. Леонид Федорович Зуров.

Братишина[1], мы тебя целуем, — Вера у нас обедает, — рад твоим успехам, слышу, что в воскресенье тебя будут чествовать в клубе и предупреждаю: место в смысле выпивки *опасное очень,* не надирайся! Под утро будешь погибать.

Твой Ив. Б.

1. Почтовый штемпель: Paris, 19 juin 37. Письмо было послано Зайцеву в Лондон.

Спасибо[1], дорогой мой, за письмо, за сведения. Нынче понедельник 27-го июня. Надеюсь быть в четверг или в пятницу вечером в Ницце, а на утро у Вас. Цена квартиры[2] нам нравится.

Но — 100 ступенек вверх, по откосу? Вот это стариков пугает. Но посмотрим. Целую Вас всех. Твой Ив.

1. Почтовый штемпель: Paris, 27. 6. 1938.
2. в Beausoleil (A.M.).

Прости[1], дорогой, — забыл ответить на твои вопросы. Мать Чехова звали *Евгенией* Яковлевной. Черепичных крыш в Ялте почти не было, — разве что возле мола, на базаре, на каком-нибудь стареньком домишке, или на окраинах, на татарских кофейнях, — выехать ни нынче ни завтра не могу — слишком много народу, посоветовали у Кука выехать в воскресенье, в 12 ч. дня, и быть в тот же день в полночь в Ницце, где и ночевать, ибо этот поезд только до Ниццы. В "Терминюсе" навряд остановлюсь — все "Терминюсы" шумны, возле вокзалов. Всех целую. Твой Ив.

1. Почтовый штемпель: Paris, 31. VI. 1938.

10 июля 1938 г.

Дорогие мои, думал, думал — и не решаюсь (по крайней мере сейчас, в жару) взять этот аппартамент над Вами. Да и вообще боюсь *сейчас* юга для Веры. Остаюсь тут на несколько дней, потом поеду домой: *ровно нигде* не нашел даже комнатки, даже для одного себя! *Пришлите мне как можно скорее* письмо Веры. Я ездил в Борм (возле Лаванду) — и там *ровно ничего!* Просто чудеса! Когда отдохну, навещу Вас. А сейчас, всех Вас целую и обнимаю.

Ваш Ив. Бунин

Вот мой адрес: Mr. Bounine. Le Grand Hotel Cannes

18. VII. 38

Простите, милые, что уехал, не повидав Вас — устал от бесплодных поисков, впал в грусть — и бежал. *Очень* жаль квартиру над Вами, но, повторяю, уже очень высоко! Да и жара в ней будет *теперь* адова ... Сидим в Париже — холодно, серо, на душе — и сказать невозможно!

Крепко целую Вас всех. И.Б.

28. VII. 38

Милые мои, родные, очень благодарю и целую Вас за письмо. Целую Наташу, кланяюсь Андрею. Я сижу в Париже, живу такой странной и идиотской жизнью, что и сказать нельзя.

Вера вас всех обнимает. Ваш Ив. Бун.

Снимаю с 15 сент. на год Belvédère. Возвращается ветер на круги свои!

3. VIII. 38

Плохо, милые мои! Удушающая жара — и некуда деться: и дорого и все полным полно *везде!* Ляля с девочкой[1] едет 5-го в лагерь под Biot'ом, а те две барышни живут в крохотной комнатке на бульваре Фландрен, к нам приходят только обедать — и *обе* вдребезги больны и нищи: у Марги так болит позвоночник, что не может порой ходить, — отнимается левая нога, у Гали сердце, опухают ноги, лицо. Со мной она *никогда ни единой* минуты не бывает — мне это не нужно, было бы только тяжело и неловко быть, но, понимаете, неприлично ... Сам сатана не мог бы лучше выдумать стыда для меня... Скрыться куда-нибудь? Да куда? Ну, нашел бы где-нибудь гнусный пансион ... а одинокие вечера и ночи? "Одиночество, какого не бывает ни под землей, ни на дне моря..."

Целую Вас всех, будьте здоровы. Ваш Иоанн Рыдалец[2]

1. Т.е. Елена Жирова с дочкой Олечкой.
2. Титул рассказа самого Бунина 1913-го г.

Вторник[1]

Дорогие мои, простите пожалуйста за новое беспокойство! Дело в том, что хозяин "Бельведера" такой сукин сын, такие выдумывает штуки, что *очень* возможно, что дело мое с новым наемом этого "Бельведера" не выйдет. Вот мы с Верой и кинулись опять мыслью к той квартире[2], что над Вами (над Вашей дачей). Высоко? А "Бельведер"? Переть к нему снизу еще труднее! Просим Вас поэтому: будьте добры, узнайте, свободна еще эта квартира или нет? Узнайте немедля и дайте знать тоже немедля. Сейчас посылаю *телеграмму,* стоимость ответа на которую оплатил. Преимущество этой квартиры еще в том, что

она сдается помесячно. Конечно, если мы ее снимем, не один же месяц мы на ней надеемся остаться. Я не говорю, что дело с "Бельведером" совсем кончено, — буду с хозяином спорить, — и что я *непременно* сниму эту квартиру: за это только 50 процентов. Но что же за беда, если Вы еще раз побеспокоите хозяина ее? Так вот, сделайте мне это одолжение.

Целую тебя, дорогой Борис, за прекрасное письмо,
целую тебя, Вера, от всей души. (А Соллогубы уже уехали?)

Ваш Ив. Б.

Вера целует Вас тоже. Если квартира свободна, узнайте у хозяина, должен *я* буду платить налог за нее или он? И еще вопрос: если я квартиру возьму, можно ли мне будет приехать на нее через неделю?

---

1. По содержанию можно заключить, что это письмо относится к августу 1938 г.

2. Т.е. квартира в Beausoleil.

Прости[1], дорогой, что не ответил на твое милое и прекрасное письмо — обалдел от однообразия катанья катышек за письменным столом! Да и нездоровится.

Целую тебя и Верочку крепко. Ив. Бун.

---

1. Почтовый штемпель: Monte Carlo.

---

1. XI. 38

Очень грустно, сижу в кафе, неумеренно пью кальвадос!

ДОЖДЬ И СОЛНЦЕ

(ПО ДОРОГАМ ГЕРМАНИИ В 1945 ГОДУ)

Ход военных событий забросил нас в Австрию, и в апреле 1945 года я с мужем и двумя детьми — Мишей 10-ти лет и Таней двух с половиной — оказались в местечке Уттендорф, в 14-ти километрах от старого городка Браунау, расположенного на границе Баварии.

Война близилась к концу. Германия, зажатая кольцом союзных войск, горела, взрывалась и трещала по всем швам. Наша убогая сирена ежедневно завывала "алармы", жители прятались по домам, и я с замиранием сердца слушала хозяйское радио, сообщавшее о направлении неприятельских эскадрилий. Мы никуда не прятались и из дома не уходили, наше село было слишком захолустное, бомбардировка вряд ли ему угрожала, но снижающиеся истребители не раз обстреливали из пулемёта стоявшие на станции поезда и грузовики, идущие по дорогам. Страшно было всегда за мужа, который должен был каждый день отправляться на работу в Браунау и только молитва и надежда, что Бог сохранит его, успокаивали меня. Постоянное нервное напряжение стало чем-то привычным, и теперь в мирной обстановке, вспоминая все, через что мы прошли, кажется странным, что мы так спокойно решались на самое невероятное, и благодарю Бога, что сохранил нас всех.

В начале апреля к нам приехала из Вены моя старшая сестра Анна с двумя детьми. Её муж еще в сентябре 1944 года пропал без вести. Сыну ее Володе было тогда 10 лет, а девочке Александре, или как её прозвали в семье Лине, — 7 лет. От почти непрерывных сидений в душных бункерах (Вену бомбардировали беспощадно) у Лины сделалось воспаление желёз и угрожал

туберкулёз. Анна решилась на риск и, бросив всё, нелегально, в самый разгар бомбёжек, несмотря на обстрелы поездов, по разорённым путям кинулась к нам. Всюду есть добрые люди и ей с двумя детьми, с больной девочкой, в дороге помогли и она благополучно добралась до нас. Сначала мы все семеро ютились в нашей комнате, но вскоре, благодаря сочувствующему нам доктору, удалось найти им комнату у крестьян. Тишина нашего захолустья и чистый воздух мало-помалу поставили девочку на ноги. Анна же долго не могла прийти в себя от пережитых волнений. Сирена, на которую мы мало обращали внимания, бросала её в нервную дрожь, ей все хотелось бежать, прятаться, уводить детей, но вскоре и она успокоилась.

События же на фронтах развёртывались с головокружительной быстротой. К Вене подступали советские войска и вскоре можно было ожидать падения города. Мой отец, мать и младшая сестра Алинка находились там. Судьба их нас очень волновала. Мы были бессильны что-либо сделать, чтобы их вытащить, оставалось надеяться, что они сами, как и Анна, доберутся до Уттендорфа. И вот, как-то вечером, мы уже ложились спать, когда под окном раздался голос матери: "Ольга! Володя!" Усталые, голодные, но счастливые, что добрались, они рассказывали нам о своих приключениях в дороге. Бог помог, всюду встречали добрых людей, Алинка, благодаря своей физической силе и энергии, спасла вещи — всё дотащили. В Вене бомба попала в их дом, из пожара спасли почти всё, последние дни ютились у друзей, были в отчаянии — без пропуска уехать нельзя, бомбардировки стали ужасающие, фронт почти подошёл к городу, с минуты на минуту ждали уличных боёв, мечтали попасть к нам и вот наконец удача: за несколько пакетов папирос удаётся устроить пропуск, и вот они здесь! Хозяйка уступила нам еще одну комнату и родители с Алиной поместились рядом с нами. Жизнь как-то наладилась. Было одно волнение — раздобыть достаточно еды, чтобы не голодать. Ходили по фермам, меняли вещи, по очереди стояли в хвосте за неизвестно из чего сделанной колбасой белого цвета, которую давали по кусочку на человека, мы её прозвали "запиндю, или колбаса из бабочек", и были в восторге, когда удавалось обмануть мясника и переменив шляпу, получить второй раз.

Весна была в полном разгаре, зеленели деревья, на опушках леса появились первые цветы, на лугах мы собирали молодые листики одуванчика для салата и варили зелёный суп из молодой крапивы. Нервы отца успокоились, сидя на скамеечке, он грелся на солнце, наслаждался тишиной и казалось забыл, что кругом ад и ужас, из которого он так недавно вырвался. Мне было весело, что все опять с нами, я была рада, что снова встретилась с младшей сестричкой, с которой всегда была особенно дружна, мы над всем смеялись, все трудности жизни обращали в шутки. Помню, как-то мы полоскали бельё в ручье, как вдруг со страшным треском и рёвом из-за горы вылетели три истребителя, которые обыкновенно обстреливали из пулемёта всё, что попадалось. "Алинка, текай!" — не своим голосом закричала я и мы обе, не выпуская из рук мокрые простыни, кинулись под навес, но почему-то впопыхах побежали не к двери, а со страшными усилиями начали карабкаться на загородку и, уже сидя на ней верхом, сообразили весь комизм происшедшего и долго не могли прийти в себя от хохота.

Фронт между тем приближался. Вечером все собрались у радио и, закрыв наглухо все двери и окна, под страхом расстрела, слушали передачи из Лондона, Парижа, из Швейцарии. Я раскладывала на столе карту и, впившись в нее глазами, старалась отгадать, кто раньше? Кто скорее дойдет до нас? Вена сдалась, бои идут под "St. Pölten". А на западе американцами занят Нюрнберг, если отмерить карандашом, то мы в центре, ну, а дальше? Эй вы, американцы! — говорили мы с Алинкой, тыкая карандашом в Нюрнберг, — торопитесь! Володя и папа сидели, буквально прилипнув ушами с двух сторон к радио; иногда они многозначительно смотрели друг на друга и как китайские болванчики одновременно кивали головами. "Что, что сказали?" — кидались мы к ним. Отец делал страшную гримасу и сердито отмахивался: "шшт! молчите!" — и еще крепче прилипал к радио.

Продовольствие, молодая крапива и тёплое солнышко отошли на второй план. Становилось всё яснее и определённее: надо ехать, надо двигаться на запад. "Двадцать два года тому назад, — говорил отец, — мы от них бежали, они и сейчас всё те же, не хочу к ним попадать, надо решаться на всё". Володино

твёрдое убеждение было, что надо хотя бы переехать в Баварию. "По всему видно, — говорил он, что Бавария окажется оккупированной американцами. Где пройдёт демаркационная линия советской оккупации, определить сейчас трудно, но во всяком случае река Инн явится уже естественной границей, это почти наверно. Нам до границы недалеко, 14 километров, если не удастся сейчас устроить пропуск и ехать поездом, то пойдём в последнюю минуту пешком, как-нибудь переправимся через Инн. На этот случай мы купили ручную тележку, чтобы везти в ней детей и самые необходимые вещи.

Как-то вечером, вернувшись со службы, Володя отозвал меня в сторону. Лицо у него было серьёзное и даже взволнованное.— "Что случилось?" — "Вот что: сегодня хозяин объявил, что на мое место поставят другого, а меня с группой советских пленных пошлют рыть окопы". Я застыла. Физически почувствовала, как сердце оборвалось и спустилось куда-то вниз. Это значило конец. Вихрь мыслей: начальство — не теперешний хозяин, в душе антинаци, а СС, военная дисциплина, за бегство расстрел; его отошлют неизвестно куда, пропадёт как Серёжа, муж Анны, я его никогда не увижу, одна с детьми, советская оккупация, — Бог знает, какие ужасы пришли мне моментально в голову. — "Ну, и что же... что ты будешь делать?" — Я с ним завтра поговорю, все объясню, он такой, что с ним можно, поймёт, а потом надо смываться, и поскорее, пока СС до меня не добрались. Всю ночь я плохо спала. Снились жуткие лица СС, которые отбирали у меня Володю, голодные и оборванные Миша с Танечкой, мы одни и кругом солдаты со свирепыми лицами. Несколько раз я просыпалась с чувством: скорей, скорей, собирать вещи, бежать, перейти в Баварию, оказаться за рекой Инн.

Весь следующий день прошёл в приготовлениях к отъезду. Я разобрала вещи на необходимые, самые нужные и менее нужные. Из своей непромокаемой куртки сшила рюкзак для себя, из коричневой юбки рюкзак для Володи и маленький настоящий был отдан Мише. Каждому положила смену белья, одежду, кружку, прибор, полотенце и простыню. Рюкзаки на случай, если придется идти пешком. Остальные вещи разложены по чемоданам. № 1 — самые нужные, № 2 — менее нужные и 2

чемодана — все остальные. Таким образом было заранее известно, какие чемоданы бросать первыми, если нельзя с собой все брать, и какие в самом крайнем случае. В рюкзаках же было всё необходимое и даже дорожная аптечка.

За этот день Володя развил необыкновенную энергию и, как это бывает, если повезёт с утра, то везет весь день, так было и тогда, — ему всё удалось. Хозяин внимательно его выслушал и сказал: "Вот что: я дам Вам отпуск по болезни на 14 дней, а там многое переменится. Желаю Вам удачи". Окрылённый успехом, Володя бросился хлопотать дальше. Нужен был пропуск. Достать его было почти невозможно. Железные дороги были в то время сильно разрушены, волна беженцев хлынула из Вены, поезда были переполнены, люди ехали на подножках, на крышах вагонов, толпы шли пешком с ручными тележками, с рюкзаками, толкали перед собой детские коляски. Наш план был переехать границу Баварии и, заехав к моему троюродному брату Гоге О., который жил в 30 километрах от границы, выждать события, после чего конечное стремление Володи было попасть во Францию, где у него были мать, братья и сестра и где он сам вырос, учился и жил до 1939 года. С помощью папирос удалось ему раздобыть и пропуск. Вернулся он домой весёлый и все приободрились. —"Ну, теперь, чтобы завтра всё было готово, вечером отвезём вещи на станцию и послезавтра в 6 утра тронемся". — Боже мой, что это был за день! Всё надо было сообразить и удержать в голове: что куда уложить, кого как одеть, приготовить провизию, запаковать, наклеить этикетки и не забыть еще что-то приготовить на обед детям, у которых уже выработался за это время необыкновенно нудный и волнующий припев:"Я голо-о-одный!!" Накануне я выменяла у одного русского пленного, работника на ферме, Володин смокинг на кусок солёной баранины. Он его очень таинственно принёс завернутый в тряпку. Я думаю, что баранина была краденая, но она была мне очень нужна, и я в подробности не вдавалась.

К шести часам вечера приехал хозяин Анны с телегой везти вещи на вокзал. Дети радовались и веселились больше всех, помогали грузить и умолили, чтобы их взяли тоже. Алинка и Володя с детьми отправились, — и в комнатах наступила тишина. Я прилегла на кровать и закурила припасённый еще с

утра окурок из окурка. Но тут вдруг случилось нечто, совершенно изменившее наши планы и имевшее влияние на нашу дальнейшую судьбу. На улице послышались торопливые, бегущие шаги, грохот на лестнице и звонкий, взволнованный голос Володьки прокричал: "Владимир Петрович приехал!!"

Владимир Петрович П. был бессарабский помещик. С ним у нас была старая дружба, он временами гостил у моих родителей, когда они жили в З., и потом постоянно переписывался. Это был человек невысокого роста, сухой, с острыми чертами лица, с большими на выкате карими глазами, лет ему было около 50-ти, а может быть и больше. В жизни у него были какие-то драмы, о которых он никогда не говорил, но которые, очевидно, оставили в нем след, так как он был необыкновенно нервен; в минуты волнения, прохаживаясь по комнате, говорил вслух какие-то отрывочные фразы, был упрям и раздражителен, но очень ласков с детьми. Был он человек очень верующий и по существу добрый и услужливый. Любил доставить удовольствие, подарить, помочь. Часто помогал совсем чужим и неприятным ему людям, ругал их, грубил, посылал к чёрту, но все же помогал. Когда советские войска подходили к его имению, он запряг четверку прекрасных лошадей в две тележки, привязанные одна к другой, нагрузил их мукой, салом, овсом, табаком, одним словом всем, что тогда было валютой, и двинулся прочь, куда глаза глядят. Немцев он ненавидел люто, но несмотря на это ехать было некуда и он появился в Вене у моих родителей. Когда его спрашивали, зачем он приехал в Германию, если так их ненавидит, он мрачно отвечал: "нервы не выдержали". Лошадей его устроили работать на ферме под Веной, а сам он жил у наших. Когда они уехали к нам, В.П. сам ещё не решил, что будет делать; собирался выезжать, чтобы пробираться в Швейцарию, колебался, и наконец, после тысячи приключений и странствований по Австрии со своими лошадьми, из которых осталось только три, появился накануне нашего отъезда в Уттендорфе. Потом он говорил Володе, с которым у него были очень хорошие, дружеские отношения: "В такое страшное время, когда жизнь на волоске, хотелось быть со своими людьми".

На крик Володьки распахнулась дверь родительской

комнаты и послышался радостный голос отца: "Да ну? где же он?", а за окном на улице раздался стук колёс, затем: — "Тпррр! да стой же чёрт! Э-э, Васька!" — нетерпеливое ржанье, скрип и шум. Я бросилась к окну. Владимир Петрович в длинном до пола рыжем армяке, который он торжественно называл буркой, в барашковой черной шапке, разнуздывал лошадей. Первая большая телега была наполнена аккуратно утасованными мешками всех размеров, а задняя небольшая, охотничья таратайка, нагружена сеном. Отец, держа мундштук с догоревшей папиросой в руке, вышел из двери и улыбаясь подошёл к В.П. Они обнялись. "Владимир Петрович! — закричала я в окно. — Вот здорово!" Он снял шапку и улыбаясь помахал мне рукой. На улице уже стояла толпа полукругом и с недоумением смотрела на телеги, на лошадей и на странного человека в рыжем балахоне. Володька рассказывал, что на станцию не поехал, а пошел помогать Анне и по дороге встретил В.П. Вскоре вернулись Володя и Алинка со станции с радостно недоуменными лицами. Алинка поймала меня в коридоре: "Ты хотела бы ехать не поездом, а на лошадях?" — Она сияла. "Да, очень". Я откровенно очень боялась этого путешествия в поезде — бомбардировки, переполненные поезда, беженцы. Мы всех детей по дороге растеряли бы, не говоря уже о вещах. Мне сразу представился весь романтизм путешествия на лошадях. Сейчас весна, погода, даст Бог, будет хорошая, ночевать будем где-нибудь на фермах, если бомбят, в города не будем заезжать, гораздо лучше, спокойнее, хотя, правда, дольше... Да куда торопиться, мы все равно не знаем, куда едем и что будет. Что-нибудь да будет, успокаивала я себя. Вечером, после ужина собрался семейный совет. Владимир Петрович широко угощал табаком, что было редким удовольствием. Все сидели вокруг круглого стола в комнате родителей и оживленно обсуждали.

"Когда мы ехали из Вены, —говорил Володя, обращаясь к родителям, — творилось Бог знает что на железных дорогах, а что сейчас!.. в этом я убедился, когда на днях хозяин послал меня в Зальцбург. Вся станция, наполовину разбитая, наполнена беженцами со всех сторон. Все это сидит прямо на платформе, на тюках, мешках, тут же прикрытые пальто спят маленькие дети, лица унылые, усталые, с выражением тупой безысходности, это

люди не имеющие ни крова, ни даже цели, их, как листья ветер, несет куда-то общая волна, и они не знают куда. И не только станция, кафе, рестораны, холлы отелей полны такими людьми. Власти пытаются навести какой-то порядок, выдают пропуска, куда-то кого-то посылают, но и там чувствуется растерянность. Я пришел в ужас от этой картины, вам уж этого не рассказывал, чтобы не пугать, но сам очень боялся исхода нашего путешествия. Ведь редко какой поезд проскакивает без обстрела истребителей, пути во многих местах разрушены, так что приходиться иногда по 10 километров идти пешком. Вы представляете себе папá с его больными ногами, больную Лину и Танечку? А вещи?" — Все молчали. "У меня от сердца отлегло, когда я узнал, что В.П. с лошадьми приехал".

— Да, — сказал отец, — я все это прекрасно понимал, и считаю, что Бог послал нам выход в лице В.П.

Поповский молчал понуря голову. "Все это так, господа, — сказал он продолжая смотреть на свой кисет, который крутил в руках, — но как же сделать? ведь вас много, и вещи". Он усмехнулся, и вдруг, резко отодвинув стул, встал. "Мои телеги еле держатся, два колеса совсем разъехались, мы и километра не отъедем!" Анна, молчавшая до сих пор, неожиданно, подняв брови и сморщив лоб, взволнованно заговорила: "И потом, как хотите, но я с больной Линой не поеду на лошадях. Ведь сейчас только апрель. Может быть снег, холод, телеги открытые, не дай Бог простудится, на лошадях придется тащиться медленно... Это значит погубить ребёнка!" Тут все заговорили сразу. Разобрать было трудно, кто что говорил, но слышалось: "Да вы с ума сошли... Нападают, обстрелы, хочешь пешком идти... 7 человек взрослых и четверо детей, да вещи... можно завтра к кузнецу, подкрепить... Я не поеду, мне ребёнок дороже. Ну, поезжай одна поездом, посмотрим, кто раньше!" — "Замолчите, бабьё! — вдруг громовым голосом воскликнул отец и стукнул ладонью по столу. — Решать будем Владимир Петрович, Володя и я". Все на секунду притихли и разговор повёлся мужскими голосами; мы же, вытянув шеи, наклоняясь друг к другу, свистящим шопотом продолжали спорить и доказывать друг другу за и против. — "Анна дура, —шептала Алинка, — не понимает, что и сравнить нельзя". "Мы Лину, если будет дождь, спрячем в чемодан", —

шутила весёлая и всегда бодрая мать. Я, перегнувшись через спинку стула, старалась доказать Анне, что риска меньше на лошадях. "Да ты глаза не таращь, я и так понимаю", — раздражалась Анна. Между тем наши мужчины всё обсудили и выяснили. Было решено с утра идти к кузнецу и узнать, можно ли всё привести в порядок. После обеда Володя должен был на велосипеде съездить в Браунау и достать новый пропуск для телег, чтобы переехать мост на баварскую сторону. "Нам, собственно, — сказал Володя, — и ехать-то не очень далеко. До границы 14 километров, а там до Перах, это не Бог весть что, в два дня сделаем".

Вещи вернули с вокзала. Кузнец за некоторое количество табака обещал к вечеру привести телеги и лошадей в порядок. Володя уехал на велосипеде в Браунау и его возвращения ждали с большим волнением. Он приехал, как выжатый лимон. "Там Бог знает, что творится. Город наполнен СС-овцами, всё какие-то мрачные личности, вид такой, что готовятся к защите, мост охраняется и, как мне сказали, через 6 дней будет закрыт. Нам надо торопиться, завтра же ехать. Мне удалось получить пропуск, опять повезло, я попал на очень милого полицейского, который, оказывается, читал "Войну и мир", очень поразился, что я Толстой и внук, долго ахал, говорил: "Wie komisch!" — и сказал, что завтра он на посту у моста и всячески нам поможет проехать. "Ну, уж теперь не подведите, — посмотрел вдруг на меня и Алину Володя, — чтобы все было готово, завтра в 6 встаем грузить и не позже 8-ми часов надо выехать". — "Да что ты кипятишься, у нас еще вчера всё было готово — к поезду".

Часов в 7 вечера, выглядывая в окно, я вдруг увидела проезжавшую тележку, запряженную парой низкорослых лошадок. Таких повозок с беженцами проезжало очень много, но эта привлекла мое внимание. Правил седой, усатый старик в русской папахе, рядом с ним сидела совсем молоденькая женщина с грудным ребёнком на руках. Около подводы шёл молодой человек в офицерской немецкой форме. Проехав немного наш дом, тележка остановилась. Молодой офицер что-то сказал сидящей женщине и скрылся из вида. Она продолжала сидеть с рассеянным, усталым лицом. "Вот так и я скоро с Танечкой"... — подумала я, и захотелось узнать, кто они, куда едут, может быть

надо помочь. Я вышла на улицу и подошла к телеге. На мой русский говор женщина устало улыбнулась, она была почти девочка. "Пойдем к нам, — сказала я, — мы живём напротив, вам наверно надо ребенка покормить, переодеть". Она с радостью согласилась. Оказалось, что она жена офицера, он тоже русский, офицер Р.О.А., бывший офицер Красной армии, едут из Линца, советские войска подходят к Линцу. Муж привез ее с ребенком сюда, сам должен вернуться. Мы занялись ребёнком, который вскоре заснул, а затем и муж ее, направленный возницей, постучался к нам. Узнав, что мы завтра уезжаем, он попросил разрешения устроить жену переночевать у нас, с тем чтобы остаться в нашей комнате, после нашего отъезда. Хозяйка не имела ничего против. Мы их накормили, чем могли. Офицер этот немцев ненавидел, как и Поповский, и в лицо говорил им, что войну они проиграли из-за своей глупой политики в России. "Генерал Власов, — говорил он, — воспользовался Германией, как плацдармом для своей деятельности. Он прекрасно видит и знает, что Германия пропала, но у него есть другие зацепки (он намекал на союзников), и мы все верим, что ему удастся его великое дело. Вот Вы видите меня, я бывший офицер Красной армии, я говорю Вам, что пока Сталин со своей кликой правит Россией — Россия в плену, я знаю, что творится там, мы должны освободить Россию и нам это удастся". Владимир Петрович, мрачно сидевший сбоку стола, сапожным ножом резал на дощечке табак. — "Власов, — сказал он, не поднимая носа от табака, — Власов это мертворожденный ребёнок". Офицер взглянул на него с таким видом, как будто хотел сказать: "Да ты только в резке своего табака и смыслишь"... и промолчал. "Эх, — подумала я, — как сложно разобрать, кто прав, где правильный путь! Вот этот человек, — и я смотрела на белокурого офицера с энергичным и добрым лицом, ласково склонившегося над своим спящим сыном, — он, очевидно порядочный, горячий, любящий свою родину и что же? Ах, эти немцы, сколько они скомпрометировали, испачкали, сбили с толку, сколько чистого и светлого загрязнили, сколько жизней, стремлений, идеалов погибло и погибнет только оттого, что поверили им".

На следующее утро мы встали чуть светало. К 7-ми часам все были на соседней ферме, где стояли лошади. Поповский и

Володя грузили. Большой телегой, запряженной в пару, будет править В.П. На нее должны были уместиться родители, Алинка и Анна с детьми. Охотничья таратайка предоставлялась нам. Старшие дети бегали по двору, совались под ноги, их все гнали, шикали на них, уговаривали быть разумными. Танечка в длинных зелёных штанах и в завязанном под подбородком платочке, весело бегала за ними и лепетала на своем детском языке: "На нисадке поедем? Куда?" — "Мы к Микуке едем, Танечка". Микука была ее возраста, дочка Гоги, к которому мы должны были попасть не позже, как через два дня.

Погрузка шла медленно. Два раза пришлось все вынимать и складывать заново. Сначала оказалось, что какой-то полуразвалившейся чемодан не мог вынести тяжести остальных, потом лопнула верёвка, наконец никак не могли пристроить мешок с шерстью (валюта В.П.), на который он не позволял становиться ногами, так как на привалах собирался на нём спать. С нашей таратайкой тоже не обошлось просто. Пришлось поставить сзади и с боков доски, привязанные верёвкой, чтобы поднять ее борта и увеличить вместимость. Туда уложили вещи, сверху навалили сена. Володя обладает особым талантом все укладывать и прилаживать, но делает это медленно, обстоятельно, и первая телега, нагруженная уже вещами и седоками, раздражалась. — "Ну, скоро, вы там?" — слышались нетерпеливые возгласы. От скуки ожидания Лина и Володька уже успели поссориться и обвиняли друг друга в том, что каждый толкается; а Володя все ходил вокруг таратайки, подтягивал, подпихивал и, когда все уже казалось прекрасно, вдруг решительно снимал некоторые вещи и начинал снова. Но вот ура! он взял в руки хлыст, Миша взобрался на сено, мы сели впереди на шерсть Поповского. Танечка у меня на коленях, Володя взял вожжи в левую руку, широко перекрестился и сказал: "Ну, с Богом". Отец, вопросительно смотревший на нас, повернул голову, что-то сказал Владимиру Петровичу. "Но!"— крикнул тот, дернул вожжами. Телега заскрипела на повороте так угрожающе, что я ожидала полной катастрофы, уложенные горой вещи и сидящие сверху в самых живописных позах мама, Анна, Алинка и дети покачнулись общей массой в одну, в другую сторону, лошади напряглись и выехали на дорогу. Наш конь "Гришка" повёл

ушами, постромки натянулись и мы вслед за ними мелкой рысцой покатили по гладкому шоссе. При выезде из села на дорогу, выбежал один из пленных французов, приятель Володи. "Вот мы, как цыгане!" — крикнула я. "О, мадам, самые богатые люди были бы счастливы иметь то, что у вас есть!" Он замахал беретом. Село осталось позади. Была прекрасная погода, тепло и ясно. Справа от шоссе расстилались поля и луга, слева — гора, покрытая лесом. Ели и пихты высоко поднимались в небо. Воздух был чист и прозрачен. Лошадь бежала ровно, без труда, казалось, тащила за собой нагруженную тележку. "Ну, вот, — сказал Володя, и в голосе его я услышала и беспокойство, и решимость, и какой-то отчаянный фатализм, — это первый раз в жизни, что я кидаюсь в такую авантюру! — и еще с детьми", — добавил он тихо. У меня же на душе было спокойно. Он со мной, он всегда знает, что нужно, всего добивается, только бы судьба нас не разлучила, — это одно, чего я боялась. Еще перед отъездом я сделала детям ладонки с молитвой, в которых написала их имена и год рождения. Мало ли чего можно было ожидать. Нас убьют, нас могут в последнюю минуту арестовать немцы, детей отобрать, посадить в лагерь. Я цепенела от ужаса, когда представляла себе, что Танечка одна, маленькая окажется у чужих, и никто даже не будет знать, как её зовут, и кто она. Фамилия известная и родственников много, если мы погибнем всегда найдётся кто-нибудь, кто её возьмёт.

К полудню мы въехали в совсем маленькое село, где решили позавтракать. В единственном гастхофе мы получили по карточкам суп и какую-то вареную бурду; лошадям дали отдохнуть, покормили их и тронулись дальше. Не проехали и километра, как послышался заунывный, беспрерывный плач сирены, как будто поднятая им внутри волна разливалась по всему телу. "Аларм", — сказали мы в один голос. Передняя телега не остановилась и мы продолжали ехать за ними. Колеса стучали, но привычное ухо различать зловещий звук уловило. "Останови, Володя, послушаем, кажется летят". Володя придержал лошадь. Мы подняли головы и стали осматривать небо. "Вот они! — сказал он вдруг, указывая кнутом, — масса!" Они летели так высоко, что глаза с трудом могли заметить их в голубом небе. "Да-да, я теперь тоже вижу. Боже, какая их

масса!" Самолеты становились все виднее и виднее. "Спускаются". Строго, спокойно летели эскадрильи одна за другой. Их множество, может быть 1000 аппаратов, может быть больше. "Вот еще и еще". С другой стороны появлялись все новые и новые и среди спокойных громад, летящих, может быть, на 7 - 8.000 метров в небе, оставляя позади себя белый хвост дугами, поднимаясь и опускаясь, как ласточки, резали воздух мелкие истребители. Равномерно, зловеще, беспощадно гудело все небо и от этого гула внизу, казалось, дрожала земля. "Ты знаешь, — сказала я, — это все-таки замечательно красиво". Эта картина захватывает дух своим величием. И все это несло смерть, ужас, страдания. Почти над нашими головами эскадрильи сделали поворот налево и стали исчезать. "На запад, — сказал Володя, — должно быть на Мюнхен". Мы продолжали путь дальше.

Вскоре показался вдали Браунау, шпиль старого собора и крыши домов. По узкой, извилистой улице мы въехали на главную площадь и направились к мосту. Нас поразило странное зрелище. Вся площадь была уставлена повозками и кибитками; стояли целые колонны. Мы остановились. С передней подводы наши махали руками и что-то кричали. Володя передал мне вожжи и с кнутом в руках пошел вперед. "Они говорят, — сказал он вернувшись, — чтобы мы проезжали вперед, так как я знаю полицейского, а они поедут за нами. "Ночевать мы наверно будем уже в Баварии", — изрек вдруг Мишка с высоты своего сена. "Молчи, сглазишь", — и мне вдруг стало как-то неспокойно. Ох, переехать бы на ту сторону. Перед самым мостом к нам с двух сторон с грозными лицами бросились полицейские. "Ну, Володя, где твой... — говорила я с беспокойством, дай мне вожжи, пойди поговори с ними". "Хальт", — кричали полицейские. Володя слез и вступил в разговор с маленьким человеком в сером пиджаке, тот смотрел бумаги Володи и кивал головой; Володя вернулся и, вскочив на передок, тронул лошадь. "Он сказал, что вообще не пускают, но что мы можем ехать, это мой полицейский".

Мы уже въехали на мост, когда сбоку подошел полицейский в форме и протянул руку: "Хальт!" — крикнул он. Но Володя объяснил ему, указывая на своего человека в сером костюме.

Полицейский вопросительно посмотрел на него и тот издали утвердительно покивал головой. Полицейский в форме отступил, говоря: "Вы можете ехать". Я уже мысленно крестилась. Мы въехали на узкий мост и медленно двинулись. "Посмотри, вот мины." Действительно, вдоль моста сбоку лежали металлические цилиндры. "Это мины? — я с опаской покосилась на цилиндры, — это что же, они готовятся взрывать мост?" "Очевидно". Но Володя не успел договорить, навстречу нам, по мосту с выпученными глазами, бежали два немца: один был высокий, худой, другой маленький, с очень красным лицом. Оба были в штатском. Они, перебивая друг друга, набросились на нас: "Куда вы едете? ведь вам было сказано, что нельзя, что за безобразие, поворачивайте сейчас же". "Нельзя! — кричал высокий и даже вцепился за узду лошади, — что это за безобразие, сказано нельзя, поворачивайте". "Да тут повернуть невозможно, — сказал Володя, — вы видите, что мост узкий". Продолжая ворчать и не выпуская уздечку из рук, высокий повел нас на ту сторону, там завернул лошадь и направил нас обратно в Браунау. Задняя телега проделала то же под руководством маленького с красным лицом. Когда мы съехали с моста, он немного успокоился и спросил, куда мы едем. Володя объяснил. "Здесь переправиться нельзя, так как дороги заняты войсками, поезжайте дальше до села. Ах, там переправа свободна, переправитесь в Бургаузен". — "Но мы до вечера не успеем". — "Это недалеко, 6 километров, вы прекрасно доедете". Уломать его было невозможно. Володя подошел опять к своему приятелю в сером пиджаке. "Что это за люди, что так распоряжаются, ведь Вы, главный полицейский, пропустили. В чем дело?" У того было смущенное лицо. "Это СС в штатском", — сказал он тихо и беспомощно развел руками. "Бешеные собаки", — процедил Володя сквозь зубы, и мы, отъехав от моста, остановились в общей куче повозок.

Уныло опустив шеи, стояли лошади, с унылыми лицами ходили вокруг люди, а середина площадки кишела, как муравейник: проезжали, останавливались и объезжали друг друга военные автомобили, грузовики с сидящими на них какими-то женщинами, мотоциклетки трещали, какой-то офицер кричал что-то, громко ругаясь и показывая рукой в боковую улицу;

люди в военных формах торопливо, с озабоченными лицами пробирались среди гудевших автомобилей. Все это шумело, суетилось и первое впечатление было, что никто не знает точно, что ему надо и куда он торопится.

Мы сошли с подвод. Танечка, уставшая сидеть, забегала с такой быстротой, что я еле-еле успевала ловить ее чуть не из-под ног лошадей. У отца, как обыкновенно в моменты сильных волнений, глаза стали совсем треугольные. "Володя, — кричал он сердито издали, — в чем же дело? Что же это такое?"Я видела, как Володя, подняв плечи, развел руками и они о чем-то заговорили. Мне было жутко подумать, что может быть мы опоздали, что граница Австрии закрыта, война кончится и мы окажемся под советской оккупацией. Мне казалось, что это конец всему, нашему счастью, любви и нашей семье. Но дети и забота о них отвлекли меня. Они просили есть, Танечка хотела пить. Из дорожного мешка я достала пирожки, спеченные еще в Уттендорфе. Спасибо Наташке, работнице на ферме, вывезенной немцами из России, это она под юбкой принесла мне мешочек муки, узнав о нашем отъезде. Мама подошла ко мне и сказала, что все решили пойти выпить кофе, пока покормят лошадей. Зал кафе тоже был переполнен. Военные преобладали . Все лица были нахмурены, торопливо что-то закусывали, говорили в полголоса. Поповский был мрачен и невозмутим. Одна мама не унывала и старалась всех подбодрить. "Все делается, господа, к лучшему, в Ах спокойно переедем, это нам даже не крюк. Я только что спрашивала вот у того толстого немца и он мне сказал, что Ах до Перах, где Гога, ближе, чем Браунау. Не все ли равно, с какой стороны ехать?" Но меня Гога и его село интересовали мало. Подо мной горела земля. Переехать, переехать границу Баварии и мы спасены.

(Продолжение следует)

Ольга Толстая

ПОНЯТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛИЗМ*

"С более широкой точки зрения, то есть с точки зрения большего по своей исторической величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи".

Н.И. Бухарин. Экономика переходного периода. М., 1920. (Цит. по: Н. И. Бухарин. Путь к социализму в России. Избранные произведения. Нью Йорк, 1967, стр. 119).

Проект установления социализма путем демографической революции был впервые высказан последним крупным выразителем идей Великой Французской революции[1], последователем Марата, Фукье-Тенвиля[2] и Парижской Коммуны[3], "первым русским марксистом"[4] и социал-демократом[5]-интернационалистом[6] Петром Никитичем Ткачёвым.[7]

Он считал, что социализм — это слишком радикальное

---

* Глава из рукописи "Демографическая и биосоциальная революция в СССР". (См. сноски в конце этой главы).

С согласия автора мы перепечатываем эту статью из "Вестника РХД" № 126, считая статью М. Бернштама исключительно ценной и заслуживающей самого широкого распространения среди русских читателей и особенно среди иностранцев. *РЕД.*

изменение всего строя жизни как таковой, особенно в отношении России[8], и поэтому

> "на другой же день после насильственного захвата власти пролетариатом в свои руки"[9] необходимо уничтожить историческую почву в лице её действительных носителей[10] — взрослого, сознательного населения[11];

В качестве конкретной меры П. Н. Ткачёв предлагал

> "истребить все население свыше 25-летнего возраста для окончательного искоренения деспотизма в России"[12];

Только таким путем, по проекту П. Н. Ткачёва, удастся уничтожить тысячелетнее историческое наследие России, сложившиеся исторические ценности русского народа, в корне препятствующие устроению социализма. К таким основным чертам этой страны, её истории и её народа П. Н. Ткачёв, как и всё западническое и либеральное направление его времени, относил

> "азиатский деспотизм"[13], "гнет деспотического, грубого, варварского произвола"[14], отсутствие "решительно всех человеческих прав"[15], "окаменелые формы быта"[16], рабское сознание и вкоренившийся "инстинкт раба"[17].

Единственная живая и активная сила в стране —

> "чиновники и солдаты — не более как бездушные автоматы, бессмысленные, слепые и часто бессознательные орудия в руках небольшой кучки автократов"[18];

У народа этой страны только

> "рабские привычки, исторически выработавшиеся под влиянием условий окружающей его жизни"[19], "панический страх перед властью предержащею"[20], "скотская безропотность"[21] и "консервативные идеалы"[22].

"Консервативным идеалам народа" России[23] П. Н. Ткачёв противопоставлял

> "рабочий социализм"[24], означающий "свободу, равенство и братство"[25].

Исходя из этого анализа, П. Н. Ткачёв логически последовательно выводил программу революции, которая

> "вносит новые прогрессивно коммунистические элементы в условия народной жизни"[26], создает "новый разумный порядок общежития"[27]

и этим не только заменяет деспотизм свободою, консервативное государство передовым[28], но и замещает сам рабский скотский консервативный народ посредством истребления взрослых, перевоспитания остальных и — в итоге —

> "изменения самой природы человека"[29];

Таким образом, П. Н. Ткачёв понимал социалистическую революцию не только и не столько как политическую, сколько как демографическую и биосоциальную. Разработка именно такой интерпретации революции и подготовка её занимали и других социалистов XIX века. Сотрудники П. Н. Ткачёва по партии

> "русские якобинцы — представители реализма в революции и враги всяких утопий"[30],

кого коммунистические историки назвали

> "последними цветами Великой Французской революции"[31] и "предшественниками социал-демократов-большевиков"[32],

писали в широко распространявшейся прокламации "Молодая Россия":

> "Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло для нас даром: мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года; мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах"[33];

Карл Маркс, имея подробную информацию о своих последова-

телях в России, предсказывал, что если коммунистическая революция

> "произойдёт, то настанет русский 1793 год; господство террора полуазиатских крепостных будет невиданным в истории России"[34];

И этот невиданный в русской истории террор выполнит свою историческую миссию —

> "в конце концов на место мнимой цивилизации, введённой Петром Великим, поставит подлинную и всеобщую цивилизацию"[35];

И К. Маркс, и русские марксисты-якобинцы рассматривали и планировали социализм и смену глобальных исторических комплексов, цивилизаций именно в демографическом аспекте. Общее интернациональное развитие революционной и социалистической мысли, отталкиваясь от идеалов XVIII столетия и воплощая устремления XIX-го, вывело концепцию замены России подлинной цивилизацией посредством тотального демографического замещения.

В более общей, метаисторической форме проблема социалистической революции решалась Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. В 1848 году, ставя цели европейской революции вообще и партии коммунистов в частности, в своём программном произведении "Комунистический Манифест" К. Маркс и Ф. Энгельс провозглашали:

> "Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя"[36];

Из всего контекста этой работы явствует, что Маркс и Энгельс имели в виду уничтожение не только политического существующего строя: понятие "общественный строй" и соответственно формула его ниспровержения и замены истолковывались ими в особом смысле. Сюда включалась перестройка

хозяйственных форм, бытового уклада, воспитания детей, семейного права, — всей жизненной целостности:

> "Вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства... Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения, то есть при помощи мероприятий, которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают самих себя. (...)
>
> Могут быть почти повсеместно применены следующие меры:
>
> 1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов...
>
> 3. Отмена права наследования...
>
> 5. Концентрация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией.
>
> 6. Централизация всего транспорта в руках государства.
>
> 7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану.
>
> 8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия.
>
> 9. Соединение земледелия с промышленностью...
>
> 10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей... Соединение воспитания с материальным производством"[37].

Такая программа, в числе прочего, означала фундаментальную перестройку демографической структуры: ликвидацию многих стратов традиционного города (предпринимателей, торговцев, ряда категорий служащих, безработных, рантье и

других), исчезновение многих профессий; полное, тотальное уничтожение деревни как таковой, со всеми стратами землевладельцев и индивидуальных земледельцев, со всеми формами домовладений и домашней жизни (вместо них — промышленные армии), ликвидацию крестьянства как класса; существенное изменение рабочего класса, превращение рабочих и служащих в армейцев государственных предприятий и учреждений; ликвидацию экономической связи поколений и общее разрушение дома как единицы и семьи как институции (общественное воспитание детей, соединенное с производственным трудом на государство, принудительный женский труд).

Таким образом, в "Коммунистическом Манифесте" политическая революция рассматривалась лишь как средство уничтожения всего, в целом, сложившегося исторического строя жизни людей, включая демографический комплекс населения, его сложившиеся структуры традиционного — особенно крестьянского — быта. Кроме того, интернационализм подразумевал растворение исторических наций. Специальное ударение делалось на изменении воспитания детей и молодежи, — на том, чтобы при разрушении наличного уклада жизни создать новое, принципиально иначе воспитанное поколение людей.

Политическая революция оказывалась средством, стадией и частью революции демографической. Но то обобщающее демографическое средство, которое, с одной стороны, потребуется для осуществления изложенных мер и, с другой стороны, явится их итогом, К. Маркс и Ф. Энгельс, в отличие от их ученика П. Н. Ткачёва, здесь не сформулировали. Впрочем, для такой программной и предназначенной для пропаганды брошюры, какой по жанру и названию является "Коммунистический Манифест", недоговоренность основной демографической посылки, выпадение ее — представляется оправданным.

Зато П. Н. Ткачёв, обобщив демографический аспект социализма, не оставил его в замкнутом на себя состоянии и не упустил восходящего к К. Марксу аспекта психологического или, точнее, антропологического, в полном единстве последнего с социальным. Эта единая биосоциальная установка выражена П. Н. Ткачёвым в концептуальном, структурно-логическом и почти текстуальном совпадении с "Коммунистическим Манифестом":

> "Чтобы установить братство и равенство, нужно, во-первых, изменить данные условия общественного быта; во-вторых, изменить самую природу человека, перевоспитать его"[38];

Ибо только тот,

> "кто обладает душой человека, тот обладает и его телом. Это так же очевидно, как и любая из геометрических аксиом"[39].

Если обобщать, пока в самом предварительном виде, из приведенных данных, общую установку теоретического интернационального коммунизма, то схема будет такова:

> политическая революция (ПР) — демографическая революция (ДР) — антропологическая и биосоциальная революция (А-БР), причем каждый предыдущий феномен схемы является средством, стадией и составной частью по отношению к последующему.

Хотя К. Маркс не разработал до конца демографический аспект революции, он гораздо глубже и научно конкретней, чем П. Н. Ткачёв, раскрыл биосоциальную и даже биоонтологическую установку коммунизма. Это сделано им в опубликованном лишь посмертно труде "Экономическо-философские рукописи 1844 года". Следует подчеркнуть, что Рукопись 1844 года писалась К. Марксом не для печати (она не имеет титула, название и оглавление даны советскими издателями) и даже не для узко кружковой полемики с кем бы то ни было, то есть не для читателя вообще, а для себя, для употребления на нужды собственного духовного развития или, пользуясь марксовским же выражением из другого текста, "чтобы свести счеты с нашей прежней философской совестью". В Рукописи 1844 года К. Маркс, по-видимому, поставил необходимую для каждого исследователя и человека задачу — наедине с самим собой отдать себе отчёт в действительном содержании своих взглядов и целей, ответить самому себе, в процессе самопознания, на последние вопросы бытия.

Замечательная особенность Рукописи 1844 года в том, что

мысль К. Маркса, как и мысль предшествующих ему европейских политических писателей XVIII-XIX столетий, прежде всего Ж.-Ж. Руссо, оперирует как раз не политическими категориями, не институциями, а единицами совершенно иного порядка. Мысль К. Маркса работает здесь в иных масштабах, которые, в отличие от политических, следует назвать демографическими, антропологическими и биологическими.

Именно К. Маркс пишет о человеке как таковом в его родовой сущности, или о человечестве, о тех фундаментальных изменениях, которые произойдут в самом человеке, в человеческой природе, в метаисторическом, биологическом состоянии человечества после победы революции и при последовательных стадиях установления коммунизма в мире. Проблемы социальной организации, устройства воспитания и семьи и т. д., естественные в тексте "Коммунистического Манифеста" 1848 года, в Рукописи 1844 года опускаются как явно локальные, несоответствующие масштабу описания. В "Коммунистическом Манифесте" дана историческая техника строительства социализма, в Рукописи 1844 года раскрыты главные цели и конечные результаты каждой из трех стадий коммунизма и коммунизма в целом.

На первой стадии, говорится в Рукописи 1844 года, коммунизм

> "Выражается в совершенно животной форме"[40], "женщина переходит тут от брака ко всеобщей проституции, и весь мир богатства, то есть предметной сущности человека, переходит от исключительного брака с частным собственником к универсальной проституции со всем обществом"[41]; "категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех людей"[42], "этот коммунизм отрицает повсюду личность человека"[43], совершает "абстрактное отрицание всего мира культуры и цивилизации"[44], "возврат к неестественной простоте бедного и не имеющего потребностей человека"[45].

Можно видеть, что эта первая стадия и форма коммунизма, разобранная К. Марксом, выражает последние идеалы XVIII века, особенно Ж.-Ж. Руссо, воплощает все то, к чему стремились поэтапно деятели Великой Французской революции. К.

Маркс просто углубил экономическую подоплеку этой идеологии и показал, что

> "для такого рода коммунизма общность есть лишь общность труда и равенство заработной платы"[46].

На второй стадии

> "коммунизм ещё политического характера, демократический или деспотический; с упразднением государства, но в то же время еще незавершенный"[47].

> Третья стадия — полный коммунизм — убирает все подавления, демократические и деспотические, раскрывает все возможности свободы, снимает животную форму коммунизма, через которую уже прошел и переплавился человек, и выводит человека к полному слиянию с природой, к преодолению животного происхождения человеческой природы, к "натурализму"[48]. Происходит

> "возвращение человека из религии, семьи, государства и т. д. к своему человеческому, то есть общественному бытию"[49];

Но это "человеческое, то есть общественное бытие" понято не в политическом и не в социальном, а в биологическом и онтологическом плане:

> "общество есть законченное сущностное единство человека с природой, подлинное воскресение природы, осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм природы"[50].

> "Коммунизм как положительное упразднение частной собственности и в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека равен гуманизму, а как завершенный гуманизм равен натурализму"[51];

Такова глобальная концепция коммунизма К. Маркса, подводящая итог и логическое окончание если не действительному

человечеству, то во всяком случае всей европейской мысли от гуманизма Ренессанса и Реформации через социальный натурализм Просвещения до обобщения всех социалистических идей. От традиционного человеческого общества и состояния человеческой природы через крайне дегуманизированное животное состояние к состоянию натуралистическому — такова эволюция человека, — если не действительного человека, то, во всяком случае, теоретически постулированного человека антихристианской европейской мысли.

Коммунистическая социально-политическая революция выступает у К. Маркса, как можно заметить, не в качестве самоцели, а в качестве средства эволюции природы человека. Причем — и это особенно интересно — выступает в качестве средства эволюции, принципиально обратной той, какая выдвинута Ч. Дарвином.

Естественное развитие, согласно теории эволюции Ч. Дарвина и его последователей, привело от растения через животное к человеку[52]. По К. Марксу, история завершается в коммунизме[53], который приводит от человека через животное к растению.

Этот итоговый натурализм человека является, по К. Марксу, полным коммунизмом и равно завершенным гуманизмом. Это, собственно, логически законченная, додуманная до последнего края европейская концепция человека, являющаяся реакцией на христианское учение о природе человека и его происхождении.

Одновременно, это и активно-деятельностная позиция воздействия на историю природы и человечества в плане глобального поворота её направления, стремление повернуть развитие мира в обратном направлении. Освобождение человека, начатое Ренессансом и гуманизмом и логически завершаемое социализмом К. Маркса, движется в направлении освобождения человека от человеческой природы.

В плане биологическом, эта тенденция есть освобождение от эволюции, есть обратная или возвратная эволюция. В христианском смысле, это глобальный протест против Божественного происхождения человеческой природы и революционный отказ от этого наследства, переворот плана Творения.

Социальный прогресс, последовательно доведённый до логи-

ческого конца, оказывается принципиальной установкой на биологический регресс.

Разработка эволюционного учения Ч. Дарвина в XX столетии школой неодарвинизма сэра Джулиана Хаксли откорректировала упрощенную схему Дарвина и выдвинула теорию неограниченного прогресса (unlimited progress). Дж. Хаксли обосновывает наличие магистральной, стволовой тенденции в многолинейном и стихийном (random) естественном развитии. Согласно Дж. Хаксли, эволюция стихийна (рэндомна), но стволовая магистраль ведёт на Hominid — человекообразных, из которых потенциально может выработаться человек. Развитие на человека было не обязательно, но вероятностно, и такая вероятность сложным путём реализовалась[54].

Вместе с тем, имеется немало научных данных, что в процессе стволовой эволюции, неограниченного прогресса — происходили отклонения в сторону от ствола, развивались боковые ветви, и так появились животные виды, имеющие существенно сходные с человеком признаки. Особенно интересны в этом плане животные виды с развитой социальной организацией, как крысы, акулы, муравьи. А. Эмерсон выдвинул чрезвычайно ценные положения, что появление такого рода животных было, по существу, не только отклонением эволюции, но и её попятным, задним ходом, "регрессивной эволюцией"[55].

Вообще, согласно Дж. Хаксли, эволюция, вопреки Ч. Дарвину, не есть только прогресс. Она включает также стагнацию (движение в одной плоскости) и регресс, а прогресс — лишь вероятностный ствол эволюции[56].

Кроме отклонения в сторону от ствола и создания побочных ветвей, существовал и более радикальный вид регрессивной эволюции — стадиальное возвращение назад, возвратная регрессивная эволюция[57].

Естественный отбор непрерывно как бы контролировал свои результаты и отбирал не только в одну, прогрессивную сторону, но и возвращал назад, порождал стадиальный эволюционный регресс. Это, в свою очередь, стимулировало у биологических видов развитие признаков, влияющих на прогрессивный отбор и на закрепление видов на их положении в эволюции. Такую сложную, корректирующую Ч. Дарвина картину эволюции ака-

демик И. И. Шмальгаузен называл стабилизирующим отбором[58].

Регрессивной возвратной эволюции были подвержены не только низшие виды, но и высшие, в том числе человекообразные.

В частности, большинство мутаций гоминид по ряду причин прошло обратный ход — возвращение в животное состояние, бестиализацию. Видный советский антрополог М.Ф. Нестурх считает бестиализацию антропоидов универсальным явлением:

> "Неудачные попытки очеловечения возвращали этих двуногих и высокоразвитых антропоидов обратно в животное состояние, наступала их вторичная бестиализация. Следовательно, грань была не линией, а своего рода зоной, через которую в конечном счёте переступил только один — наиболее пластичный вид самых высокоразвитых наземных антропоидов"[59];

Рукопись 1844 года К. Маркса содержит мысль огромного научного значения — о возможности вторичной бестиализации и возвратной регрессивной эволюции не ранних антропоидов, а биологически высшего современного человека: Homo Sapiens.

И такая возвратная регрессивная революция, по-видимому, уже началась, поскольку она выдвинута не только в виде научной гипотезы, но и в качестве программы действия самым влиятельным движением человечества XIX-XX столетий и тем более, что эта программа объективно продолжает направление развития человеческой мысли также и предшествующих XII-XVIII веков.

Установка на социальную и социалистическую революцию является, в контексте идей К. Маркса, переведённых в термины современной биологии, установкой на возвратную регрессивную эволюцию. Установка на революцию — есть установка на контрэволюцию.

В этом смысле биосоциальная революция имеет два аспекта: социальный, равно революционный, и биологический, равно контрэволюционный. Демографическая революция есть логически (структурно) и исторически (стадиально) связующее звено обоих аспектов этого двуединого процесса.

Приходится констатировать, что именно это звено, демографическая революция, еще не подверглось необходимому научному анализу ни в плане теоретическом, ни в плане стадиально-историческом. По-видимому, важная причина отсутствия такого анализа — нераскрытость этой проблемы в самих социалистических первоисточниках. Наука, изучающая теорию и историю социализма, пока всё еще занимает несамостоятельную позицию в отношении своего предмета. Она замечает только те явления, которые предлагают её вниманию сами социалисты. Провозгласили итальянские социалисты тоталитарное государство — вслед и наука стала описывать тоталитаризм на общем социалистическом, не только итальянском, материале. А демографическая революция прошла непровозглашённой и, соответственно, незамеченной.

Классики социализма, за исключением П.Н. Ткачёва, действительно не разработали проблему демографической революции как средства, исторической стадии и составной части биосоциальной революции (контрэволюции). В приведённом глобальном построении К. Маркса в Рукописи 1844 года взят масштаб человечества в его надисторическом, родовом, биологическом целом, и потому не оказалось места для описания исторической техники. Последняя в самом общем виде описана четырьмя годами спустя в "Коммунистическом Манифесте", но многие собственно политические детали и в нём не нашли себе места. В ряде последующих работ К. Маркса, Ф. Энгельса, П.Н. Ткачёва, Г.В. Плеханова, К. Каутского, Р. Люксембург, В. И. Ленина, И.Л. Парвуса, Н.И. Бухарина, А. Гильбо и других авторов социалистического направления с большим вниманием и тщательностью разработаны вопросы политической диктатуры, уничтожения различных классов и слоёв населения наличного общества, террора как способа социального строительства, воспитания нового поколения и т. д. В частности, со специальным вниманием рассмотрен вопрос уничтожения и социального изменения крестьянства как класса, начало чему положено в "Манифесте Коммунистической партии", а продолжено в поздних разработках Ф. Энгельса и в трудах В.И. Ленина.[60] Но общая проблема демографической революции теоретиками социализма всё же не раскрыта.

Впрочем, хотя все названные и смежные вопросы разработаны социалистическими авторами разрозненно, суммарный взгляд даёт основание свести их к интегральной формуле демографической революции, высказанной П.Н. Ткачёвым. Физическое истребление того или иного реакционного, консервативного народа рассматривалось социалистами в очень широком истолковании понятия революции, — не только как акт внутренней политики победившей революции, но и как революционная оккупация консервативных народов прогрессивными. Характерно, что в переписке К. Маркса и Ф. Энгельса по этому вопросу приговаривались к уничтожению особенно консервативные народы, прежде всего русский. Ф. Энгельс писал:

> "Чем более размышляю я об истории, тем яснее становится мне, что поляки — nation fondue, разложившаяся нация. Ими приходится пользоваться только до тех пор, пока саму Россию не сотрясет аграрная революция. С этого момента Польша теряет всякий raison d'etre, всякое право на существование"[61];

И вывод:

> "Результат: на западе отбирать у поляков всё, что можно, под предлогом защиты оккупировать их замки, в особенности Познань, заселить немцами, отправить поляков заниматься хозяйством, выжечь их огнём, сожрать их землю"[62].

И в другом месте:

> "Чехи, кроаты и русские заслужили всеевропейскую ненависть и создали необходимость в будущем направить против них самый кровавый революционный поход всего Запада"[63].

Как видно, цели и методы основоположников марксизма и их первого последователя совершенно совпадают, различаясь только в вопросе о том, кто, какие кадры будут производить кровавый революционный поход западного прогресса против реакционного славянства. К. Маркс и Ф. Энгельс рассчитывали

на интернационалистов, П.Н. Ткачёв на интеллигенцию. Действительная история соединила то и другое.

Но как бы ни менялись, в зависимости от конкретных обстоятельств и, соответственно, от предлагаемой политической тактики, чисто политические установки, неизменным во всех теоретических работах, а затем и в практических действиях социализма остаётся их, мы бы сказали, историческая методология. Именно — они в теории и на практике работают в особом масштабе, охватывая не только и не столько политические институции, сколько структурные и временные состояния в целом — страты и поколения.

Из всего сказанного ясно, почему мы считаем назревшей научной задачей написать историю той или иной страны, в которой победила социалистическая революция, также не в плане истории политических институций, как это обычно пишется, но в масштабе общих и действительных демографических и биосоциальных процессов, произошедших с населением этой страны. Это и будет история демографической революции на территории взятой для анализа страны.

Процессы последовательного физического истребления и параллельного идеологического перевоспитания населения, вместе с целенаправленной переделкой всего социального и духовного строя жизни и, как итог, самого человека — иначе говоря, развёрнутое через годы фундаментальное изменение демографической структуры и человеческой природы — мы и называем демографической и биосоциальной революцией.

Мы отдаём себе отчёт, что это большая и трудная научная задача, включающая всю историю социализма в избранной для анализа стране и всю историю народа этой страны при социализме, — описать, как социализм исторически и телеологически работал в масштабах всей массы населения.

"Метод выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи... во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью"[64], как сформулировал это Н.И. Бухарин, — весь механизм работы социализма на человеческом материале страны — наблюдаем только в полном историческом процессе. Цели, поставленные теоретически, развёртываются исторически, и

только обнаружение последовательности и перманентности такого развертывания может показать их соприродность социализму и единство в нём теории и практики, целей и средств. Демографическая революция, по самому масштабу своему, требует определённого времени и для обоснования, и для подготовки, и для осуществления.

Это революция именно перманентная.

Приведённая идея демографической революции П.Н. Ткачёва — по существу промежуточна использованным выше мыслям К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. В логической системе социализма идея П.Н. Ткачёва заполняет связующее звено между исторической техникой работы механизма социализма на человеческом материале и глобальными биологическими и онтологическими посылками социалистической телеологии. Это звено — собственно демографическое.

Вместе с тем, надо подчеркнуть, что и сама идея П.Н. Ткачёва подразумевает историческое время для осуществления социализма: истребить единовременно всё взрослое население страны или мира — технически просто трудно. Кроме того, единовременное истребление масс — по-видимому, и нецелесообразно ни для какой политической системы. П.Н. Ткачёв выразил скорее устремление революционного романтика, чем практическую установку реального политика.

Однако постепенное перманентное уничтожение того наличного населения, которое является взрослым на момент коммунистической революции, не представляется невозможным. В настоящей книге будет показано, что именно это, хотя и не на 100%, было осуществлено в результате коммунистической революции на территории бывшей Российской империи.

М. Бернштам

---

1. "Набат. Орган русских революционеров". Лондон, 1879, стр. 51. П.Н. Ткачёв. Накануне и на другой день революции. — П. Н. Ткачёв. Сочинения в двух томах, т. 2. М., 1976, стр. 229.

С.И. Мицкевич. Русские якобинцы. — "Пролетарская революция", 1923, кн. 18. Его же. К вопросу о корнях большевизма. — "Каторга и ссылка", 1925, кн. 3 (16), стр. 100. Н. Батурин. Ещё о цветах русского якобинства. — "Пролетарская рево-

люция", 1925, кн. 8, стр. 100. Б.П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России. Избранные труды. М., 1961, стр. 392. "Там, где в революционных построениях Ткачёва кончалось влияние Маркса, там начинался бланкизм, якобинство". (Там же).

2. П.Н. Ткачёв. Накануне и на другой день революции, стр. 229.

3. "Набат". Лондон, 1879, стр. 51.

4. "В рядах революционеров 60-х годов был Ткачёв, который, несомненно, был первым русским марксистом. Этот первый русский марксист впоследствии являлся лидером так называемых якобинцев... Несомненно марксистское понимание истории впервые в русской литературе представлено Ткачёвым". М.Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX-XX веков. М., 1924, стр. 62, 63. "Никто в России его (Ткачёва) времени не воспринял так сильно и так глубоко учения Маркса, как он, за исключением, может быть, Н.И. Зибера, прямого предшественника легальных марксистов 1890-х годов, значительно лучше, чем Ткачёв, разобравшегося в экономическом учении автора "Капитала", но не понявшего боевого классового характера марксизма". Б.П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России, стр. 392. В.Ф. Пустарнаков, Б.М. Шахматов,. П.Н. Ткачёв. Сочинения в двух томах, т. 1. М., 1975, стр. 62.

5. П.Н. Ткачёв. Революция и принцип национальности. — "Набат. Орган русских революционеров". Женева, 1878, стр. 80.

6. Там же, стр. 84-86, 99.

7. Высказывания П.Н. Ткачёва, не вошедшие в опубликованные сочинения, сохранились в передаче близкой ему революционной народнической партии, тех её членов, которые уже с 1860-х годов назывались социалистами-революционерами. Здесь и далее приводятся по работе видного социалиста-революционера М.В. Вишняка: М.В. Вишняк. Идейные корни большевизма. — "Новый журнал", кн. 27. Нью-Йорк, 1951, стр. 289-292.

8. П.Н. Ткачёв. Народ и революция. — П.Н. Ткачёв. Сочинения в двух томах, т. 2: "Даже в деле разрушения революционная сила нашего народа может иметь лишь относительное значение... Его внутренний мир, обветшалые, традиционные формы его жизни останутся нетронутыми, он любит их, он дорожит ими, и он не прикоснётся к ним ни единым пальцем... Народ не имеет существенного значения как положительная революционная сила, то есть с точки зрения его положительных идеалов... Народ не в состоянии построить на развалинах старого мира такой новый мир, который был бы способен прогрессировать, развиваться в направлении коммунистического идеала; поэтому при построении этого нового мира он не может и не должен играть никакой выдающейся, первенствующей роли. Эта роль и это значение принадлежит исключительно революционному меньшинству... Оно должно внести свою разрушительно-революционную деятельность и в недра крестьянской жизни, — оно должно стремиться устранить из этой жизни её обветшалые, враждебные коммунистическому прогрессу формы, заменяя их формами наиболее приспособленными к потребностям этого прогресса". (стр. 166-167). Будучи последователем Маркса, Ткачёв, тем не менее, не мог примириться с тем, что в России, за отсутствием пролетариата, нет условий для революционной борьбы. Отсюда его ставка на интел-

лигенцию. Б.П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России, стр. 382-383.

9. П.Н. Ткачёв. Накануне и на другой день революции, стр. 212.

10. П.Н. Ткачёв. Народ и революция, стр. 166-167. П.Н. Ткачёв. Набат. Программа журнала. — П.Н. Ткачёв. Сочинения в двух томах, том 2, стр. 90-91. "Общественный идеал нашего народа не идёт далее окаменелых форм его быта. Дальше своей веками освящённой, обычной формы землевладения, въевшегося в плоть и кровь патриархального чинопочитания, пассивного подчинения лица миру, — дальше своих традиционных семейных отношений и т.п. он ничего не видит, ничего не знает и знать ничего не хочет. Предоставьте ему устроить свою жизнь по его собственной воле, и вы увидите, что он не внесёт в неё ничего нового, — он распространит формы своей жизни, свою общину, свой мир, свою семью на те сферы, из которых они теперь вытеснены влиянием буржуазного прогресса, но этим и ограничится его реформаторская деятельность, и перед нами явится тот же старый крестьянский мир с его заскорузлыми, окаменевшими устоями, с его неподвижным консерватизмом". П.Н. Ткачёв. Народ и революция, стр. 165.

11. М.В. Вишняк. Идейные корни большевизма, стр. 289-292.

12. Там же, стр. 292.

13. "Набат". Лондон, 1879, стр. 24.

14. П.Н. Ткачёв. Набат. Программа журнала, стр. 90.

15. Там же.

16. П.Н. Ткачёв. Народ и революция, стр. 165.

17. "Набат". Лондон, 1879, стр. 23.

18. П.Н. Ткачёв. Набат. Программа журнала, стр. 91.

19. Там же, стр. 90-91.

20. Там же, стр. 91.

21. "Набат". Лондон, 1879, стр. 88. "Жалкая моя родина! скотски безропотно сносишь ты всё сильнее и сильнее разгуливающиеся ужасы; бессильна ты, как больной младенец! Единицы, сбросившие с себя рабские кандалы, стряхнувшие с себя вековую летаргию, с ужасом отрёкшиеся от своего прошлого, идут и гибнут за тебя, и ты мутным взором провожаешь их на гибель, не шевелишь атрофированными членами!"

22. П.Н. Ткачёв. Народ и революция, стр. 168. Автор развивает свою мысль: "Мы должны навсегда вычеркнуть из своего словаря пошлые и бессмысленные фразы о каком-то народном гении, фразы, взятые напрокат у реакционеров-славянофилов. Мы не должны, мы не имеем права возлагать на народ чересчур больших надежд и упований". Там же, стр. 168-169.

23. Там же, стр. 168.

24. П.Н. Ткачёв. Накануне и на другой день революции, стр. 219.

25. П.Н. Ткачёв. Набат. Программа журнала, стр. 94.

26. П.Н. Ткачёв. Народ и революция, стр. 167.

27. Там же, стр. 168.

28. П.Н. Ткачёв. Набат. Программа журнала, стр. 95.

29. П.Н. Ткачёв. Цитируется по: Б.П. Козьмин. П.Н. Ткачёв и народничество. — "Каторга и ссылка", 1926, кн. 22, стр. 118.

30. П.Н. Ткачёв. Революция и принцип национальности. — "Набат". Женева, 1878, стр. 81.

31. "Это цветы русского якобинства, последние цветы Великой Французской революции на неблагодарной русской почве". Н. Батурин. Ещё о цветах русского якобинства, стр. 100.

32. С.И. Мицкевич. К вопросу о корнях большевизма, стр. 100.

33. Цитируется по: М.Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX-XX веков, стр. 60-61.

34. К. Маркс. Об освобождении крестьян в России. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е издание, том 12, стр. 701.

35. Там же.

36. К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 2 издание, том 4, стр. 459.

37. Там же, стр. 446-447.

38. П.Н. Ткачёв. Цитируется по: Б.П. Козьмин. П.Н. Ткачёв и народничество, стр. 118.

39. П.Н. Ткачёв. Революция и государство. — П.Н. Ткачёв. Сочинения в двух томах, том 2, стр. 149.

40. К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 586.

41. Там же.

42. Там же.

43. Там же.

44. Там же.

45. Там же, стр. 587.

46. Там же.

47. Там же, стр. 587-588.

48. Там же, стр. 588, 590.

49. Там же, стр. 589.

50. Там же, стр. 590.

51. Там же, стр. 588.

52. Ч. Дарвин. Происхождение видов. М., 1949. И.И. Шмальгаузен. Пути и закономерности эволюционного процесса. М., 1939. Его же. Проблемы дарвинизма. М., 1946. Его же. Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора. М.-Л., 1946. А.Н. Северцов, Морфологические закономерности эволюции. — А.Н. Северцов. Собрание сочинений, том V.М.-Л., 1948. Его же. Главные направления эволюционного прогресса. 2 издание. М., 1967, Э. Майр. Систематика и происхождение видов с точки зрения зоолога. М., 1947. Его же. Зоологический вид и эволюция. М., 1968.К.М. Завадский. Вид и видообразование. Л., 1968.

53. К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года, стр. 588.

54. J. Huxley. Evolution. The modern synthesis. London, 1942.

55. A. Emerson. Vestigal Characters of Termits and Processes of Regressive Evolution. — "Evolution", 1961, vol. 15, № 2.

56. J. Huxley. Op. cit.

57. Э. Майр. Систематика и происхождение видов с точки зрения зоолога, стр. 437-438. И.И. Шмальгаузен. Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора. К.М. Завадский. Проблемы прогресса живой природы. — "Вопросы философии", 1967, кн. 9, стр. 127-136. A. Emerson. Op. cit.

58. И.И. Шмальгаузен. Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора. М.-Л., 1946.

59. М.Ф. Нестурх. В кн.: "Труды VII Международного Конгресса антропологических и этнографических наук", том 3. М., 1968, стр. 587.

60. К. Маркс однажды в частном письме с гордостью отмечал, что в английском парламенте его называют "Red terror doctor" — "доктором красного террора", вместо доктора права и юриспруденции. К. Маркс. Письмо к Зорге. 27 сентября 1877. — "Письма Карла Маркса и Фридриха Энгельса к Николаю-ону с приложением некоторых мест из их писем к другим лицам". СПб., 1908, стр. 103. Подробное, хотя и не полное изложение взглядов К. Маркса на крестьянство содержится в исследовании Д. Митрэни "Маркс против Крестьянина. Изучение социального догматизма": D. Mitrany. Marx against the Peasant. A Study in Social Dogmatism. Chapel Hill, 1951. Интересно, что К. Маркс в целом отрицательно отнёсся к освобождению крестьян в России, ибо создание класса свободных земледельцев вело, по схеме "Капитала", к последующему развитию капитализма. Тем самым Россия, по логике К. Маркса, "лишается самого прекрасного случая, какой когда-либо представляла история какомулибо народу" — непосредственного перехода, минуя капитализм, от крепостного права к социализму. К. Маркс. Письмо в редакцию журнала "Отечественные Записки". 1878. — "Письма Карла Маркса и Фридриха Энгельса к Николаю-ону...", стр. 115. В письме к Энгельсу 12 сентября 1863 К. Маркс поддерживает "самого умного из всех поляков" полковника Лапинского в том, что "вместо борьбы национальностей он признает лишь расовую борьбу, ненавидит армян и т.п.", а крестьянство считает "природно-реакционной массой". "Der Briefwechsel zwischen Fridrich Engels und Karl Marx 1844-1883". Hgb. von A. Bebel und Ed. Bernstein. Stuttgart, 1913, B. III. S. 145-146. Характеристика крестьянства как основного составляющего элемента "единой реакционной массы", против которой предстоит ожесточённо бороться диктатуре пролетариата, впоследствии неоднократно повторяется в трудах Ф. Энгельса и В.И. Ленина. Ф. Энгельс, вслед за К. Марксом, считает, что крепостные латифундии в результате социалистической революции лягут в основу "общей собственности" и "обработки ассоциациями", хотя при этом произойдут "эксцессы". Ф. Энгельс далее пишет: "Самой большой помехой будут мелкие крестьяне и назойливые сверхумные образованные". Ф. Энгельс. Письмо Отто фон Бёнигку.

21 августа 1890. — "Вопросы истории КПСС", 1964, № 2, стр. 3-4. О предстоящей схватке с крестьянством в процессе углубления революции ещё в начале XX столетия писал и В.И. Ленин. (В.И. Ленин. Полное собрание сочи-

нений, 5 издание, т. II, стр. 222-223. Далее ссылки на это издание — ПСС). В другом месте Ф. Энгельс формулировал:

"Что касается чистой демократии и её роли в будущем... в момент революции на короткий срок приобретает временное значение в качестве самой крайней буржуазной партии... в роли последнего якоря спасения всего буржуазного и даже феодального хозяйства. В такой момент вся реакционная масса группируется вокруг неё и усиливает её. Всё, что было реакционным, выступает тогда в качестве демократов. ... В 1848 году вся феодально-бюрократическая масса поддерживала либералов... Конечно, нельзя ожидать, чтобы к моменту кризиса за нас было бы большинство избирателей, большинство нации. Весь буржуазный класс, остатки феодального владеющего класса, большая часть мелкой буржуазии сельского населения (= крестьянина — М.Б.) группируется тогда вокруг той крайней буржуазной партии... Во всяком случае, во время кризиса и на другой день после него нашим единственным противником явится вся реакционная масса, объединяющаяся вокруг чистой демократии, и этого, как я полагаю, ни в каком случае упускать из виду нельзя". F. Engels. Politisches Vermächtnis. Aus unveröffentlichen Briefen. Mit einem Bild. Berlin, Verlag junge Garde. 1920, S. 30.

Первая публикация по-русски была сделана в статье: В. Адоратский. Маркс и Энгельс о демократии. — газета "Коммунистический труд", 1921, 9 июня. Эта публикация мыслей Энгельса произвела огромное впечатление на В.И. Ленина, который привёл подробную цитату о "всей реакционной массе" как "нашем единственном противнике" и назвал это "политическим завещанием" Ф. Энгельса. В. И. Ленин. Тезисы доклада о тактике РКП. III Конгресс Коммунистического Интернационала. 22 июня — 12 июля 1921. — В.И. Ленин. ПСС, том 44, стр. 11-12.

61. Ф. Энгельс. Письмо К. Марксу. 23 мая 1851. — "Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx 1844 - 1883". Hgb. von Bebel und Ed. Bernstein. Stuttgart, 1913, B. I, S. 189.

62. "Resultat: den Polen im Westen abnehmen, was man kann, ihre Festungen unter dem Vorwand des Schutzes mit Duetschen okkupieren, besonders Posen, sie wirtschaften lassen, sie ins Feuer schiken, ihr Sand ausfressen". Ibid., S. 191.

63. Ф. Энгельс. Демократический панславизм. — "Aus dem literarischen Nachlass von K. Marx, F. Engels und F. Lassale". Stuttgart, Verlag Dietz, B. III, S. 261.

Интересно, что И.В. Сталин, не будучи знаком с этими посылками Ф. Энгельса (публикатор "Секретной дипломатии XVIII столетия" К. Маркса, Б. Геннер видит в них соавторство К. Маркса: Б. Геннер. К. Маркс о России. — "Новый журнал", 1953, кн. 32, стр. 250-251) и поэтому, даже смягчая его позицию антиславянского геноцида и германского государственно-социалистического революционного оккупационизма в отношении России, не мог, тем не менее, не отметить:

"Если империалистические противоречия между Англией и Германией также упускаются из виду, если аннексия Эльзас-Лотарингии Германией, как фактор войны, отодвигается на задний план перед стремлением русского царизма к

Константинополю, как более важным и даже определяющим фактором войны, если, наконец, русский царизм представляет последний оплот общеевропейской реакции, — то не ясно ли, что война, скажем, буржуазной Германии с царской Россией является не империалистической, не грабительской, не антинародной войной, а войной освободительной, или почти освободительной". (по Энгельсу — М.Б.).

Едва ли можно сомневаться, что подобный ход мыслей должен был облегчить грехопадение германской социал-демократии 4 августа 1914 года, когда она решила голосовать за военные кредиты и провозгласила лозунг защиты буржуазного отечества от царской России, от "русского варварства" и т.д.

Характерно, что в своих письмах на имя Бебеля, писанных в 1891 году, где трактуется о перспективах надвигающейся войны, Энгельс прямо говорит, что "победа Германии есть, стало быть, победа революции", что, "если Россия начнёт войну, — вперёд на русских и их союзников, кто бы они ни были!" И.В. Сталин. О статье Энгельса "Внешняя политика русского царизма". Письмо членам Политбюро ЦК ВКП(б) 19 июля 1934. — "Большевик", 1941, № 9, май, стр. 5.

Остаётся сделать только одно уточнение. Первую мировую войну, логически закончившуюся социалистической европейской революцией в нескольких странах, начала не реакционная Россия, а передовая государственно-социалистическая Германия. (О германском государственном социализме, теориях К. Родбертуса, К. Маркса и практике О. Бисмарка см. классическое исследование: М.В. Бернацкий. Теоретики государственного социализма в Германии и социально-политические воззрения князя Бисмарка. СПб., 1911, диссертация).

64. Н.И. Бухарин. Экономика переходного периода. М., 1920. Цитируется по: Н.И. Бухарин. Путь к социализму в России. Избранные произведения. Нью-Йорк, 1967, стр. 119.

ГАГАРИНА ЗНАЕМ, АРМСТРОНГА — НЕТ

Летом 1971 года Советский Союз запустил очередной пилотируемый космический корабль "Союз - 11". Газетные страницы заполнились портретами лётчиков-космонавтов, их биографиями, текстами приветственных телеграмм, которые они слали Центральному комитету коммунистической партии и лично товарищу Брежневу. Программа полёта успешно выполнялась, после 570 часов, проведённых на орбитальной станции "Салют", экипаж должен был вернуться на Землю, готовилась торжественная встреча. И вдруг в газетной трескотне наступил какой-то странный сбой, затишье. Потом пришла трагическая весть: все трое космонавтов погибли.

О причинах гибели газеты писали туманно. Слухи же ползли разные. "Они ещё в атмосферу не вошли, а кабина уже разгерметизировалась", — говорили одни. "Парашюты не сработали, капсула и разбилась при приземлении", — уверяли другие. "А вот и не разбилась. Снаружи всё целёхонько было. Встречающие подбегают, крышку отдраивают, кричат "привет!" — а те в креслах мёртвые сидят".

Впрочем, о причинах толковали мало. Считалось, что кому надо знать, те знают. Разберутся. Главным образом просто по-человечески жалели погибших. Что такие молодые, что у всех троих семьи остались, дети. Жалели, конечно, и в нашей деревне. Особенно убивалась хозяйка дома, который мы снимали на лето. Причём убивалась с оттенком возмущения.

— Ну чего? Чего всё летают? Зачем это надо? Ишь чего задумали — Луну им подавай. Да мыслимое ли это дело — до Луны долететь?!

— До Луны, Ирина Ивановна, уже долетели, — сказала моя жена.

— Кто?

— Американцы. Два года назад.

— Ну что ты им веришь. Взрослая уже женщина, а веришь всякой ерунде.

— Да нет, это правда. И по телевизору показывали, и в газетах писали. Даже фотографии печатали.

— Эва, фотографии. Да на фотографиях чего хочешь можно показать. Вам врут, дуракам, а вы и уши развесили.

— Вы же в газетах каждому слову верите.

— А вот и не каждому. Русский Иван доверчив, его всякий норовит обмануть. А в газетах кто сидит? Те же наши Иваны. Так что с разбором надо читать. Не были американцы на Луне — это я тебе верно говорю. Не были и всё.

Да, так они и читают. С разбором. И чему-то позволяют осесть в сознании, а что-то напрочь отбрасывают.

— В газетах писали, — говорит муж Ирины Ивановны, Савелий Иванович, — что в Финляндии страшные дожди. Всё залило, сено гниёт. Фермеры вчистую разорились.

И на лице его не то чтобы удовлетворение, но какое-то выражение облегчения: "а мы ещё ничего себе — живём, с голода не умираем".

Живём мы при этом так: в поселковой лавке покупаем хлеб, сахар, печенье, конфеты и водку — больше там ничего нет. Картошку нам продают хозяева. Яйца тоже продают, но не всегда. Если к ним приезжают дети и внуки, то им самим не хватает. Огурцы, морковь, лук появятся только в августе, пока их нам шлют из Ленинграда в посылках. О мясе или колбасе никто и не заговаривает, едим консервы, если удалось закупить их зимой. Масло и сыр тоже проблема, но всё же при удаче их можно поймать в районном центре за 30 километров. От одной из двух оставшихся в деревне коров нам выделяют пол-литра молока в день. Раньше было больше коров, но сено заготавливать вручную так трудно, что местные жители один за другим распродали их. Косить разрешают только по дальним лесным полянкам (колхозную траву не тронь!), и у стариков нет сил мотаться на покосы за 10-15 километров, а потом свозить

сено в сарай чуть ли не на себе (лошадей ведь тоже не дают). Единственное оставшееся тут утешение: развернуть газету и прочесть о проливных дождях в Финляндии. Объяснять им что-нибудь, доказывать, что "разорённые" финские фермеры кормят не только свою страну, но ещё снабжают яйцами и маслом пятимиллионный Ленинград, было бы не только бесполезно, но и жестоко.

И всё же мы из лета в лето ездим в эту деревню. Здесь так красиво, покойно, так сверкает под нависшей черёмухой река, так заливаются по утрам птицы, так розовеют стволы сосен, здесь так весело и привольно детям. Пропитание же можно добывать и прямо в лесу. С начала июля идут грибы, щавель, черника, земляника, в августе — малина, брусника, а рыбёшка в реке есть всегда, и если очень постараться, то можно наловить на удочку чуть не килограмм всякой вкусной мелочи. Ну, чем не пир?

Приезжаем однажды и видим — хозяин что-то мрачен.

— Что случилось, Савелий Иванович?

— Да вот, Маркович, так ждал вас, так ждал... Вы человек образованный, может, объясните нам. Не понимаем мы чего-то... Прямо извелись, спать не можем.

— Да в чём дело?

Ну, Никсон этот...

Что "Никсон"?

Приезжал он к нам...

Ну и что?

Да как же? Во Вьетнаме война, негров линчуют, коммунисты по тюрьмам сидят, Анджелу Дэвис мучают. И тут на тебе — приезжает ихний президент, и ему цветы, флагами машут, музыка, приветствия. Не можем мы этого понять.

Я изображаю глубокую задумчивость, а сам поспешно ищу какой-нибудь аргумент-отмычку, которым можно было бы взломать глухую стену, окружающую сознание старика.

— Ну, а в сущности, — говорю я, — чего мы с Америкой не поделили?

— Как это?

— Да так. Границ у нас общих нет, никаких земель мы друг у друга не отнимали. Зачем нам с американцами враждовать?

— Что же нам, обниматься с ними что ли?

— А почему бы и нет? Может, хватит нам дружить со всякими нищими африканцами, да азиатами, да кубинцами? Миллиарды тратим на них, а толку никакого. Может, пора нам с богатой Америкой дружбу завести?

— Америка богатая? Да ты что? — Он даже привстаёт с лавки и поднимает вверх заскорузлый палец. — Там же нищета, голод, безработица. Доллар всё время падает.

Я смотрю на него и не знаю, смеяться мне или плакать.

Мы сидим в жарко протопленной деревенской баньке — обычном месте наших политических дискуссий. Потолок оброс сажей, в каменке, вместо котла, вмазана разрезанная пополам железная бочка из-под солярки, треснутое окошко величиной со школьную тетрадь едва освещает тазы и веники. Седая борода старика прилипла к костлявой груди, мослы торчат, глаза слезятся. Ему уже под восемьдесят, но в работе он никому не уступит. С утра и до позднего вечера он при деле — рубит, пилит, косит, задаёт корм борову, латает крышу, таскает в вёдрах воду.

Да иначе и нельзя. Пенсия-то у него всего 20 рублей.

Он прошёл через всё — Первая мировая война, гражданская, голод военного коммунизма, раскулачивание (у него был хуторок, но он вовремя догадался бросить его, чем и спасся), Вторая мировая, немецкая оккупация, голод послевоенных лет, культ личности, "волюнтаризм". Вся жизнь его была, есть и будет тяжким, надрывным трудом ради скудного пропитания. Я понимаю, что разрушать его веру в разорение финских фермеров и в американских безработных, роющихся в отбросах, было бы безжалостно, и всё же не могу удержаться.

— Доллар, Савелий Иванович, потому и падает, что он очень высоко стоит. А рубль не падает, ваша правда. Ему падать некуда.

Старик ничего не отвечает, разочарованно машет рукой и лезет на полок. Укладывается там на спину, протягивает ноги к жаркой каменке. Последний год он жаловался на боль в коленях. Главное лечение у него от всех хворей — хорошенько пропариться в бане. И он старательно охлопывает свои мослы веником, гонит горячий воздух на больные места.

Одно время редакторы в газетах и журналах для объяснения тех или иных цензурных вырезок, проделываемых ими, использовали такую формулу: "Не надо огорчать народ". И действительно, советский народ не хочет, чтобы его огорчали. Он поставлен в такое положение, в котором правда оказывается ему не по силам. И в цензурнопропагандном рвении он порой обгоняет официальную прессу. С визитом Никсона наши хозяева примирились только тогда, когда газеты сообщили (уже за две недели до импичмента) о Вотергейтском скандале. Вотергейт они поняли по-своему.

— Ну, теперь-то понятно, — говорили они. — Только он попробовал с нами замириться, капиталисты его и скинули. Не нравится им такое дело. Ох, не убили бы они его до смерти.

Или вот: американские "Маринеры" опускаются на поверхность Марса. Конечно, центральная советская пресса не может вообще умолчать о таком событии. Но так как событие безусловно для народа огорчительное ("почему не мы"?), то делается это мельком, однократно, только для того, чтобы показать Западу — вот, сообщаем. Провинциальные же газеты и вообще могут затерять такую мелочь между громкими реляциями о выплавке стали, севе зерновых или грузообороте вагонов. Я, например, только два года спустя, случайно нарвавшись у друзей на номер журнала "Америка", в котором была подробная статья с фотографиями марсианских пейзажей, смог представить себе настоящий масштаб этой победы американской технической мысли. Но много ли людей держало в руках тот выпуск журнала? 30 тысяч? 50? 100?

Министерство Правды — не плод фантазии Орвела. Оно существует вполне реально и успешно работает на благо советского тоталитаризма. Что ему достижения американской космонавтики! Министерство Правды справляется с задачами и более сложными. Ему ничего не стоит вытеснить из народного сознания любое событие даже новейшей русской истории. Мой знакомый, преподающий в вечерней школе, спрашивал выпускников — взрослых людей, многим из которых уже за 30.

— Знаете ли вы, кто такие были Ежов, Берия?

Не знает никто.

— Каково, по-вашему, было число жертв сталинского

террора?

— О, очень много. Чуть ли не 10 тысяч.

— Назовите каких-нибудь красных военачальников времён гражданской войны.

Называют главным образом Чапаева. Кто-то читал книгу о нём, кто-то смотрел фильм и каждый слышал анекдоты. Троцкого, Блюхера, Тухачевского, Якира, Уборевича не знает никто. Забыты даже Будённый и Ворошилов. Зато (смешной парадокс) почти все могут назвать трёх-четырёх белых генералов: Деникин, Колчак, Юденич, Врангель. Оно, впрочем, и понятно. Объекты прославления всё время менялись с переменой политического ветра в Кремле, а объекты поношения и проклятий — враги — всегда оставались одни и те же.

Лет десять назад на экраны вышел большой публицистический фильм известного режиссёра Чухрая "Память". "Помните ли вы Сталинградскую битву?" — с этим вопросом авторы обращались к десяткам людей в Советском Союзе и за рубежом, а затем монтировали полученные киноинтервью.

Интонация была возвышенно торжественная, с некоторой претензией на обобщение. Мол, Память — это святое.

Интересно, сказал кто-нибудь из опрашиваемых режиссёру, что вспоминать Сталинградскую битву, Брестскую крепость, осаду Ленинграда сейчас, конечно, почётно и выгодно, но было бы хорошо, чтобы одновременно с этим кто-то помнил раскулачивание, ГУЛаг, изгнание целых народов, оккупацию чужих земель и сотни других малоприятных моментов нашей истории. Если кто и отвечал в таком роде, в фильм это не попало. И всё же было там несколько живых моментов, из которых мне больше всего запомнился один: английская школьница где-то на Трафальгар-сквер в окружении подруг, гордая и возбуждённая всеобщим вниманием, говорит в микрофон:

— Да, я знаю, что такое Сталинград. Там была большая битва Второй мировой войны. На Волге. Русские разбили немцев, взяли тысячи пленных. Очень долгая и тяжёлая битва. Такая же, как Эль Аламейн.

Эль Аламейн!

Да спросите вы любого советского десятиклассника, даже круглого отличника, спросите студента, спросите выпускника

института: слышал ли он что-нибудь об Эль Аламейне? Уверен, что и среди сотни тысяч не найдёте одного, который ответил бы "да".

И произойдёт это не только потому, что министерство Правды круглосуточно занято искажением древней, новой и новейшей истории. Весь опыт жизни советского человека с малолетства учит его, что противоречить официальной интерпретации событий даже в собственном сознании — дело опасное, грозящее мучительной раздвоенностью, отчуждением и в пределе — полным остракизмом. Но чтобы не чувствовать унизительности такого положения, чтобы не казаться бессмысленным манекеном, повторяющим чужие слова, он часто пускается на нехитрый трюк: пытается обрести счастливую иллюзию самостоятельного мышления, перещеголяв пропаганду в идейности и патриотизме.

Именно поэтому деревенская старуха готова с жаром утверждать, что американцы не могли раньше русских попасть на Луну, что бы там ни писали газеты. Поэтому же и десятикласснику, студенту, выпускнику, режиссёру Чухраю покойней, безопасней и выгодней верить, будто наши невероятные потери военных лет — результат не бездарного руководства, а вялости и медлительности союзников. "Мы войну своей кровью выиграли, а союзнички свинной тушёнкой отделывались!" И если даже он прочтёт где-нибудь случайно, что как раз в дни Сталинградской битвы, именно с июля 1942 по март 1943-го, стотысячная армия Роммеля и огромное количество немецкой техники были уничтожены на севере Африки войсками Монтгомери в боях вокруг Эль Аламейна, — он постарается забыть это. Забудет и о том, что летом 1943 года, во время сражений на Курской дуге, американцы высадились в Сицилии, а затем и в Италии, и оттянули на себя с Восточного фронта десятки немецких дивизий. И о том, что в течение всех лет войны восточные границы СССР были в безопасности только потому, что все силы японского милитаризма были скованы борьбой с Америкой. И о тысяче других фактов истории, идущих в разрез с утешительными мифами и фикциями официальной пропаганды, советский человек постарается забыть из чувства самосохранения, из тяги к душевному покою, и пусть

к иллюзорному, но всё же — самоутверждению. Весь арсенал приёмов двойного мышления, вся энергия и опыт сотрудников министерства Правды придут ему на помощь в этом важнейшем деле.

Когда в 1957 году Советы запустили первый искусственный спутник Земли, свободная пресса моментально сделала этот факт известным всему миру, и мир был потрясён. Когда американские космонавты в 1969 году впервые ступили на поверхность Луны, людям, живущим за железным занавесом, были созданы все условия, чтобы забыть об этом на следующий же день. Что бы ни случилось теперь, имя Гагарина там будет знать каждый детсадник, а имя Армстронга с трудом вспомнят даже специалисты. И если в обозримом будущем пилотируемый американский корабль достигнет Марса, об этом будут говорить гораздо меньше, чем, скажем, об очередном повышении цен на водку. Ибо, как заметил один московский шутник, "ТАСС — это то место, где река Лета вытекает наружу, и широко разливается по поверхности земли".

Конечно, всё вышесказанное вовсе не значит, что на Марс лететь не стоит. Возражать против этого могли бы разве что писатели-фантасты: им ведь придётся тогда переносить место действия своих романов ещё дальше в космос. Но просто хотелось бы, чтобы учёные, пилоты, инженеры, заслуженно гордясь делом рук своих, не забывали парадокса, открытого нам (среди сотен других) бурным XX веком: что иногда легче бывает одолеть миллионы космических миль, чем пробиться через тончайшую, невидимую броню, закрывающую наглухо микрокосм сознания человека, живущего под властью тоталитаризма.

Игорь Ефимов

ТРЕУГОЛЬНИК — "США — СССР — КНР"

События последних месяцев в Азии придали новую динамичность политическим и военно-стратегическим противоречиям между США, СССР и Китаем в этой части мира. Выделю из этих событий заключение в августе прошлого года китайско-японского договора о мире и дружбе, подписание в ноябре того же года советско-вьетнамского договора о дружбе и сотрудничестве, "вьетнамский блицкриг" в Кампучии в конце прошлого — в начале нынешнего года и, наконец, признание Вашингтоном Пекина.

Широко распространившиеся за последнее время в печати термины "треугольник США — СССР — Китай" или даже "четырехугольник США — СССР — Япония — Китай", "ось Вашингтон - Токио - Пекин", "китайская карта" и т.д. только отражают те или иные конкретные сдвиги в позициях соперничающих в Азии держав.

Главная задача американской политики — поддержание мира во всем мире. Угрожающий рост военной мощи Советского Союза и экспансивные устремления его внешней политики, особенно ясно проявившиеся в 70-х годах, вызвали к жизни известную американскую доктрину "сбалансирования сил", то есть сдерживания Советского Союза путем противопоставления ему мощи других стран. При этом Соединенные Штаты стремятся предупредить рост напряженности в своих отношениях с Советским Союзом, ибо США и СССР — единственные "термоядерные сверхдержавы", которые в тотальной войне способны привести к гибели всю нашу планету.

В Азии основные "рычаги сбалансирования" американская

дипломатия еще в 60-х годах видела в мощи тихоокеанских вооруженных сил США и в американо-японском договоре безопасности, то есть в военном союзе с Японией.

Исход войны в Индокитае в какой-то мере ослабил позиции Соединенных Штатов в Азии. Ханой, вопреки ожиданиям американского правительства, нарушил свои прежние обещания и быстро захватил Южный Вьетнам. Юго-Восточная Азия, после ухода американских вооруженных сил, оказалась перед перспективой нарастающего соперничества в этом районе между Советским Союзом и Китаем.

Время показало, что советско-китайский конфликт принял затяжной характер. Больше того, события в Чехословакии и "малая пограничная война" между Китаем и СССР в 1969 году достаточно убедили китайское руководство в том, что Советский Союз куда более опасный враг, чем "американский империализм". Положение на военных фронтах в Индокитае к этому времени совершенно устраняло дальнейшую опасность для южного фланга КНР со стороны Америки. В связи с этим у Пекина отпадала необходимость в дальнейшей политике "сдерживания" Америки в Азии. Напротив, китайская дипломатия, руководимая талантливым Чжоу Эньлаем, решила "повернуться лицом" к Америке, как единственной силе, способной противостоять Советскому Союзу. Непрерывное политическое давление Москвы на Пекин и непрекращающееся наращивание советских вооруженных сил на границе с КНР говорили, что эта угроза далеко не миф, порожденный излишними страхами пекинских руководителей.

И Пекин еще в начале 70-х годов решил использовать "американскую карту". Разумеется, стремление Пекина к сближению с США вовсе не означало какой-то внезапной симпатии китайских коммунистов к западной демократии и к американским капиталистам. Выбор Пекина был прост: капитулировать перед Советским Союзом или "склониться" в сторону Америки, рискуя "запачкать" свое идеологическое лицо в глазах международных коммунистов. Пекин выбрал второй путь.

Соединенные Штаты, однако, не могут и не должны обольщаться, что они сумели сделать из китайских коммунистов своих "верных союзников" и приверженцев полити-

ческих идеалов западного мира. Можно привести немало высказываний руководителей КПК и правительства КНР о том, что игра "американской картой" представляет собой лишь рассчитанный тактический ход со стороны Пекина. В этой статье, я думаю, достаточно ограничиться заявлением председателя ЦК КПК и премьера КНР Хуа Гофэна, которое он сделал в прошлом году на сессии всекитайского собрания народных представителей. "Две гегемонистских державы —Советский Союз и Соединенные Штаты —крупнейшие международные эксплуататоры сегодняшнего дня и общие враги народов мира, — говорил Хуа Гофэн, — они усиливают борьбу между собой за мировое господство и безудержно ведут свою политику агрессии и войны". Дав такую характеристику Советскому Союзу и Соединенным Штатам, Хуа Гофэн затем подчеркнул, что у Китая и США, несмотря на всю разницу в их социальной системе и идеологии, есть "много общего в позициях по некоторым вопросам текущей международной обстановки". Хуа Гофэн далее ссылается на Ленина, который учил в борьбе с главным, самым опасным врагом — в данном случае, с Советским Союзом — использовать все возможности, чтобы заручиться помощью любого союзника, пусть даже этот союзник будет "временным, шатким, неустойчивым и условным". Таким союзником Пекин, очевидно, и считает Соединенные Штаты.

Одновременно с этой эволюцией политики КНР по отношению к Советскому Союзу и Соединенным Штатам коренные сдвиги наметились и во внешней политике США. Собственно говоря, идея игры "китайской картой" зародилась задолго до того, как этот термин вошел в сегодняшний политический словарь. Ричард Никсон, еще до избрания его президентом США, писал в 67 году в журнале "Форэйн аффэрс", что раскол между Москвой и Пекином усложнил мировую международную конъюнктуру и сделал возможным взаимодействие между США и Китаем. Став президентом, Никсон начал подготавливать путь к сближению с Пекином. Эта подготовка завершилась его поездкой в Пекин в 72-м году и Шанхайским коммюнике, положившим основы американо-китайского сотрудничества. При этом прямой американо-китайский союз никогда не был основной целью американской дипломатии. Правительство

Никсона видело в своих налаживающихся китайских связях фактор, который оно могло использовать в разных целях: добиться более приемлемых условий вывода американских войск из Индокитая, оказать давление на Советский Союз, чтобы заставить его быть более уступчивым в переговорах об ограничении стратегических вооружений и т.п.

С тех пор процесс сближения между США и Китаем не прерывался. На протяжении ряда лет представители американского правительства, Конгресса США и американской общественности заверяли пекинских руководителей, как они продолжают делать это и сейчас, что сильный и стабильный Китай в интересах сохранения мира и в интересах самой Америки. Но из-за отсутствия дипломатических отношений Соединенные Штаты были лишены практических возможностей помочь развитию экономики Китая. Большой шаг вперед в этом отношении представило подписание в августе 1978 года китайско-японского договора о мире и дружбе. Заключение этого договора открыло путь широкому экономическому и техническому сотрудничеству между Китаем и Японией.

Нынешний президент США Джимми Картер включил полную нормализацию отношений с Китаем в число своих предвыборных обещаний. Не лишне напомнить, что еще до него это обещали сделать, но не сделали, два других американских президента — Никсон и Форд. Поэтому решение правительства Картера в декабре прошлого года установить с КНР полные дипломатические отношения вряд ли можно признать неожиданным. Подавляющее большинство критиков этого шага президента выступают собственно не против нормализации американо-китайских отношений, как таковой. Они не согласны с теми условиями, на которых США решили отправить своего посла в Пекин. Критики президента полагают, что он мог бы не спешить с признанием КНР и продолжать настаивать на более благоприятных для Тайваня условиях нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином.

Решение президента Картера признать КНР в декабре 1978 года, как недавно признал сам президент, внесло дополнительный холодок в американо-советские отношения и на какое-то время затормозило переговоры по ОСВ-2.

Политические обозреватели, комментируя декабрьское решение США признать пекинское правительство единственным законным правительством Китая и обменяться с ним послами, выдвигают ряд объяснений поспешности этого шага американского правительства. Указывают, например, что Картер сознательно избрал декабрь для объявления своего решения признать Китай, по существу, на пекинских условиях, во избежание вмешательства со стороны Конгресса США.

Говорят также, что ускорить признание Пекина администрацию Картера побудило заключение в ноябре 1978 г. советско-вьетнамского договора о дружбе и сотрудничестве.

Думается, однако, что если эти соображения и играли какую-нибудь роль в решении президента Картера, то эта роль была скорее второстепенной, тактической, а не стратегической.

Важнейшая причина заключалась в другом. Советский Союз, непрерывно наращивая военную мощь, продолжал расширять свое влияние всюду, где только представлялась возможность. Создавалось впечатление, что США и их союзники не в состоянии преградить путь советской экспансии. В Пекине, несомненно, делали из этого свои выводы. Специалисты в китайских делах стали, например, указывать на возможность какого-то сближения между Москвой и Пекином, если китайцы придут к выводу, что США не хотят или не могут понудить Советский Союз отказаться от наступательной внешней политики. Сошлюсь хотя бы на слова проф. А. Дока Барнетта, одного из главных американских специалистов в китайских делах, человека, знающего Китай не по книгам, а по личному опыту длительной жизни в этой стране. В своих показаниях в подкомитете по азиатским и тихоокеанским делам Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США в сентябре 77-го года проф. Барнетт заявил, что он считает "весьма проблематичным и очень опасным постулат", что мало опасности, чтобы Пекин пересмотрел свою политику по отношению к США и к СССР, пока Вашингтон решает вопрос о том, укреплять ли ему свои связи с китайцами или нет. Барнетт высказал уверенность, что Китай пересмотрит свою внешнеполитическую стратегию, если он убедится, что США не хотят нормализовать отношения с КНР на пекинских условиях или что

США не могут или не хотят оказать действенного сопротивления советской экспансии.

Действительно, определенные жесты в сторону Москвы Пекин делал даже в 1978 году, точнее — в первой половине этого года. В марте прошлого года Китай отверг предложение Верховного Совета СССР о том, чтобы Пекин и Москва выступили с совместным заявлением о их желании строить свои отношения на основе принципов мирного сосуществования, рассматривая подобное заявление как предпосылку к нормализации советско-китайских отношений. Но Хуа Гофэн в своем докладе Всекитайскому собранию народных представителей в феврале того же года постарался смягчить позицию Китая, повторив прежние утверждения о готовности Пекина нормализовать межгосударственные отношения с СССР на определенных условиях. Больше того, вслед за категорическим отказом китайского правительства принять предложение Верховного Совета СССР, 26 апреля прошлого года в Пекине неожиданно появился заместитель министра иностранных дел СССР Леонид Ильичев, который возглавляет советскую делегацию на пекинских переговорах между СССР и КНР по пограничным вопросам. Одно его появление в китайской столице и возобновление пограничных переговоров, после резкого отказа пекинского правительства от повторного советского предложения смягчить китайско-советскую вражду, уже само по себе было неожиданным. Еще более загадочной была встреча, которую оказали Ильичеву в пекинском порту представители правительства КНР, обнимавшиеся и лобызавшиеся с советским министром. Правда, новый тур советско-китайских переговоров по спорным пограничным проблемам не дал никаких результатов. А во второй половине 1978 года Пекин даже объявил о своем намерении не продлевать срок действия советско-китайского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенного в 1950 году между Мао Цзэдуном и Сталиным. Тем не менее, доброжелательные жесты в сторону Москвы Пекином все же делались и делаются.

Возможно, что за такими жестами не скрывается ничего иного, как желание воздействовать на Вашингтон, играя "советской картой", как Пекин использует против СССР и

"американскую карту". Однако это вовсе не дает основания полностью исключать возможность советско-китайского примирения, пусть даже частичного, если рассматривать этот вопрос не в плане сегодняшнего дня, а в перспективе. Ведь борьба за власть в руководстве послемаоцзэдуновского Китая все еще продолжается. Хотя Дэн Сяопин сейчас, по-видимому, сумел обеспечить себе доминирующее положение в пекинском руководстве, но будущее этого руководства остается по-прежнему тёмным. Неудачи на фронте экономической и технической модернизации или на внешнеполитическом фронте вполне могут послужить причиной новых схваток за власть на пекинских верхах между сторонниками Дэн Сяопина и Хуа Гофэна.

Не надо забывать также, что как в Китае, так и в Советском Союзе у власти сейчас находится немало стариков. А какой будет политика тех, кто придет им на смену, трудно даже и гадать. В этом отношении следует отметить, что "прагматики" — Дэн Сяопин и его единомышленники — в значительной мере устранили идеологические, то есть принципиальные преграды на пути сближения КПК с КПСС. Мао Цзэдун и сторонники его внешнеполитического курса, например, раньше осуждали Советский Союз за сотрудничество с "американскими империалистами", за ревизионистскую политику, результатом которой якобы стало возрождение в СССР "капитализма", а за его пределами — дружба между советскими руководителями и "отцом ревизионизма" — Иосифом Броз Тито. Но после смерти Мао при коалиционном руководстве Хуа Гофэна — Дэн Сяопина Китай во внутренней и внешней политике сам вступил на этот "ревизионистский" путь.

С нынешнего года Китай, по решению ЦК КПК, целиком переключается на выполнение грандиозной программы модернизации. Пришло время расходовать десятки, а может быть и сотни миллиардов долларов, которых у Китая нет. В нынешних условиях средства на индустриализацию и необходимую техническую помощь Китай может получить только у Запада. Но это лишь половина дела. Вкладывать в модернизацию своей экономики колоссальные средства Китай может только при том условии, что ему будет гарантирована международная

безопасность. Для этого Пекин должен отказаться от своих враждебных СССР позиций или искать этой гарантии у другой мощной страны. И такой страной могут быть только США. Планы Пекина, судя по высказываниям заместителя премьера Госсовета КНР Дэн Сяопина, в руках которого в настоящее время сосредоточилась государственная политика КНР, идут, однако, дальше. США должны составить основное ядро так называемого международного единого фронта борьбы против гегемонизма, то есть, попросту говоря, — против Советского Союза. В этот международный фронт, по замыслам Пекина, должны войти также Япония и Западная Германия. В своем интервью журналу "Тайм" Дэн Сяопин говорит уже о прямом союзе США — Китай — Япония — Западная Германия, нацеленном против СССР.

Разумеется, Пекин не диктует своей политики Соединенным Штатам. Америка же, судя по всему, не имеет намерения открыто поддерживать Китай против СССР, а тем более вступать с ним в военный союз. По крайней мере, так обстоит дело в настоящее время. Президент Картер в Послании Конгрессу о положении страны, на своих последних пресс-конференциях и в переговорах с заместителем пекинского премьера Дэн Сяопином в Вашингтоне настаивал на том, что нормализация американо-китайских отношений вовсе не означает отказа Вашингтона от политики "равной дистанции" по отношению к СССР и КНР. Более отчетливо определил основные вехи американской политики в треугольнике "США — СССР — КНР" помощник государственного секретаря США по восточно-азиатским и тихоокеанским вопросам Ричард Холбрук. Выступая 27 ноября прошлого года в Вашингтоне в Клубе женщин-демократов, Холбрук определил главные позиции США по отношению к двум коммунистическим гигантам. Американский дипломат признал, что некоторая разобщенность между Китаем и СССР и напряженность в советско-китайских отношениях в интересах Соединенных Штатов и Запада. Отчужденность между Пекином и Москвой служит Америке своего рода залогом, что нынешнее равновесие сил в Азии можно будет сохранить какое-то неопределенное время. Не нарушит этого равновесия, с американской точки зрения, и

известный спад накала в конфликте СССР —Китай. Однако полное примирение между этими странами нанесет смертельный удар доктрине "сбалансирования силы". Такой же результат будет и в том случае, если США установят слишком тесные связи с Китаем, даже неформальный союз с ним, угрожая тем самым СССР.

Однако Советский Союз, судя по высказываниям средств массовой информации этой страны, да и ее руководящих деятелей, видимо, не совсем доверяет заявлениям американского правительства и его намерению проводить политику "равной дистанции" к Китаю и к СССР. В заявлении о нормализации отношений между США и КНР президент Картер, например, употребил термин "гегемония". История заключенного в августе прошлого года китайско-японского договора ярко показывает, что для СССР это слово, как говорится, что для быка красная тряпка. Советский Союз признал договор между Китаем и Японией антисоветским именно потому, что в него включено положение о "совместной борьбе против гегемонизма". А "гегемонизм" в глазах советских руководителей означает некую вывеску, предназначенную прикрыть антисоветский сговор "китайских предателей" с международным империализмом и реакцией. Не понравились Москве и слова Леонарда Вудкока, сказанные в Пекине в дни нормализации американо-китайских отношений. Вудкок, как цитирует его печать, заявил, что признание Соединенными Штатами Китая позволяет Пекину перебросить войска из военных округов, расположенных против Тайваня, на север и на юг страны, то есть против СССР и Вьетнама. Советские газеты отмечают также, что США резко оборвали всякие контакты с Ханоем по вопросу о нормализации отношений. И сделал это Вашингтон якобы опять в угоду Китаю. Не прошла незамеченной и позиция американской делегации в ООН, поддержавшей в Совете Безопасности режим Пол Пота, который президент Картер еще недавно заклеймил как самый кровожадный и злодейский.

Не хотят в СССР принимать в абсолютном смысле и утверждения руководителей США о том, что Америка не намерена пускать в ход "китайскую карту" против СССР.

Американская печать часто подчеркивает параноическую

подозрительность Советского Союза и его руководителей ко всему, что касается американо-китайских отношений. Но как при этом условии будут толковать в СССР постоянные утверждения, что США хотят видеть Китай мощным? И не означает ли это в глазах СССР настоящий ход "китайской картой", когда США открыто называют Китай рычагом, который они стремятся применить, чтобы "сбалансировать" силы в Азии? Мы ставим эти вопросы только для того, чтобы показать, как могут расходиться, и действительно расходятся, восприятие и оценка сдвигов в отношениях между США и КНР в Америке и в Советском Союзе.

Советский Союз достаточно ясно дает понять Америке и странам Западной Европы, что он не желает военной помощи Запада Китаю. Об этом советская сторона заявляла так часто и упорно, что этим заявлениям приходится придавать какое-то значение. Брежнев в последние недели повторял эту тему в беседах с государственными деятелями других стран, в интервью и даже разослал особые письма руководителям западных государств. Всем должно быть ясно: Советский Союз не хочет иметь рядом с собой мощный и враждебный Китай.

Положение осложняется и тем, что советские руководители, видимо, намерены рассматривать как враждебную СССР даже массивную экономическую и техническую помощь Китаю, так как с их точки зрения такая помощь будет способствовать развитию китайской военной промышленности и усилению военного потенциала Китая.

Часто высказываются утверждения, что Советский Союз в этом случае ничего не сможет сделать, так как за спиной Китая будет мощная Америка. Лично я склоняюсь к тому, что с большой осторожностью надо относиться к таким утверждениям. Недавние события в Индокитае, последовавшие за подписанием советско-вьетнамского договора о дружбе и сотрудничестве, свидетельствуют, по крайней мере, о том, что СССР, поддерживая Вьетнам, был готов и к каким-то военным мерам на границе с Китаем. Многие американские и европейские специалисты в китайских и военных делах сходятся в том, что у Советского Союза найдется немало путей для осуществления ограниченных, так сказать, локальных операций против Китая, не

вызывающих широкого международного конфликта. Может, например, произойти вооруженный конфликт на китайско-монгольской границе или восстание нацменьшинств в Синьцзяне. Во всех этих случаях Советский Союз будет "обязан" оказать свою помощь. И не будет удивительно, если в районах Китая, граничащих с СССР, в результате этих ограниченных военных действий появится, по кампучийскому варианту, своеобразный "Национальный комитет спасения Китая". В возможностях СССР спровоцировать и конфликт Китая с другими государствами — с тем же Вьетнамом, или вновь разжечь военный пожар на Корейском полуострове, хотя последний вариант при нынешней позиции Пхеньяна весьма сомнителен.

В заключение остановлюсь на тайванской проблеме. Оговорюсь, что по своей важности она заслуживает отдельного и всестороннего освещения. Для всех ясно, что именно Тайваню нормализация американо-китайских отношений сулит наиболее драматические, а может быть, и трагические последствия. Решение администрации Картера прервать с Тайванем дипломатические отношения и прекратить с 1980 года действие договора о совместной обороне означает, по существу, согласие Вашингтона решить тайванскую проблему на пекинских условиях. Ведь заявления китайских руководителей о том, что они сделают все, чтобы "объединить" Тайвань с материковым Китаем мирными средствами, не дают никакой гарантии на будущее и бьют мимо цели.

Вся суть в том, что судьбу 17 миллионов жителей независимого государства, которого Соединенные Штаты постоянно называли своим "верным союзником", решили, даже не спросив их мнения: хотят ли они жить под коммунистическим режимом, предпочитают ли оставаться свободными или же, наконец, хотят ли объявить Китайскую Республику независимым от Китая государством "Тайвань". Непопулярность такого решения тайванской проблемы мы наблюдаем даже в США. Последний опрос общественного мнения, проведенный газетой "Нью Йорк Таймс" и телевизионной компанией Си-Би-Эс в январе этого года, накануне приезда в США Дэн Сяопина, показал, что 46 процентов опрошенных американцев высказались против нормализации отношений между США и Китаем за счет Тайваня, а поддержа-

ли такую нормализацию только 32 процента опрошенных. Что же в таком случае думать о жителях самого Тайваня?

Форма, в какой решается тайванский вопрос, бесспорно, заставит задуматься и других "малых"союзников Америки и уж, во всяком случае, не укрепит в них доверия к США. Такова истина, хоть она, быть может, и горька.

Конечно, судьбу Тайваня далеко нельзя считать решенной. Китай при нынешнем состоянии его вооруженных сил и тех надеждах, которые он возлагает на США в осуществлении своей программы модернизации и в "сдерживании" Советского Союза, вряд ли решится прибегнуть к вооруженной силе в ближайшие годы. К тому же Конгресс США может принять какое-нибудь законоположение, гарантирующее безопасность Тайваня — постоянно или временно. Президент Картер в своих последних выступлениях твердо обещал позаботиться о судьбе 17 миллионов тайванцев. Но и без этих обещаний ясно, что США не могут отказаться от значительных экономических интересов на Тайване, не могут согласиться, чтобы миллиарды американских долларов, вложенных в тайванскую экономику, перешли к коммунистическому Китаю.

Не следует забывать и военно-стратегического значения острова, входящего в систему обороны Японии и Южной Кореи. Плохо верится, чтобы тайванские руководители, в случае отказа США снабжать в дальнейшем Тайвань оружием и в какой-то форме гарантировать его безопасность, решились включиться в орбиту советской политики. Однако возможность закупок Тайванем советского оружия при указанном положении уже не представляется невероятной. А чем отчаяннее будет положение Тайваня, тем больше будет способно на рискованные шаги его правительство.

К. Павлов

НЕЗРИМАЯ ПАУТИНА

ПОСЛЕ РАЗОБЛАЧЕНИЙ "ТРЕСТА"

Врангель оказался прав. В письме своему личному другу, блестящему кавалерийскому начальнику, генералу И. Г. Барбовичу Врангель писал 9-го июня 1927 года:

..."Разгром ряда организаций в России и появившиеся на страницах зарубежной русской печати разоблачения известного провокатора Опперпута-Стауница-Касаткина вскрывают в полной мере весь крах трёхлетней работы А.П. Кутепова. То, о чём я неоднократно говорил и Великому Князю, и самому Александру Павловичу, оказалось, к сожалению, правдой. А.П. попал всецело в руки советских Азефов, явившись невольным пособником излавливания именем Великого Князя внутри России врагов советской власти"...

Еще резче писал Врангель Барбовичу 21 июня 1927 года:

..."С А.П. Кутеповым я говорил совершенно откровенно, высказав ему моё мнение, что он преувеличил свои силы, взялся за дело, к которому не подготовлен, и указал, что нравственный долг его, после обнаружившегося краха его трёхлетней работы, от этого дела отойти. Однако едва ли он это сделает. Ведь это было бы открытое признание своей несостоятельности. Для того чтобы на это решиться, надо быть человеком исключительной честности и гражданского мужества".

Действительно, Кутепова этот грандиозный провал не остановил. Наоборот, разоблачение "Треста" толкнуло его на ещё более рискованные действия. Мария Захарченко, которой он

Мы печатаем отрывок из готовой к печати книги Б. Прянишникова "Незримая паутина". *РЕД.*

верил как самому себе, решительно высказывалась за скорейшее проведение террористических актов. В тон ей вторил Опперпут.

Виктор Александрович Ларионов, марковец-артиллерист, член боевой организации Кутепова, так писал об этой удивительной женщине:

"Мария Владиславовна Захарченко-Шульц, заслуживающая имени основательницы и застрельщицы белого террора, не оставила как будто после себя печатного идеологического наследства... Впрочем, в недолгих беседах, между деловыми разговорами, она строила планы будущего, мечтала... Преемственность, непрерывность борьбы, подготовка кадров, группа "националистов-террористов"... яркие, сильные, живые, надпартийные лозунги — вот предметы её глубоких мыслей и скупых слов. Она считала себя обречённой, смотрела на свою гибель, как на нужный шаг в предстоящей борьбе: "Нужен пример, начало... надо идти самой. Потом уже руководство другими, посылка и идейное оформление"... Она не строила иллюзий в настоящем. Многие месяцы, проведённые в СССР, не позволяли ей смотреть сквозь розовые очки на советского обывателя, партийца, комсомольца, бывшего офицера. Время её деятельности, а также и её первых последователей, было концом НЭПа, преддверием катастрофического периода "сталинизма". Сравнительное ещё благополучие советского человека, успокоенного НЭПом, его апатия в вопросах национального бытия, обывательский страх перед самым словом "борьба" — были подобны восприятию тех же вопросов средним эмигрантом, читателем радикальной прессы.

Это условие обрекало каждый акт террора не только на непризнание, но подчас и на осуждение подвига, и уж неизменно на указание "бесцельности". Обыватель советский, как и средний эмигрант, верил в эволюцию Коминтерна и ГПУ. Но, конечно, ни обывательские взгляды не могли удержать Марию Владиславовну от её решений, ни вопросы "целесообразности" заставить сойти с пути. Эта обречённость при сознании безнадёжности победы сегодня и делали Марию Владиславовну героиней в наших глазах: "Мы погибнем, но за нами придут другие. Наше дело не умрёт с нами".

Захарченко познакомила Ларионова с Опперпутом. Была

она неузнаваема. Её лицо осунулось, скулы выступили, платье висело как на вешалке. Но глаза по-прежнему выражали решимость и твёрдость.

Вся под впечатлением разоблачений Опперпута, объятая гневом и отчаянием, Мария громко кричала:

— Кончено, всё кончено! Всё разрушено в прах! То был чудовищный обман, блеф, мыльный пузырь. Чекисты обманули всех — и нас, и эстонцев, и англичан, и поляков. Скандал на весь мир! "Трест" — провокация, затмившая Азефа... Нас с Гогой должны были вывести в расход по решению коллегии ОГПУ, да вот он нас предупредил.

Ларионов повернулся в сторону её жеста. Сидевший в кресле худощавый, рыжеватый шатен с острой бородкой смотрел на Ларионова внимательным, изучающим взглядом. Отбросив газету, он встал и протянул руку Ларионову. Крепко пожав руку Ларионова своими длинными пальцами, он коротко, с чуть выраженным латышским акцентом, представился:

— Опперпут-Стауниц. Ответственный работник КРО ОГПУ.

— Мы бежали с ним, — продолжала Захарченко, — вчера ночью. В последний раз проскочили по линии "Треста", там не успели предупредить границу. А Гога с двумя нашими молодцами бежал в Польщу... Да, удар страшный... Романа Бирка считала другом, своим, почти родным, три года работали рука об руку. Агент КРО! И уже давно как взят. Мы многое разоблачим. Теперь настало время платить. Теперь руки развязаны... Мы осуществим то, чего не позволял под разными предлогами проклятый "Трест". Мы начнём террор... За Рейли! За весь позор! Ведь я сама возила всяких мерзавцев в Париж и представляла нашим... Экономила "партийные" деньги, всегда тряслась в третьем классе, не спала ночами, не доедала. Деньги ГПУ! О, Боже, если бы я знала раньше!

СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

Генерал Кутепов хотел назначить Марию Захарченко главой Союза Национальных Террористов. Но Мария решительно отклонила предложение, заявив, что, не показав личного примера, она ни за что не пошлёт других. Настояния Кутепова

успеха не имели. Мария сказала, что готова нарушить дисциплину, но пойдёт первой. И Кутепов уступил.

По вечерам Опперпут, Захарченко и Ларионов обсуждали планы покушений, диверсий, массового террора. Толковали о развитии работы в большом масштабе после удачи первых попыток.

Мария часто задумывалась, писала страницу за страницей. Предстоявшему новому делу посвящала все свои думы. Часто наедине совещалась с Опперпутом.

— Да, нужна партия, — говорила она, — но не знаю, как её лучше и хлеще назвать. Националисты-террористы, что ли? Нужен хороший отбор. Старые боевые заслуги — ничто. Мы пойдём первыми, потом уже передадим опыт другим.

Мало-помалу, в тесном сотрудничестве с Опперпутом, Захарченко составила боевые диспозиции и отправила их в Париж Кутепову: "Начало. После нашего отъезда необходимо направить две-три группы по 4 человека для взрыва мостов. Так составляю задание Жукову* и на словах рассказала его Викторову** (он тоже пойдёт). Взорвать мост *одновременно* на Волхове и Луге, чтобы отрезать Петроград и создать панику. Я подробно разбирала это дело. После этого можно перейти к поджогам и к взрывам в учреждениях посредством заложенных ранее снарядов. Достать технические средства возможно. *Никто* из людей, кроме Жукова, не должен *ничего* знать. Поэтому до моего возвращения Жукова пускать нельзя, особенно если у Вас не будет другой базы. Старайтесь теперь же наладить заготовку бомб большой силы, небольших сосудов с газами и главное культуры бацилл. Этим мы их скорее всего доканаем с наименьшими для нас потерями. А для народа появление в среде коммунистов чумы или холеры будет, конечно, истолковано, как гнев Божий. О человечности говорить уже не приходится. Кроме того, надо организовать пиратство в море, отравление экспорта русских товаров и т.д. Хорошо бы устроить потопление "Товарища". Об этом Вам подробно пишет Ринг, и я всё это здесь перепишу.

---

* Радкович.

** Ларионов.

В первую очередь надо организовать: 1) Производство документов: а) заготовка бланков по данным нами образцам, б) печатей, штемпелей, в) книжек с водяными знаками. 2) Разработка каждого акта по карте России и планам городов. Задание даётся только старшему в группе, который сообщает остальным лишь в день перехода границы. 3) Каждый снабжается, кроме оружия (револьвер и ручные гранаты), капсулой с цианистым калием, чтобы ни один не смел попадаться в руки живым. 4) Подыскание инструктора пиротехники: а) занятие подрывным делом и обращением с динамитом и газами и выработкой их с намеченными для отправки людьми, б) составление краткого наставления кустарного производства взрывчатых веществ и газов, изложенное в форме прокламаций, которые необходимо дать едущим, а также распространять внутри России. 5) Привлечение абсолютно проверенного бактериолога: оборудование своей лаборатории для разведения культур инфекционных болезней (чума, холера, тиф, сибирская язва, сап), б) снабжение уходящих бактериями для заражения коммунистических домов, общежитий войск ГПУ и т.д.

Примечание к § 5. О последнем не должны подозревать даже помогающие нам государства".

Вдохновителем этих боевых диспозиций, посланных Кутепову, был Опперпут, принявший в Союзе Национальных Террористов кличку Ринг.

В письме Кутепову Ринг подробно изложил план действий, соблазнительный и фантастический, но в случае его проведения грозивший стать бумерангом против его исполнителей:

"После первых ударов по живым целям, центр тяжести должен быть перенесён на промышленность, транспорт, склады, порты и элеваторы, чтобы сорвать экспорт хлеба и тем подорвать базу советской валюты. Я полагаю, что для уничтожения южных портов на каждый из них нужно не более 5 - 10 человек, причём это необходимо сделать одновременно, ибо после первых же выступлений в этом направлении охрана их будет значительно усилена. Сейчас же вообще никакой вооружённой охраны их нет. После первых же выступлений необходимо широко опубликовать и разослать всем хлебным биржам и крупным хлебно-фуражным фирмам сообщение Союза

Национальных Террористов, в котором они извещают, что все члены СНТ, находящиеся в России, не только будут сдавать советским ссыпным пунктам и элеваторам свой хлеб отравленным, но будут отравлять и хлеб, сдаваемый другими. Я не сомневаюсь, что даже частичное отравление 3 — 4 пароходов, груженных советским хлебом, независимо от того, где это будет сделано, удержит все солидные фирмы от покупки советского хлеба. Конечно, о каждом случае отравления немедленно, весьма широко, должна быть извещена пресса, чтобы не имели случаи действительного отравления иностранцев. То же самое можно будет попытаться сделать с другими советскими экспортными съестными продуктами, например с сибирским маслом. При введении своих людей в грузчики, портовые и таможенные служащие, это будет сделать не трудно. Этим был бы нанесён советам удар, почти равносильный блокаде... Помимо того, уничтожение элеваторов не только сильно удорожит хлеб, но и ухудшит его качество. Я совершенно не сомневаюсь, что на это не трудно будет получить в достаточном количестве технические средства, вплоть до хорошо вооружённых моторных лодок. Если бы таковые были получены, то можно было бы развить и некоторое пиратство для потопления советских пароходов... Ведь сейчас имеются моторные лодки, более быстроходные, чем миноносцы. При наличии моторного судна можно было бы устроить потопление долженствующего скоро возвращаться из Америки советского учебного парусника "Товарища". При медленном его ходе настигнуть его в открытом океане и потопить так, чтобы и следов не осталось, не так уже было бы трудно. А на нём ведь исключительно комсомольцы и коммунисты. Эффект получился бы потрясающий. Потопление советских нефтеналивных судов могло бы повлечь к нарушению контрактов на поставку нефтепродуктов и колоссальные неустойки. Здесь мы найдём широкую поддержку от нефтяных компаний. Когда американские контрабандисты имеют свои подводные лодки и аэропланы, разве нам откажут в получении хороших моторных лодок, если мы докажем своё?

Надо немедленно начать отправку в Россию различными способами агитационной литературы с призывом к террору и к самоорганизации террористических ячеек, выступающих от

имени СНТ. Я думаю, что применительно к советским сокращениям, организация могла бы сокращённо именоваться "Сент" или "Сенто", а члены — "Сентоки" или "Сентисты".

Необходимо, чтобы отправляемые террористы при выступлениях всегда бросали записки, что покушение или акт сделан такой-то группой СНТ, постоянно меняя нумерацию, чтобы создать иллюзию мощи СНТ и сбить с толку ГПУ...

...Для уничтожения личного состава компартии придётся главным образом применить культуры микробов эпидемических болезней (холера, оспа, тиф, чума, сибирская язва, сап и т.д.). Этот способ, правда, наиболее безопасен для террористов, и если удастся наладить отправку в Россию культур болезней, то один террорист сумеет вывести в расход сотни коммунистов... Организовать отправку культур микробов очень легко через дипломатов-контрабандистов. Очень многие дипломаты лимитрофных государств занимаются провозом в Москву контрабанды и возят её сразу до 10 пудов (3 - 4 чемодана). За провоз берут от 150 до 300 долларов за чемодан. Для этого нужно войти в связь с ответственными сотрудниками Мин. Вн. дел и с их друзьями. В Ревеле это смог бы организовать Гуго Тамсар или сотрудник Мин. Ин. Д. Маркус... При некоторой осторожности через них можно будет отправлять и газы, и взрывчатые вещества. Только всем этим предметам нужно придавать товарный вид, то есть, чтобы дипломаты и посредники не знали, что они в действительности везут. Помимо того, чемоданы должны быть с особо хорошими замками, чтобы дипломат из праздного любопытства не полез бы туда...

... Культуры бацилл отправлять лучше всего в упаковке от духов, одеколона, эссенции, ликёров и т.д. Газы под видом каких-либо лаков в жестяной или стальной упаковке. Взрывчатые вещества под видом красок, ванили, которая пересылается в жестяных коробках...

При выборе целей для таких терр. актов надо иметь ввиду только те учреждения, где все без исключения служащие, а также посетители, являются коммунистами. Таковы: 1) Все областные комитеты ВКП(б), все губернские комитеты ВКП(б), все партийные школы, войска ГПУ и органы ГПУ...*

*Следует список 75 учреждений в Петрограде и Москве с их адресами.

...Командируемым за границу следует советовать не селиться в городах меньше губернских. Для акклиматизации самое лучшее осесть в дачных местностях Москвы. Но необходимо, чтобы прибывший немедленно нашёл себе занятие; извозчики легковые и ломовые, сапожники, торговцы в разнос, торговцы-старьёвщики... Лицу, которое будет для связи с миссией, очень хорошо быть извозчиком или парикмахером. В последнем случае он может ехать парикмахером миссии... На постоянное жительство не следует оседать в местностях ближе 100 вёрст к границе, ибо здесь надзор за вновь прибывшими настолько строг, что прибывший туда скоро будет расшифрован.

Весьма желательно, чтобы каждый перешедший границу писал не реже одного раза в неделю. Этой мерой можно до некоторой степени застраховать себя от переписки с уже арестованным и сидящим в ГПУ... Если посланный сумеет акклиматизироваться, то необходимо, чтобы он опускал письма в почтовый ящик не в той местности, где он живёт, а по возможности дальше оттуда. Лучше всего опускать в почтовые вагоны, ибо тогда установить местонахождение этого лица совершенно немыслимо...

... Сообщаю некоторые сведения, которые могут облегчить работу на контрразведке:

1) Если кто-либо говорит, что он является представителем организации, насчитывающей свыше 100 членов, то он или преувеличивает мощь организации, или является представителем легенды. Если же говорится о сотнях и тысячах членов, то безусловно это легенда.

2) От каждого прибывшего следует требовать список главных руководителей и вообще всех членов организации, которых он знает, с указаниями их настоящих фамилий, имён, отчеств и адресов. Эти данные можно проверять через адресные столы.

3) Желательно иметь связь не с одной легендой, которая составляла бы военные материалы, чтобы сопоставлять получаемое из других мест, проверять последние.

4) Дезинформационное бюро Разведупра всячески уклоняется от дачи дислокации технических войск... сведения, какие дивизии

являются обыкновенного состава, какие усиленного, какая разница между теми и другими, как на случай мобилизации будут разворачиваться терчасти. Все эти сведения военнослужащему получить очень легко, и если он отказывается от дачи их, значит он — сотрудник ГПУ...

5) Сведения ГПУ и Разведупра отличаются своей лаконичностью. Например, в случае переброски какой-либо дивизии обыкновенный информатор напишет об этом целые страницы... Дезинформационное же бюро ограничится только фиксированием самого факта переброски и изложит это в двух-трёх фразах".

Так Опперпут завоёвывал доверие Кутепова и его боевиков.

ОППЕРПУТ РУКОВОДИТ ТЕРРОРОМ

Жаждавшую действий Марию Захарченко Опперпут увлёк своими столь смелыми предложениями. Семена его идей падали на почву, хорошо удобренную ненавистью к коммунистам и саморазоблачением "Треста".

Кутепов нисколько не возражал против немедленных террористических актов. Но для проверки искренности Опперпута он поставил обязательным условием его собственное участие в терроре.

—Верите ли вы Опперпуту?—спросил Марию Ларионов.

— Знаете, и да, и нет... Во всяком случае, не на все сто процентов, — ответила она после краткого раздумья.

— Так как же вы решаетесь с ним идти?

— А что же делать? Ведь только он может помочь в моём плане...

— Ну, а если?

— Тогда умрём вместе. Я его предупредила, что пристрелю при первом же подозрении. Будет у меня всё время на мушке... Да и должен же он доказать на деле, что честно и бескорыстно перешёл в белый лагерь.

Вскоре Мария посвятила Ларионова в свои планы:

— Влезу в самое осиное гнездо. В один из переулков на Лубянке выходит чёрный ход дома с частными квартирами крупнейших работников ИНО и КРО ОГПУ. Ночью мы войдём. Опперпут должен покончить со сторожем, а после этого

положим на площадке лестницы сильную бомбу с химическим взрывателем и зажигательные снаряды. Всё взлетит на воздух и запылает. Сами удерём в Польшу. Тем временем вы в Питере пустите на воздух какой-нибудь пленум или партклуб.

Опперпут, знавший входы и выходы на Лубянке, внушил Марии заманчивый план. И в том же письме Кутепову он указал "список ушедших людей, *их кличка для Вас и для меня:*

Ринг — Грачёв — Валин Карл
Шульц М. —Диков Андрей — Вескеч Ольга
Сольский — Сомов Александр
Ларионов — Викторов Фёдор — Вреде Виктор
Мономахов — Лихачёв Дмитрий — Линбек
Соловьёв — Ломов Сергей — Левашов
Готовящиеся к отправке (проверьте с Жуковым):
Каринский — Тарасов Антон — Тверин
Андреев — Алексеев Кирилл — Асеев
Шульц Г. — Жуков Иван — Бекер Иван".

Ещё до появления Опперпута в Финляндии, в Гельсингфорс из Парижа приехал В. А. Ларионов. Он собирал вокруг себя активно настроенных молодых людей, окончивших здешние русские гимназии.

22-летний Юрий Сергеевич Петерс, сын инженера, служившего у большевиков в Петрограде, порвал с отцом, когда ему исполнилось 16 лет. В гимназии св. Алексея в Перкярви он увлёкся белыми идеями. Вдумчивый и серьёзный, храбрый и мужественный, с лёгким сердцем он присоединился к СНТ

Его одноклассник 23-летний Александр Александрович Сольский, сын офицера Лейб-гвардии Сапёрного батальона, воспитанный семьей и школой в духе беззаветного патриотизма, с радостью вступил в террористическое подполье.

20-летний Сергей Владимирович Соловьёв, сын полковника царской армии, учился в Гельсингфорской гимназии. Мужественный и волевой, был он прекрасным спортсменом — качества нужные в опасном деле террора.

Его одноклассник Дмитрий Мономахов, богатырского сложения, тоже отличный спортсмен, с большим самообладанием и крепкими нервами — как раз то, что нужно террористу.

Встреча с Марией Захарченко и беседы с нею произвели на молодых людей потрясающее впечатление. Их поразила и взволновала 33-летняя волевая женщина, полная энергии и решимости, убеждённая в правоте избранного опасного пути. С нею они были готовы идти и в огонь, и в воду.

Молодые смельчаки очень понравились Марии. С каждым она беседовала, к каждому присматривалась, стараясь определить их способности и характер. Но Сольский, назначенный в её тройку, ей показался нервным и застенчивым.

Дайте мне кого-нибудь другого, более крепкого физически, — сказала она Ларионову.

Выбор пал на Петерса, красивого, весёлого, уже не раз бегавшего на лыжах из Териок в Петроград с поручениями от белой организации.

Приближался день отправки в опасный поход. Занятая последними приготовлениями, Захарченко хлопотала целыми днями. Излучая энергию и боевой пафос, она заражала своих боевиков решимостью и верой в конечный успех борьбы с коммунизмом.

Боевики Кутепова проживали в Пакенкюле, рабочем районе Гельсингфорса. Готовились к походу. Под руководством Радковича практиковались в стрельбе из револьверов, метали бомбы, начинённые песком вместо мелинита.

Опперпут спокойно и внимательно следил за приготовлениями. На его лице нельзя было прочесть истинных чувств и намерений. Когда нужно, поддакивал, а то и авторитетно советовал. Накануне похода он просил Марию собрать всю боевую организацию. Пришли Радкович, Ларионов, Петерс, Соловьёв, Мономахов, Болмасов, Шорин и другие. Обратившись к боевикам с краткой речью, он заклинал их ни при каких обстоятельствах не сдаваться властям живыми:

— Всё равно, сдача не спасёт, "шлёпнут" в подвале в затылок, а до этого будут жечь свечкой, бить, издеваться, применять страшные моральные пытки. В каменном мешке долгими месяцами с живыми мертвецами по соседству каждую ночь, каждый день, каждый час вы будете ждать жутких слов: "выходи с вещами", и чувствовать всем своим существом, что вас никто и

ничто не спасёт, с этой мыслью засыпать и встречать безнадёжное утро.

По плану Опперпута и Марии Захарченко были образованы две тройки. Одна — Опперпут, Захарченко и Вознесенский (Петерс) — направлялась в Москву для удара по "осиному гнезду". Другая — Ларионов, Мономахов и Соловьёв — для акта в Ленинграде.

31 мая 1927 года проводник от финского генерального штаба перевёл тройку Опперпута через границу. Двенадцать часов спустя, в ночь на 1 июня тройка Ларионова, сопровождаемая финским проводником, перешла вброд пограничную реку Сестру и углубилась в лесисто-болотистую местность.

С Опперпутом было условлено, что ленинградская тройка начнёт боевые действия только после опубликования в газетах сообщения о взрыве в Москве.

ГИБЕЛЬ М. ЗАХАРЧЕНКО И Ю. ПЕТЕРСА

Поразительно быстро добралась до Москвы тройка Опперпута. Как она прошла через Ленинград, как доехала до Москвы, знало лишь ОГПУ.

10 июня 1927 года советские газеты опубликовали первое правительственное сообщение о провале попытки Захарченко-Шульц, Опперпута и Вознесенского взорвать жилой дом № 3/6 по Малой Лубянке.

6 июля в "Правде" была опубликована беседа заместителя председателя ОГПУ Генриха Ягоды с сотрудниками московских газет. Ягода подробно рассказал о неудачном покушении:

"... Организаторы взрыва сделали всё от них зависящее, чтобы придать взрыву максимальную разрушительную силу. Ими был установлен чрезвычайно мощный мелинитовый снаряд. На некотором расстоянии от него были расставлены в большом количестве зажигательные бомбы. Наконец, пол в доме по М. Лубянке был обильно полит керосином. Если вся эта система пришла бы в действие, можно не сомневаться в том, что здание дома по М. Лубянке было бы разрушено. Взрыв был предотвращён в последний момент сотрудниками ОГПУ".

По словам Ягоды, после неудачи все трое бежали из Москвы:

"... Опперпут, бежавший отдельно, едва не был задержан 18 июня на Яновском спирто-водочном заводе, где он показался подозрительным. При бегстве он отстреливался, ранил милиционера Лукина, рабочего Кравцова и крестьянина Якушенко. Опперпуту удалось бежать. Руководивший розыском в этом районе зам. нач. особого отдела Белорусского округа т. Зирнис созвал к себе на помощь крестьян деревень Алтуховка, Черниково и Брюлевка Смоленской губернии. Тщательно и методически произведённое оцепление дало возможность обнаружить Опперпута, скрывавшегося в густом кустарнике. Он отстреливался из двух маузеров и был убит в перестрелке.

Остальные террористы двинулись в направлении на Витебск. Пробираясь по направлению к границе, Захарченко-Шульц и Вознесенский встретили по пути автомобиль, направлявшийся из Витебска в Смоленск. Беглецы остановили машину и, угрожая револьверами, приказали шофёрам ехать в указанном ими направлении. Шофёр т. Гребенюк отказался вести машину и был сейчас же застрелен. Помощник шофера т. Голенков, раненный белогвардейцами, всё же нашёл в себе силы, чтобы испортить машину. Тогда Захарченко-Шульц и её спутник бросили автомобиль и опять скрылись в лес. Снова удалось обнаружить следы беглецов в районе станции Дретунь. Опять-таки при активном содействии крестьян удалось организовать облаву. Пытаясь пробраться через оцепление, шпионы-террористы вышли лесом на хлебопекарню Н-ского полка. Здесь их увидела жена краскома того же полка т. Ровнова. Опознав в них по приметам преследуемых шпионов, она стала призывать криком красноармейскую заставу. Захарченко-Шульц выстрелом ранила т. Ровнову в ногу. В перестрелке с нашим кавалерийским разъездом оба белогвардейца покончили счёты с жизнью. Вознесенский был убит на месте, Шульц умерла от ран через несколько часов.

Найденные при убитых террористах вещи подвели итог всему. При них кроме оружия и запаса патронов оказались гранаты системы "Леман" (на подводе, которую террористы бросили во время преследования за Дорогобужем, найдены тоже

в большом количестве взрывчатые вещества, тождественные с обнаруженными на М. Лубянке), подложные паспорта, в которых мы с первого же взгляда узнали продукцию финской разведки, финские деньги и, наконец, царские золотые монеты, на которые, видимо, весьма рассчитывали беглецы, но которые отказались принимать советские крестьяне.

У убитого Опперпута был обнаружен дневник с его собственноручным описанием подготовки покушения на М. Лубянке и ряд других записей, ценных для дальнейшего расследования ОГПУ".

Три года спустя ставший невозвращенцем резидент ИНО ОГПУ в Турции Г.С. Агабеков рассказал эмиграции о покушении на Малой Лубянке. Прибыв в Москву с докладом начальнику ИНО ОГПУ Трилиссеру, Агабеков беседовал в гостинице "Селект" с приятелем Григорием Федулеевым, агентом КРО.

— Кто, по-твоему, всю белогвардейщину держит в руках? — интригующе спросил Федулеев. —А ты знаешь, что позавчера мы чуть не погибли от своей собственной работы?

Агабеков смотрел на него с недоумением. Федулеев продолжал:

— Приехали сюда из-за границы три человека для связи со здешними контрреволюционерами. Из них, конечно, один наш. Всё было предусмотрено. Мы подготовили фиктивных руководителей организации, конспиративные квартиры, явки и прочее, и вдруг крах! Приехавшие заграничные делегаты скрылись, и вместе с ними пропал наш агент. Вот уже два дня ищем их по Москве. Как сквозь землю провалились. А вчера ночью случайно обнаружилось в общежитии сотрудников ГПУ, на Малой Лубянке, что весь пол у входа залит керосином, а в углу стоят два бидона и ящик динамита. Там же нашли подожжённый, но потухший шнур. Видимо, всё было подготовлено для взрыва, но фитиль потух раньше времени.

— Кто же мог это проделать? — спросил Агабеков.

— По-видимому, это работа нашего агента и тех двух приезжих. Только наш агент и знал этот дом. Там мы с ним встречались. Одно из двух, либо он проболтался, либо изменил нам.

— А вы их фамилии знаете? Может быть, их можно найти по фамилиям в гостиницах?

— Ну что фамилии! Наш агент носил фамилию Опперпут. Но у него была куча других документов, которыми мы же его снабжали для завлечения белых.

На следующий день в ИНО ОГПУ поступил из КРО циркуляр, гласивший:

"Всем сотрудникам ОГПУ. Означенных на фотографиях лиц предлагается при встрече арестовать и доставить в комендатуру ОГПУ. Указанные лица являются белогвардейцами, проникшими в СССР с целью совершения террористических актов. Приметы: первый — высокого роста, худощавый, ходит в кепке, на руке носит непромокаемый плащ. Второй — маленького роста, в кожаной тужурке, сапоги со шнурками. Приложение: две фотокарточки. Начальник КРО Артузов".

В 1928 году Н. Кичкасов в небольшой книжке "Белогвардейский террор против СССР" по-иному рассказал о судьбе Марии Захарченко и Юрия Петерса.

16 июня 1927 года по дороге Ельшино — Смоленск через Яновский спирто-водочный завод проходил неизвестный. Милиционер Лукин потребовал от неизвестного предъявить удостоверение личности, сказав, что проход через завод запрещён. Неизвестный выхватил браунинг, ранил Лукина и продолжал свой путь. ОГПУ организовало преследование. В десяти километрах от Смоленска неизвестный был застигнут и убит в перестрелке. При нём кроме огнестрельного оружия были обнаружены английская граната, топографическая карта и дневник: "Убитый оказался Петерсом, он же Вознесенский, — одним из двух террористов московской группы".

18 июня автомобиль штаба Белорусского военного округа, возвращавшийся из Витебска в Смоленск, около местечка Рудня был остановлен неизвестной вооружённой женщиной. Шофёру Гребенюку и его помощнику Голенкину женщина приказала повернуть машину обратно и отвезти её в Витебск. Гребенюк отказался выполнить её требование и был убит, а Голенкин ранен. Бежавшую дальше неизвестную облава настигла около станции Дретунь. При попытке прорваться из оцепления, неизвестная, ранив в ногу жену краскома Н-ского полка Ровнову, была убита в перестрелке с красноармейцами.

"Убитая оказалась М.В. Захарченко-Шульц, другим членом

московской группы. При ней оказались, кроме револьверов с большим количеством патронов, английские гранаты, подложные паспорта, финские деньги, царские золотые монеты, карты Карельского перешейка и западной границы СССР".

В 1962 году в Москве вышла в свет небольшая книжка Ф. Фомина "Записки старого чекиста". В главе "Из воспоминаний о В. Р. Менжинском" Фомин писал: "В июне 1927 года двум диверсантам удалось бросить бомбу в общежитие работников ОГПУ, которая, к счастью, не принесла большого вреда, и скрыться".

Далее Фомин повторил вкратце уже известный рассказ Кичкасова. В обоих произведениях чекистов места Опперпуту не нашлось. О судьбе его знают лишь архивы КГБ: возможно, пуля Марии Захарченко уложила Опперпута после неудачи взрыва на Малой Лубянке; возможно, вместе с другими старыми чекистами —Артузовым, Пилляром, Пузицким — он погиб в годы сталинских чисток.

Ни Ягода, ни Кичкасов, ни Фомин не сказали всей правды. Несомненно, беглецам удалось благополучно вырваться из Москвы. Их следы чекисты сперва обнаружили в Дорогобуже. Где возможно, Захарченко и Петерс ехали на крестьянских подводах. Потому они так быстро и добрались до Смоленска и Рудни. На Яновском заводе Опперпута не было. Вопреки Кичкасову, беглецы шли вместе, а не порознь. Нападение на военный автомобиль совершили беглецы вдвоём, что подтверждает Ягода. После убийства шофёра Гребенюка, его помощник Голенкин подчинился беглецам и вывез их к станции Дретунь, отстоящей от Рудни по железной дороге в 207 километрах. Беглецы проделали большую часть пути. До спасительной польской границы неподалеку от Полоцка оставалось только десятка три километров.

Пробираясь по лесу, Захарченко и Петерс вышли в места, где находились лагеря и полигоны Красной армии. Попали в оцепление. Положение стало безвыходным. Но живыми в руки чекистов не дались. Очевидец Репин, служивший тогда в Н-ском полку, свидетельствовал:

"В интервале между двумя мишенями, стоят рядом мужчина

и женщина, в руках у них по револьверу. Они поднимают револьверы кверху. Женщина, обращаясь к нам, кричит "За Россию!" и стреляет себе в висок. Мужчина также стреляет, но в рот. Оба падают".

Так трагично кончился поход в "осиное гнездо". Да и было это гнездо всего лишь общежитием мелкой чекистской сошки. Опперпут, знавший частные квартиры главарей ОГПУ, не направил бомб Захарченко против Менжинского, Артузова, Стырне, Пузицкого и других виднейших чекистов. Эти адреса Опперпут предусмотрительно не включил в список, посланный Кутепову вместе с боевыми диспозициями.

ВЗРЫВ НА МОЙКЕ

Белой июньской ночью Ларионов, Мономахов и Соловьёв перешли вброд пограничную речку Сестру. Проводник, много раз бывавший на советской стороне, повёл тройку по густому болотистому лесу. Осторожно пересекали дороги. Шли по крутым оврагам и в такой густой чаще, куда не подумал бы забрести советский пограничник. Натыкаясь на людей, прятались в кустах, отдыхали и опять шли. Проводник ошибся и вывел тройку не к озеру Разлив, как предполагалось. Днём он расстался с тройкой и вернулся в Финляндию. Ларионов, уроженец Петербурга, осмотрелся вокруг и убедился, что проводник дал маху на добрый десяток вёрст. Изменив направление, усталые, шедшие почти сутки, боевики добрались до леса и устроились на ночлег. Ночью шёл дождь, они насквозь промокли, но спали как убитые.

На следующее утро сушили одежду, чистили револьверы от налёта свежей ржавчины. Осмотревшись, вышли на шоссе. Кругом мирная жизнь. Стадо коров. Люди с портфелями и сумками, идущие на станцию Левашово. Когда-то шестнадцатилетним юношей Ларинов ходил по этим местам. Знакома и станция. Выйдя на платформу, боевики убедились, что ни одеждой, ни своим видом они не отличались от многочисленной толпы пассажиров.

Купив хлеба, колбасы и кваса и проводив уходивший поезд, тройка направилась к окраине Левашова, к знакомому

Ларионову лесочку. В двух километрах от станции они устроили свою базу — исходный пункт для предстоявших действий. После короткого отдыха Ларионов и Мономахов выехали поездом в Ленинград на разведку. Соловьёв остался в лесу с тяжёлыми бомбами.

На вокзале Ларионов и Мономахов с трепетом, но благополучно прошли мимо дежурного чекиста. С вокзала на извозчике доехали до центра города. Вошли в Александровский сад, купили несколько газет. Было три часа дня 2 июня. Из объявления в "Красной газете" узнали, что в пятницу, в 8 часов 30 минут, в Центральном партклубе назначено собрание по переподготовке сельских пропагандистов, с вызовом товарищей Пельше, Ямпольского, Раппопорта и других.

В списке учреждений, составленном Опперпутом по Ленинграду, партклуб значился на третьем месте после Северо-Западного областного и Ленинградского комитетов ВКП(б). Учитывая трудности проникновения в Смольный, Ларионов остановил свой выбор на партклубе. Подошли к дому № 59 на набережной Мойки и разведали подступы к нему. Мигом созрел план: в тот же вечер ворваться в клуб, бросить бомбы и быстро вернуться на границу, где проводник обещал ожидать их до полуночи на условленном перекрёстке дорог.

Ларионов и Мономахов поспешили в Левашовский лес. Наскоро перекусив купленным в Ленинграде съестным, стали готовиться к боевой вылазке. План: в 7 часов 25 минут поездом в Ленинград, прибытие на вокзал — 8 часов 10 минут, в 8 часов 50 минут — вторжение в партклуб, в 9 часов 40 минут выезд из Ленинграда в Левашово и поход обратно. План был рассчитан на быстроту и внезапность.

Боевики несли на себе ручные гранаты, маузеры и браунинги. На случай неудачи — у каждого по дозе цианистого калия. Кроме того, у Ларионова в карманах флакончики с газом. План сорвался в самом начале — боевики опоздали на поезд. Пришлось отложить вылазку до понедельника.

6 июня тройка ровно в 8 часов 50 минут вечера появилась у дверей Центрального партклуба. Назвавшись приезжими коммунистами и предъявив не очень убедительные партийные билеты, расписались в книге посетителей у сотрудницы клуба

Брекс. Вошли в зал, где должно было состояться повторное собрание по переподготовке сельских пропагандистов. В зале вокруг стола сидели семь человек, из них две женщины. И Ларионов отменил акт: "Их слишком мало. Не по воробьям стрелять из пушек".

Спустились вниз по лестнице, прошли мимо контроля, сказав Брекс, что не туда попали. На ночлег вернулись в Левашовский лес.

В 8 часов 45 минут 7 июня тройка вновь появилась в партклубе. Расписались у той же Брекс, на их счастье к тому же отвлечённой разговором с неким посетителем. В этот вечер был намечен удар по другой группе партийцев. По объявлению в газете боевики узнали о собрании философской секции Научно-исследовательского института под председательством Позерна, ректора Ленинградского коммунистического университета. Доклад на тему "Американский неореализм" должен был читать Ширвиндт. На собрание явились преподаватели Зиновьевского университета, слушатели Института красной профессуры, партийцы и беспартийные.

Тройка поднялась на второй этаж. У встретившей их в коридоре женщины Ларионов вежливо спросил:

— Доклад товарища Ширвиндта?

— Дверь направо.

— Очень благодарен, товарищ.

Ларионов распахнул тяжёлую дубовую дверь. Вошли. Сжимая в руке газовый баллончик, Ларионов тихо произнёс: "Можно".

Мономахов и Соловьёв сняли предохранители с гранат, спрятанных в портфелях. Соловьёв швырнул в заседавших гранату, Ларионов открыл дверь для отступления. Граната не взорвалась — отсырел стопик в коленчатой трубке. Ларионов бросил в коридоре газовый баллончик, и в этот же миг раздался оглушительный взрыв. Это взорвалась граната Мономахова. Посыпались разбитые стёкла, раздались отчаянные крики, слышался топот бежавших в панике людей. Были ранены 26 человек, из них 14 — тяжело.

Тройка быстро сбежала по лестнице. В вестибюле Брекс встревоженно спросила:

— Товарищи, что случилось?

— Взорвалась адская машина, бегите в милицию и в ГПУ, и живо! — крикнул ей Ларионов.

Воспользовавшись суматохой, Ларионов со спутниками сели на извозчика и уехали на Финляндский вокзал.

В 9 часов 40 минут от вокзала отошёл поезд на Белоостров. На станции Левашово тройка вышла из поезда. Около 11 часов вечера они выбрались на Выборгское шоссе и быстро зашагали к границе. К полуночи достигли Чёрной речки. Обходя лесом деревню, тройка напоролась на патруль пограничников, открывших по ним огонь из револьверов. Два часа бежали они по лесу. Утром нашли в чаще глубокую яму и залегли в ней. Шестнадцать часов пролежали в этой яме. К вечеру кончился дождь, небо прояснилось. Пользуясь плохеньким компасом, двинулись на север. Несколько раз пересекали тропы, пробитые патрулями пограничников. Около 2 часов утра 9 июня донёсся до них глухой шум реки. Вышли на берег. Высоко подняв маузеры, переправились через реку Сестру. На берегу перед ними высился красный пограничный столб с гербом Финляндии.

Глава 36-я. Конец Радковича

8 сентября 1927 года в отверстие для писем в магазине до прихода служащих было опущено письмо, адресованное: "Господину Н. Н., Гельсингфорс, Фридриховская, 19".

В конверте краткая записка: "М. Г. За ненахождением адресата препровождается письмо с просьбой препроводить его Георгию Николаевичу Звереву, мужу Марии Владиславовны Захарченко-Шульц." "сентября 1927 г."

Неизвестный отправитель возвращал Радковичу три его письма. Первое наружное письмо было открытым:

"Виктор Станиславович!*

Посылаю Вам это письмо при помощи случайно подвернувшейся оказии, ибо не хотел бы вверять его почте здесь. Вы полностью поймёте меня, если вспомните способ, которым

* Кияковский.

пользовались Рабинович*, Ринг** и другие их товарищи. Прошу Вас ещё раз крайне внимательно отнестись к предлагаемому мною делу. Я много и долго думал, прежде чем решиться на столь непривычную для меня коммерческую операцию. Всякие сомнения сейчас откинуты, решение моё бесповоротно, и от него я не отступлюсь. Мне кажется, что моя коммерческая солидность не позволяет Вам усомниться в моих возможностях и явится достаточной гарантией того, что я не кидаю слова на ветер. Должен также Вам рекомендовать не медлить с ответом, ибо благоприятный сезон проходит, а конец его может дать нам весьма обильную жатву... До сих пор я считаю, что удерживаю ещё за собой все возможности стать монополистом дела в европейском масштабе. Между тем, отсутствие детально обоснованного соглашения ставит меня в весьма трудные условия. С большим риском для своей репутации я принимаю некоторые меры и сейчас уже, дабы задержать назревающие невыгодные сделки, но отсутствие договорённости сильно препятствует этому и вынуждает меня для сохранения престижа послать и участвовать в приносимых нам убытках. Итак, остаюсь в ожидании ответа неизменно преданный Вам Г. Зверев".

Внутреннее письмо, написанное симпатическими чернилами:

"Виктор Станиславович!

Полагаю, что настоящее письмо поразит Вас и может показаться по началу невероятным. Не поддавайтесь, однако, первому впечатлению. Убедительно прошу Вас вдуматься внимательно во всё нижесказанное и взвесьте все за и против, прежде чем ответить мне.

Обращась к Вам, с Вами мог по словам Опперпута знакомы лично, да и этика данная ОППЕРПУТ обнаруживает в Вас как более подходящего для моего предложения человека...

... Причина написания настоящего письма является моя уверенность в неправильности сообщения о смерти моей жены М. В. Считаю почти излишним распространяться о сущности

---

*Якушев.

**Опперпут.

наших с ней отношений. Я не сомневаюсь, что об этом Вы осведомлены полностью, могу только заверить Вас, что она для меня превыше всего, нет на свете никого, кроме неё, для кого я пошёл бы абсолютно на всё, да и не было никогда. Жизнь М. В. нужна мне, её прошу у Вас и за неё готов отдать всё, что бы не потребовали. Над вопросом этим я думал долго и пришёл к этому созна..... всегда. *Решение моё бесповоротно.* Я требую пока жизнь М. В., а далее надеюсь заработать и право совместной жизни с нею.

Что же я могу предложить Вам взамен? Мне кажется, это будет то, что Вам сейчас крайне нужно, чего нет у Вас и не может быть помимо меня — именно террористической легенды.

Я не буду вдаваться в рассмотрение вопроса, кем был здесь ОППЕРПУТ — меня это не интересует и не касается. Но кем бы он ни был, действия его во всяком случае причинили ГПУ серьёзный вред. Даже и недоговаривая, он принуждён был наговорить много лишнего, ибо говорить одну неправду он не мог. Завеса над системой работы ГПУ приподнялась благодаря этому очень основательно. Легенды характера, сдерживающих страсти, абсолютно более не возможны, им никто заграницей более не поверит и на инх не пойдёт.

Официальной гибелью группы М. В. никого не устрашили, успех же других, наоборот, разжег горячие головы, а их заграницей много, и созданная Вами международная обстановка способствует их деятельности...

... Вы запутали лимитрофные штабы и тем временно связали им руки. Незапутанных Вы надеетесь застращать. Если мера эта и даст результаты, то лишь временные, да и то далеко не полные.

Главного Вашего врага*, несмотря на все усилия, Вы связать не сумели и с этим, мне кажется, не считаться нельзя... Что дело обстоит далеко не блестяще, Вы понимаете и сами.

Настоящим я предлагаю Вам за жизнь М. В. по мере моих возможностей исправить его. Я не буду изливаться в любви к советскому строю — это было бы глупо, и этому Вы никогда не поверили бы. В конечную победу Вашу я не верю, но вижу, что

---

*Генерала Кутепова.

гибель Ваша не так близка, как это казалось мне раньше. Захватом М. В. Вы разлучили меня с нею на долгие годы, если не навсегда. Такое положение для меня невыносимо и ценою любых ..... я готов купить сейчас её жизнь, а далее и право совместной жизни с нею...

... в силу создавшейся обстановки я в данный момент единственный человек, могущий создать для Вас террористическую легенду, которая при Вашем руководстве и осторожности сможет иметь все данные для использования.

Пользуясь полным доверием и если захочу, смогу узнать о терподготовках против Вас в любой стране.

Благодаря чистоте моей..... я пользуюсь доверием молодёжи и интимных кругов. Моё трёхлетнее пребывание в России даёт мне авторитет в деле борьбы с Вами, а пара "смертных" актов легко может выдвинуть меня на пост руководителя всей тердеятельности против Вас (вернее, для Вас).

В последние дни стала намечаться и ещё одна возможность, которая при надлежащей разработке и поддержке с Вашей стороны, может быть, поможет Вам через меня достигнуть того, к чему Вы безрезультатно стремились через Трест.

О .....это, конечно, детали и их пока обсуждать не время. Суммируя всё вышесказанное, я считаю, что при умелой и небольшой доле доверия ко мне я смогу гарантировать Вам на долгое время отсутствие террористических актов вне Вашего направления и сделать не мало другого полезного Вам. Мне кажется, что мысли, не провоцирую ли я Вас в свою очередь, после всего вышесказанного, вряд ли у Вас возникнут, но всё же считаю не лишним добавить, что я не так глуп, чтобы мнить себя достаточно умным и сильным для борьбы один на один против ГПУ. К сожалению, я в Вашей силе имел не раз случай убедиться.

Теперь необходимые детали дела. Для начала дела ставлю необходимым условием получение мною подтверждения от Вас жизни М. В. В это обстоятельство я поверю при условии предоставления мне собственноручного письма М. В. с ответом на прилагаемую здесь мою записку. Не мне учить Вас, как передать её М. В.

Умоляю об одном, чтобы о измене моей она ничего не

знала. Пусть думает, что переписывается со мною, сидящим тут же в тюрьме. Коль скоро такая записка будет у Вас в руках, организуйте сами, как считаете удобнее встречу с Вашими ..... для переговоров.

Скажите мне время и место встречи, можно опустить письмо (белым) в ящик для писем на двери квартиры Швецова. Свидание, пожалуй, лучше всего назначить в театре, прислав билет.

Необходимым условием для того, чтобы я начал говорить с Вашим человеком, будет передача мне *письма М. В.*

Пока, мне кажется, говорить больше не о чем.
Карпов-Пролетарский."

Записка, приложенная к письму Радковича:

"Милая дорогая моя КОСИНЬКА. Я не верю в Твою смерть, как о том сообщали. У меня нет внутреннего чувства разлуки с Тобою навсегда. Мне кажеться, что мы сейчас очень близко друг от друга, хотя и не можем видеться. Делаю эту попытку снестись с Тобою. Ответь мне, когда и в каких городах мы с Тобою имели дело с экзрезешкой, которую, помнишь, я так называл, и подпишись одним из наших любимых имен, которое Ты так мило коверкала через о. Письмо отдай тому, кто принесёт Тебе эту записку. Я ему заплатил за это всем, что у меня было. Думаю, что сделает. Не падай духом, голубка моя, может быть ещё и придётся встретиться. Целую Тебя крепко, крепко. Любящий Тебя Твой Гога-Косинька".

Ответа от Марии не было... Искренняя или притворная, измена Радковича не состоялась.

Неудачи 1927 года Кутепова не остановили. Летом 1928 года в сотрудничестве с финским штабом Кутепов возобновил отправку террористов в СССР.

Ушё и Радкович мстить за гибель любимой женщины. В ночь на 4 июля он и Мономахов перешли советско-финскую границу. Не найдя в Москве чекистов, руководивших "Трестом", вечером 6 июля Радкович бросил бомбу в бюро пропусков ОГПУ. После взрыва Радкович и Мономахов бежали. Чекисты обнаружили их недалеко от Подольска. Радкович застрелился. Мономахов пропал без вести.

Б. Прянишников

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА?

Заранее прошу извинить меня за голословность. Правда, я назову некоторые имена, книги, но о многом умолчу. Мне хотелось бы указать на три группы разнородных фактов в культурной жизни молодого поколения в СССР.

1) За последние годы в СССР издаются книги на высоком научном уровне и с углубленным пониманием культуры. Вероятно, их авторам нелегко было добиться разрешения: "подписано к печати". Некоторые примеры. В области зодчества: *Москва на рубеже столетий* — исследование Е.И. Кириченко. И того же автора монументальная монография *Москва. Памятники архитектуры 1830-1910 гг.* Обе книги были изданы в 1977 г. В первой книге Кириченко, расширяя тему, дает сочувственную характеристику т.н. Серебряного века. Упоминаются Вячеслав Иванов, Скрябин. Между тем, еще недавно считалось, что перед 1917-м годом искусство символистов, акмеистов "загнивало". Кстати, Кириченко одобрительно отзывается об особняках миллионеров Рябушинского и Морозова в Москве — работы Шехтеля или о храме Марфо-Мариинской обители по проекту Щусева. Еще до революции этот русский модерн считался эклектическим искусством, но Кириченко делает различие между бесплодным стилизаторством и творческой стилизацией.

Художник Сергей Судейкин умер в США, что, конечно, с советской точки зрения, "неприлично". Но вот ему посвящена монография Доры Каган. Она проводит убедительную аналогию между Судейкиным и Кузминым, и ни о каком "гниении" не говорит. Эти, да и другие, труды — на уровне старого *Аполлона* (1909 - 1917 гг.) и ничего общего не имеют с *Аполлоном 77 г.* Есть в этих книгах не только эрудиция, но и вкус. Есть почти нескрываемая симпатия к трагически оборвавшейся в 1917 году русской культуре 900-х гг.

Переводы: хотя бы Луиса Гóнгоры. Уж никак нельзя сказать, что этот великий испанский поэт 17-го в. был прогрессивной личностью. Гóнгора: монах, карьерист, интриган, маньерист и вообще — зачем его издали? Но его спасло то, что Гарсия Лорка, убитый франкистами, им восхищался, находил у него "окаменевший барочный трепет". К тому же весь авангард Испании и испанской Америки им восхищается. Повезло и большому португальскому поэту Фернандо Пессоа (1888 - 1935). Ничего социально-прогрессивного в его поэзии не было, в юности он был монархистом, позднее сочувствовал Саласару. Может быть, ему

помогла его европейская слава? Лучшие переводы этого португальского поэта сделаны блестящим переводчиком Е.В. Витковским.

Совсем другая область. Книга С.С. Аверинцева — *Поэтика ранневизантийской литературы*. Казалось бы, это очень специальный труд. К тому же о Византии уже сравнительно давно можно писать свободно, и даже не без сочувствия. Эрудиция Аверинцева на уровне Зелинского или Вячеслава Иванова. Но опять-таки дело не в одних только знаниях. В этом труде дается обширная информация о византийской православной догматике и вообще о богословии. Раскрывается захватывающее дух и, к сожалению, далеко не всем православным известное учение Иринея Лионского и Афанасия Великого о *теосисе* — обожении. Подтверждающая цитата из трудов Св. Иринея: "Сын Божий стал сыном человеческим, чтобы сыны человеческие стали сынами Божиими". В этом смысле, комментирует Аверинцев, праведных христиан можно считать богами. И еще одна ссылка — на Евангелие от Иоанна: "Я сказал: вы боги" (10, 34). Замечу, это учение перекликается с мыслями Бердяева о сотрудничестве человека с Богом в мире. Не могу задерживаться на этой богословской проблематике. Но не ясно ли: Аверинцев, опираясь на Отцов Церкви, развертывает некоторые самые дерзновенные темы христианского творчества. Вместе с тем, Аверинцев связывает ранневизантийскую поэтику с современной поэзией — хотя бы Вячеслава Иванова или Осипа Мандельштама. Но тираж этой книги, изданной в 1977 г., небольшой — 8 тысяч.

О русских поэтах, сформировавшихся в нашем столетии, но до Октября. О них, конечно, труднее писать, чем о западных того же периода. Всё же в издании Большой библиотеки были выпущены отчасти тенденциозно подобранные стихи Осипа Мандельштама. Его стих "В черном бархате советской ночи..." был произвольно заменен стихом "В черном бархате январской ночи..." Лучше издан в той же серии Вячеслав Иванов под редакцией того же С.С. Аверинцева.

Есть и другая школа литературоведения в фарватере формалистов, структуралистов. И у них эрудиция, но без интуиции, без широких перспектив в культуру, философию, богословие. Эти литературоведы отказываются от оценок и, на мой взгляд, от настоящего понимания художественного произведения. В этом направлении работает Юрий Лотман. Почти все формалисты, структуралисты забывают, что в любой сфере гуманитарных наук не может быть полной академической объективности. Когда человек анализирует любую человеческую дея-

тельность, он всегда субъективен. Еще на рубеже 19-го и 20-го столетий это хорошо показали немецкие философы Виндельбанд и Риккерт. Но возможен и формализм с человеческим лицом, как это утверждает Е. Эткинд.

2) Еще несколько лет назад мы узнали, что в некоторых интеллектуальных кругах растет интерес к Леонтьеву и Розанову. Известно, что в Москве пишется большой труд о Розанове, запланированный на 1000 стр. До недавнего времени о Леонтьеве и Розанове нельзя было упоминать. Что же к ним влечет? Их умение мыслить по-своему, не по изношенным интеллигентским шаблонам. Так, о Леонтьеве известно, что он хотел подморозить Россию реакцией. Но забывают: он же хотел разогреть Россию социализмом "сверху", т.е. *по манию* Царя, и тем самым думал обезвредить революционеров. Наконец, Леонтьев, принявший тайный постриг, упрекал синодальное духовенство в том, что оно проповедует язычникам-алеутам, а не ведет горячую пропаганду в русском образованном и отпавшем от православия обществе. А Розанов замечателен тем, что находил живую правду в явлениях, как будто исключающих друг друга: в монархии, но и в революции, в семейной жизни, но и у т.н. лунных людей, отрицал Новый Завет во имя Ветхого, но и влекся ко Христу, бранил евреев и духовенство, но и тянулся к ним. Они оба не учителя, но постоянно возбуждают мысль, выводят из советского интеллектуального застоя и способствуют культурному ренессансу.

3) Наконец, в тех же кругах *"культурников"* (как их можно назвать) растет интерес к акмеизму, который куда менее известен и изучен по сравнению с футуризмом. Названия эти условны, но вот Мандельштам до конца жизни называл себя акмеистом и так определил акмеизм: это *тоска по мировой культуре* и при этом он имел в виду христианскую культуру. Вся его поэзия — песня песней нашей иудео-еллинско-латинской цивилизации. Хвала Давиду, Овидию, Данту, хвала католическим и православным соборам, протестантской музыке Баха. Он воспевал братство народов и приветствовал взаимопроникновение разных христианских культур. Европейская культура, искусство — вот герои Мандельштама и при этом нет в них книжной абстрактности Вячеслава Иванова. Всякие "культурные ценности" у него не отвлеченные, а конкретные, домашние, как московские соборы с их итальянской и русской душой. Мандельштам, как и Пушкин, западник, но в противоположность Пушкину-гуманисту, он западник христианский: и в

своей благодатной поэзии он уже наметил русскую христианскую и, вместе с тем, европейскую мировую культуру, о которой, по его словам, мечтал акмеизм.

Есть такое выражение: танцевать от печки. Так вот некоторые современные возродители и уже носители русской культуры, включая вышеназванных ученых, танцуют от Тринадцатого года — последнего счастливого года русской истории, русской культуры.

По-видимому, увлечение акмеизмом или всей короткой эпохой акмеизма, вызвало другое увлечение — первой и второй эмиграцией, которая долгое время оставалась неизвестной советскому читателю. Кое для кого запретная *Русская литература в изгнании* Г.П. Струве явилась своего рода откровением. Эту книгу переписывали, выпускали самиздатом. Для некоторых "культурников" зарубежная Россия продолжала и продолжает русскую культуру, оборванную Октябрем. Вот отрывок из письма, помеченного 22 ноября 1978 г. (Москва): "...скажите, что ... москвичи *живут* духовным творчеством российской эмиграции и чувствуют себя неразрывно с эмиграцией связанными, а через эмиграцию с вечной Россией. Эмиграция (первая и вторая) —необходимое звено в цепи — теперь разорванной русской культуры".

Еще в конце 50-х гг. в России (пусть и в узких кругах) пробудился живой интерес к русской христианской философии Бердяева, Булгакова, Франка, Лосского, Вышеславцева и к истории культуры Г.П. Федотова и В.В. Вейдле. А с недавнего времени некоторые москвичи увлекаются и эмигрантской поэзией. В Москве готовится самиздатская антология поэтов первой и второй (но не третьей) эмиграции — размером, по крайней мере, в 1000 стр. Многие увлекаются Георгием Ивановым, Ходасевичем, Цветаевой, Ладинским, Поплавским, Гингером, Штейгером, а также т.н. американскими русскими — Чинновым, Моршеном, Перелешиным, Елагиным и, недавно, Глинкой и Нарциссовым. Их стихи собираются по кусочкам из эмигрантских газет и журналов, с трудом добываемых. Спрашивают: почему на Западе не переиздают совсем недоступных Ладинского, Поплавского, Штейгера? Почему у нас преимущественно печатают только поэтов последней эмиграции и какие-то зачастую совсем графоманские вирши, присылаемые из России? Рады хоть тому, что В. Сечкарев и М. Дальтон переиздали Георгия Иванова.

Очень ценятся эмигрантские антологии. Так, антология *На Западе* была в Москве куплена за 100 рублей. Трудно достать и антологию

Содружество или сборник Н. Полторацкого, посвященный зарубежной литературе.

Увы, ничем не могу помочь анонимным энтузиастам литературы 1-й и 2-й эмиграции, мало надеюсь на переиздание эмигрантских поэтов. А нужно было бы создать для москвичей Институт по изучению первой и второй эмиграции.

Одно для меня ясно: русская культура, русское свободное творчество, которое убивали десятилетиями, опять оживает хотя бы и в узких кругах "культурников". Многие настроены мрачно, в ближайшем будушем никаких изменений к лучшему не ожидают, но уже по мере сил готовятся к русскому возрождению, хотя бы и в XXI-м веке. Должен сказать, что эта какая-то плеснувшая в России Четвертая волна (еще не докатившаяся до Запада), с недоверием относится к Третьей волне. Все чтут А.И. Солженицына, но новых "культурников" удручает характерная для некоторых (конечно, не для всех) Третьих эмигрантов *ненависть к России.* Новоявленные Четвертые упрекают в маразме и мародерстве нео-аполлоновский *авангард,* который на самом деле лучше назвать *арьергардом* или даже *дерьергардом,* повторяющим азы западных модернистов 10 - 20-х г г. и даже 19-го в. Рембо и другие "проклятые поэты" Франции до сих пор не потеряли значения, как и Хлебников с его полубезумными прозрениями в зауми. Ничего не потерял и визионер Аполлинер. Но где новизна, где творчество у нео-аполлоновцев? Четвертые также отрицательно относятся к новым поверхностным духовным исканиям — к "смесителям" христианства с буддизмом, парапсихологией и даже черной магией.

Вместе с тем новые "культурники" совсем не реставраторы, не эскаписты из современности. Вообще, они стремятся *не повторять, а продолжать* тысячелетнюю русскую культуру.

Б. Афанасьевский

Отдел "Библиографии" и "Книги для отзыва" будут напечатаны в кн. 135-й "Н. Ж." — РЕД.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

Г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

■

В 1979 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1979 год 24 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков

■

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня